ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

РОМАН МЕКСИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТИА “МЕРТВЫЕ ДЕВУШКИ”

РАССКАЗЫ ХУАНА ХОСЕ САЭРА

“ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА”: ПЬЕСА ГРЭМА ГРИНА “ПО КОМ ЗВОНИТ ЗВОНОК”

2016

2

Основан в 1955 году

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2015 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
присуждена
Александру Ярину
за перевод книги ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА
Центральный парк

Премия ***Инолит***
присуждена
Екатерине Хованович
за перевод романа
АНТОНИУ ЛОБУ АНТУНЕША
Слоновья память

Премия ***Инолиттл***
присуждена
Жанне Перковской
за перевод стихов
БРАНЕ МОЗЕТИЧА

Премия **имени А. М. Зверева**
присуждена
Александру Мелихову
за статьи
Марк Твен как зеркало русской революции
и
Демократия и мертвецы

Премия **имени С. К. Апта**
присуждена
Елене Калявиной
за перевод
стихов СТИВЕНА ДАННА, ДЖОНА ЛАРА, ФИЛИПА ЛЕВАЙНА, ТЕННЕССИ УИЛЬЯМА, Ч. К. УИЛЬЯМСА и П. Г. ВУДХАУЗА,
статьи АЛЕКСА РОССА *Князь тьмы* и очерк АДАМА ГРИНА
Байка про карманника

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден
Марии Чепайтите
за перевод
Фрагментов дневника 1938–1975 АЛЬФОНСАСА НИКА-НИЛЮНАСА
и за составление специального номера
Литва: рассеяние и собирание

[2]
2016

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Хорхе Ибаргуэнгойтиа *Мертвые девушки.* Роман. Перевод с испанского Ольги Кулагиной

108 Анн-Лу Стайнингер *Рассказы.* Перевод в французского Богдана Григоренко

112 Хуан Хосе Саэр *Рассказы.* Перевод с испанского Александра Казачкова

Из классики XX века

151 Грэм Грин *По ком звонит звонок.* Пьеса. Перевод с английского Виктора Голышева

Документальная проза

189 Ана Бландиана *Лжетрактат о манипуляции.* Фрагменты книги. Перевод с румынского Анастасии Старостиной

№

235 Александр Пумпянский *Тайна пересмешника. Подвиг и преступление Харпер Ли*

Интервью

254 *Искусство вечно.* С Холгером Хёге беседует Дмитро Дроздовский. Перевод с английского Михаила Загота

Ничего смешного

262 Томас Гуд *"Где британская обходительность?"* Стихи. Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

Возвращаясь к напечатанному

270 Алексей Михеев *Мы рождены, чтоб парадоксы сделать былью*

БиблиофИЛ

273 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

276 *Среди книг* с Юрием Гусевым

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

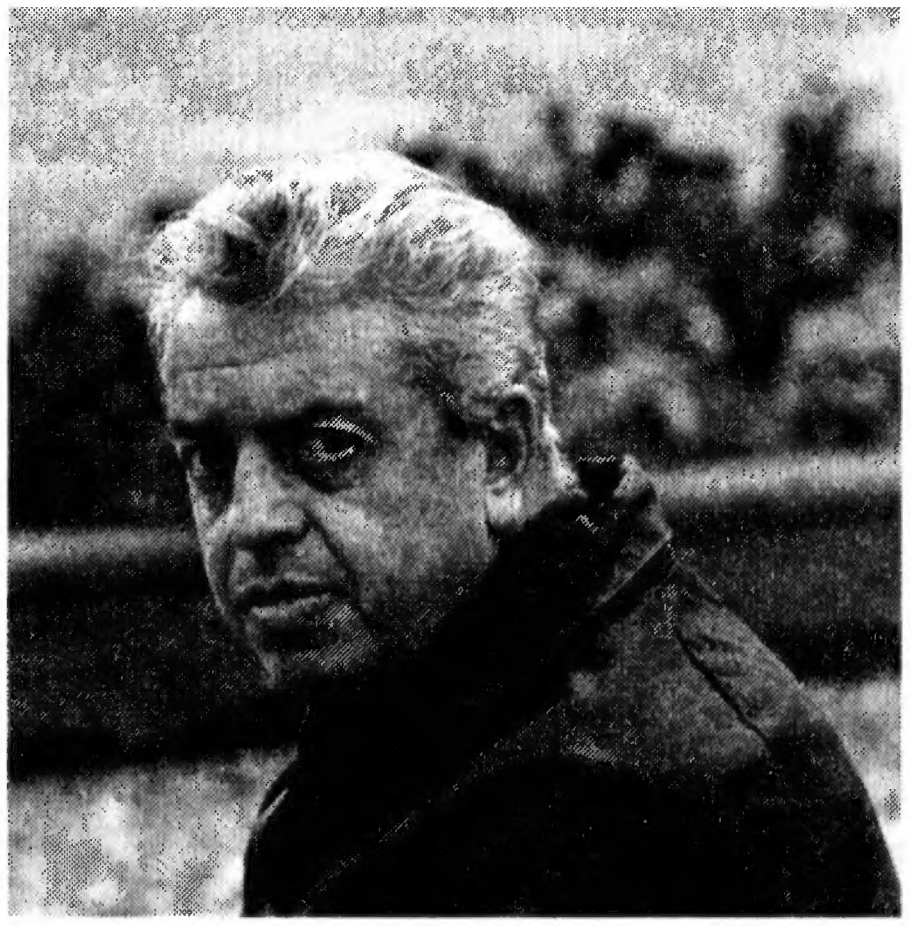
М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Хорхе Ибаргуэнгойтиа



Мертвые девушки

Роман

Перевод с испанского Ольги Кулагиной

I
Две мести

1

Их нетрудно себе представить: все четверо в темных очках, Лестница ведет машину, сгорбившись над рулем, рядом с ним Оторва Николас читает “Марийские острова”. Пассажирка на заднем сиденье смотрит в окно, задремавший капитан Бедойа клюет носом.

Ярко-синий автомобиль натужно взбирается по склону Перро. Солнечное январское утро. На небе ни облачка. Дымки из печных труб поднимаются над долиной. Дорога убегает вдаль, сначала по прямой, но сразу после подъема начинает петлять в горах Гуэмес, среди зарослей нопаля.

© Herederos de Jorge Ibargüengoitia, 1977
© Ольга Кулагина. Перевод, 2016

Лестница останавливает машину в Сан-Андрес и, увидев, что остальные спят, будит хозяйку, берет у нее деньги на бензин и идет в таверну. Съедает завтрак: шкварки в соусе, яйцо и фасоль. Когда он пьет вторую чашку кофе, в таверну входят остальные трое, помятые со сна. Он смотрит на них с сочувствием: то, что для него — начало нового дня, для них — окончание вчерашней попойки. Все садятся. Капитан осторожно спрашивает у официантки:

— Ну, что тут у вас вкусненького?

Лестница встает из-за стола, выходит на улицу и принимается кружить по площади: руки в карманах, неспешная размашистая походка, во рту зубочистка. Он застегивает куртку, потому что день хоть и солнечный, но пробирает ледяной ветерок. Останавливается посмотреть, как дети кидают о стену монеты, играя в раюэлу[1] каким-то неведомым ему способом. Идет дальше, размышляя, переплюнут ли своей дремучестью жители Мескалы жителей План-де-Абахо. Останавливается еще раз, чтобы прочитать надпись на памятнике детям-героям[2]: “Слава павшим за Родину...”, и видит, что трое его пассажиров, на шоферском жаргоне — “груз”, выходят из таверны: капитан и Оторва в штатском, но не полностью — первый в кавалерийских сапогах, второй в рубашке цвета хаки, и Серафина в мятом черном платье, которое обтягивает ее смуглую ногу и заголяет руку до подмышки, когда она садится в машину. Не успев расположиться, троица начинает нетерпеливо сигналить, требуя, чтобы шофер вез их дальше.

Они продолжают путь по небезызвестным местам: Акис-гран-эль-Альто (на въезде написано: “Господин президент, у нас украли воду”), где на Серафину нападает охота выпить чего-нибудь освежающего, Харапато, где Лестница останавливает машину, чтобы бросить песо в церковную кружку возле храма, построенного на пожертвования шоферов, Ахилес, где они покупают сыр, склон Касауэтэ, где капитан выходит справить нужду (оставить свою подпись, говорит он), и Сан-Хуан-дель-Камино, знаменитый своей чудотворной Девой, где они останавливаются отдохнуть.

Серафина входит в храм (как выяснилось позже, в храме она опускается на колени, зажигает свечку и просит Богородицу удачи в своем предприятии, а в качестве аванса прикрепляет к красному бархату подношение — серебряное сердеч-

1. Игра, немного напоминающая игру в “классики”. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Шестеро мексиканских подростков-кадетов, которые погибли 13 сентября 1847 г. в битве с американскими войсками во время войны между Мексикой и США.

ко, — словно все, что она просит, ей уже обещано). В это время трое мужчин сидят за столиком в кафе, едят мантекадо[1] и, немного поспорив, приходят к выводу, что задуманное лучше закончить при свете дня. Когда Серафина выходит из храма и присоединяется к остальным, их решение ей не нравится, и она приказывает провести операцию вечером.

Это означает, что придется убить три часа, и они ложатся спать под лавровым деревом на окраине Хальсинго. Солнце уже клонится к закату, когда на въезде в Сальто-де-ла-Тукспана их облаивают собаки.

Сальто-де-ла-Тукспана — просторный темный городок с пыльными улицами и электрическими фонарями на расстоянии двести метров один от другого. Говорят, что здесь в каждом саду растут гуайавы, но все ворота сейчас закрыты. На улицах играют дети.

Лестница останавливает машину на углу, где какие-то люди, устроившись под фонарем, едят посоле[2]. Оторва Николас выходит из машины, идет к ним и под взглядами всех присутствующих спрашивает хозяйку:

— Простите за беспокойство, где здесь булочная?

Хозяйка отвечает, что булочных в городке три, и называет адреса. Они проезжают городок из конца в конец, от одной булочной к другой, пока не находят нужную — третью.

— Вроде, та самая, — говорит Оторва. Он уже три раза бегал покупать пакет сладкой соломки.

Остальные тоже выходят. Мужчины направляются к багажнику, а Серафина — к булочной, расположенной в скромном доме, единственном во всем квартале, где обе двери открыты нараспашку. Осторожно подкравшись, стараясь, чтобы ее не заметили, Серафина заглядывает внутрь. За прилавком сидит булочник, рядом с ним работница проверяет счета. Серафина возвращается к машине. Лестница со шлангом в руках невозмутимо перекачивает бензин из бака в жестянку, капитан и Оторва, достав из кузова две автоматические винтовки, вставляют обоймы и шумно передергивают затворы, досылая патрон. Капитан протягивает Серафине пистолет.

Дальше события развиваются довольно стремительно. Оторва появляется в одном дверном проеме, Серафина — в другом. Она обращается к мужчине за прилавком:

— Что? Забыл меня, Симон Корона? Получи-ка, освежи память!

1. Сдобные булочки.
2. Блюдо из свинины, кукурузы и перца.

Она стреляет в воздух. К концу обоймы мужчина и женщина сидят под прилавком. Оторва с порога дает очередь из автоматической винтовки внутрь булочной и говорит стоящему рядом капитану:

— Стреляйте, капитан.

— Нет. Я здесь для прикрытия, — капитан держит под прицелом противоположный тротуар на случай атаки с тыла.

Завершает операцию Оторва. Он входит в булочную, льет на пол бензин, возвращается, зажигает спичку и бросает на мокрый пол. Бензин вспыхивает с глухим ревом, похожим на взрыв. Языки пламени вырываются из дверей. Серафина идет к машине, отгоняя по дороге каких-то женщин — они пришли за хлебом и завороженно смотрят на пожар:

— Идите! Чего уставились? Вас это не касается!

Когда все четверо садятся в машину, Лестница выполняет более мудреный, чем обычно разворот, добавляет скорости, автомобиль некоторое время неуверенно блуждает по улицам в поисках выезда из города и, наконец, покидает Сальто-де-ла-Тукспана, повторно облаянный собаками.

2

Ущерб от пожара был оценен в три с половиной тысячи песо. Полиция нашла на полу сорок восемь гильз от оружия военного образца. Все пули попали в стену. Одна из них задела Эуфемию Альдако (сеньориту из булочной), оцарапав ей плечо и руку. Булочник Симон Корона и его работница сеньорита Альдако, единственные, кто был в помещении в момент инцидента, получили не опасные для жизни ожоги.

В восемь тридцать в пункт скорой помощи, куда привезли пострадавших, явился следователь и спросил врача, позволяет ли пациентам их состояние отвечать на вопросы, на что врач ответил, что пострадавшей дали снотворное, и она спит, а подстрадавший бодрствует. Следователь отправился в палату, где полулежал на кровати забинтованный Симон Корона, и задал ему несколько вопросов:

Как все произошло?

Пострадавший ответил, что сидел за прилавком, ожидая, когда сеньорита Альдако закончит считать дневную выручку, и вдруг услышал чей-то голос: “Что? Забыл меня?” и так далее.

Подозревает ли пострадавший в содеянном конкретного человека или людей?

Пострадавший ответил, что не просто подозревает, а знает точно, потому что видел эту женщину с пистолетом в руке прямо перед собой: в нападении повинна сеньора Серафина

Баладро, которая проживает... (далее следовал адрес в городе Педронесе, штат План-де-Абахо).

Какова вероятная причина того, что упомянутая сеньора... и так далее?

Пострадавший ответил, что ему стыдно признаться, но были времена, когда он сожительствовал с сеньорой Баладро – "иногда мы жили вместе, а иногда расходились, потому что у нее был очень тяжелый характер" – до тех пор, пока не бросил ее окончательно во время путешествия в Акапулько, так как в тот момент понял, что она недостойна его любви. Его уход привел Серафину Баладро в такую ярость, что она три года его искала и в конце концов нашла.

Знакомы ли пострадавшему остальные трое?

Пострадавший ответил, что не знакомы, но он может описать одного из них, которого видел близко, когда отпускал ему сладкую соломку за несколько минут до нападения: не то, чтоб высокий, но и не маленький, не сказать, чтоб молодой, но и не старый.

Есть ли у пострадавшего предположения, где нападавшие могли раздобыть автоматическое оружие военного образца и пистолет сорок пятого калибра?

Пострадавший ответил, что предположений у него нет, но во время их совместного проживания с Серафиной Баладро он замечал, что она отлично ладит с военными.

После того, как показания были получены, протокол составлен и подписан, следователь проделал необходимые формальности, а именно: направил рапорт начальству, указав подозреваемую, и ходатайствовал перед прокурором штата Мескала, чтобы тот ходатайствовал перед прокурором штата План-де-Абахо, чтобы тот ходатайствовал перед агентом прокуратуры города Педронеса, чтобы тот ходатайствовал перед шефом полиции указанного города задержать сеньору Серафину Баладро как ответчицу по выдвигаемым против нее обвинениям.

Прошло пятнадцать дней. Когда жители Сальто-де-ла-Тукспана начали забывать о вооруженном нападении, следователь получил телеграмму следующего содержания:

"Допросите пострадавшего еще раз и выясните, участвовал ли он в 1960 году совместно с обвиняемой Серафиной Баладро в тайном погребении".

Во время второй беседы со следователем Симон Корона захотел прежде, чем даст показания, уточнить: обязан ли он предоставлять запрашиваемую информацию? "Вы здесь находитесь добровольно или принудительно?" – "Добровольно" – "Значит, не обязаны". – "Задержана ли уже Серафина Балад-

ро?" – "Здесь говорится "обвиняемая", значит, задержана или будет задержана". – "Получит ли она больший срок, если он ответит утвердительно на поставленный вопрос?" – "Скорее всего, да".

Удовлетворенный этими ответами, Симон Корона рассказал следователю дело Эрнестины, или Эльды, или Элены. Следователь зачитал показания вслух, допрошенный их подтвердил и подписал. Эта подпись обошлась ему в шесть лет тюрьмы.

II
Дело Эрнестины, или Эльды, или Элены

1

Сидя в тюрьме, Симон Корона так рассказал дело Эрнестины, или Эльды, или Элены.

Я увидел, что она идет по дорожке между тополями, и глазам своим не поверил. Эта женщина, одетая в черное, с лаковой сумочкой в руке, не могла быть Серафиной. Похожа на нее и одета так же, но это не могла быть она. И все-таки у меня задрожали колени. И я подумал: "Неужели я до сих пор ее люблю?".

Я стоял возле ларька с газировкой и ждал полудня, чтобы встретиться с одним сеньором из финансового ведомства, который мог простить мне кое-какие налоги. А женщина идет себе да идет по аллее, и чем ближе подходит, тем больше похожа на Серафину. Чтобы взять себя в руки, я стал думать: этого не может быть, потому что Серафина живет в другом городе, и ей нечего делать в Пахаресе. Она подходит еще ближе и тоже думает, как потом рассказала: не может этот парень возле ларька быть Симоном. Когда я разглядел скуластое лицо, раскосые черные глаза и гладко зачесанные волосы, было уже поздно. Серафина собственной персоной, и я попался.

Она направилась прямо ко мне, растянула рот, как в улыбке – я даже сломанный зуб разглядел, – и влепила мне пощечину.

Я не шелохнулся, а она развернулась и пошла прочь. Я посмотрел по сторонам, есть ли свидетели моего позора, но не заметил никого, кроме ларечника – тот отвел глаза и, ковыряясь ложкой в банке, сделал вид, что очень занят. Если бы он засмеялся, я бы начистил ему физиономию, но он не засмеялся, поэтому мне ничего не оставалось, как повернуться и пойти в другую сторону.

Все получилось, как обычно: она мне напакостила, и я же чувствовал себя виноватым. Я забыл пощечину, как забыл все, что

случилось два года назад, например, ее шашни с проезжим агентом, носок, который нашел под кроватью. В голове крутилась одна мысль: жить не могу без Серафины, я ее бросил, но, если бы она меня простила, мне больше ничего в жизни не надо.

Я слонялся по кривым закоулкам — солнце пекло, мухи жужжали, потому что стоял июнь, — и твердил себе: “Она тебя еще любит, раз дала пощечину”.

Я жалел, что не упал на колени и не стал вымаливать прощение за то, что сбежал от нее. “Я хочу к тебе вернуться”, — вот что нужно было сказать. А я стоял и молчал, когда она подошла, и не стал ее догонять. Я был уверен, что теперь упустил ее навсегда и очень горевал.

С такими мыслями я добрел до перекрестка. Повернул голову посмотреть, нет ли машин, и увидел ее. В сотне метров от меня она шла, не спеша, как ходят, когда нечего делать, просто чтобы убить время. Серафине тогда уже исполнилось тридцать восемь, но издалека она казалась девчонкой. Она заглянула в кондитерскую, перешла улицу, столкнулась с прохожим, который тащил какой-то мешок, и только я подумал, что лучше мне идти своей дорогой, пока она меня не заметила, как тут-то она меня и заметила.

И опять я ничего не сделал, просто стоял и ждал.

Она подошла и спрашивает:

— Что ты делаешь в Пахаресе?

Я сказал, как есть: приехал повидать одного сеньора, который может скостить мне налоги.

— И я за тем же, — говорит.

Казалось, что наша встреча на этой улице, в этом городе, в этот час была делом самым обычным. Как будто я не бросил ее со скандалом два года назад, как будто она не встретила меня пощечиной двадцать минут назад. У нас с самого начала так было. Я никогда не знал, чего от нее ждать.

Мои часы показывали больше двенадцати. Только я хотел предложить ей пойти вместе к тому сеньору, который мог простить нам часть налогов, как она говорит:

— Отведи меня в гостиницу.

Губы у нее были накрашены какой-то странной помадой, вроде фиолетовой.

Из гостиницы Торгового дома мы не выходили до восьми вечера, проголодались и пошли ужинать в ресторан — тот, что в крытой галерее. Серафина торопилась в Педронес, а моя подружка, с которой я тогда жил, уже наверняка беспокоилась за меня в Сальто-де-ла-Тукспана. Но после ужина, вместо того чтобы проститься и ехать каждый по своим делам, мы пошли в гостиницу и пробыли там до утра.

Если бы я проснулся и сразу поехал домой, эта встреча с Серафиной стала бы одним из приключений, о которых почти не вспоминаешь и не рассказываешь. Но я не поехал домой. Открыв глаза, я вспомнил женщину, с которой тогда жил, представил себе, как она убивается, уверенная, что я лежу где-нибудь на шоссе весь в крови, и совсем расхотел ее видеть. Я надел рубашку, выглянул в окно — на площади росли лавры и пели скворцы. Потом посмотрел на кровать, на спящую Серафину, и решил ее разбудить.

Я подождал, пока Серафина умоется и оденется, а когда она села перед зеркалом плести косу, то ее отражение было совсем не похоже на ее *лицо* — я это и прежде замечал. Тут мне вспомнились старые добрые времена, я расчувствовался и говорю:

— Подвезу тебя до Педронеса.

Но в Педронес она уже не торопилась. Спешка прошла. Она ехала в Сан-Педро-де-лас-Корьентес на обед к своей сестре Аркáнхеле. Я не хотел с ней расставаться и сказал:

— Ну, так подвезу тебя до Сан-Педро.

Мой "форд-55" стоял на берегу Пахареса в мастерской у одного механика. Если бы механик вышел к нам и сказал, как это частенько случается, что "машина не готова, потому что не нашли пока нужную запчасть", то я проводил бы Серафину на автостанцию, мы бы простились, и жизнь моя сложилась бы по-другому. Но машину починили, она завелась с ходу, так что я теперь сижу в тюрьме и буду сидеть еще шесть лет.

Дорога из Пахареса в Сан-Педро-де-лас-Корьентес сначала идет в гору. Вокруг, куда ни глянь, нет ничего, кроме камней, но на гребне холма открывается совсем другая картина: слева — Гуардалобос, одна из самых плодородных равнин во всем штате План-де-Абахо. Тут не найдешь ни клочка невозделанной земли, кругом — то люцерна, то клубника, то кукурузные поля, то пшеничные. Даже акации по берегам каналов растут какие-то особенно раскидистые. Мне эта равнина всегда нравилась, а в то утро — особенно, потому что рядом сидела притихшая Серафина и держала руку у меня на колене. Я забыл все заботы и говорю:

— Как посмотришь на это, душа радуется, правда?

Но пока я смотрел налево, на равнину, она смотрела направо, на горы Гуэмес. И решила, что моя душа радуется при виде статуи господа нашего Христа, которая стоит на самом высоком холме лицом к западу и словно обнимает штат Мескала. Серафина убрала руку с моего колена и говорит:

— Вечно ты расхваливаешь свои края.

С ней всегда так. Говоришь ей что-то хорошее, а она в ответ — полную ахинею. Я не разозлился, потому что знал, чем она недовольна. Когда я ее бросал, то уезжал в Сальто-де-ла-Тукспана, в самый центр Мескалы. Поэтому ее раздражал этот город, при ней нельзя было ни называть его, ни говорить, что тамошние гуайявы очень вкусные. В то утро она помрачнела, как будто я упомянул Сальто-де-ла-Тукспана, и говорит:

— Ты считаешь, что я тебя недостойна только потому, что содержу публичный дом.

Я вспылил:

— Да не потому я тебя бросил, и смотрел я не на статую господа нашего Христа, а совсем в другую сторону. И зачем ты меня попрекаешь тем, что нельзя исправить? Сама знаешь, чего добьешься: испортишь такой чудесный день, только и всего!

Уж не знаю, за какую нитку я дернул, но она снова положила руку мне на колено и замолчала.

Брякни она какую-нибудь гадость, я бы высадил ее из машины. Обоим было бы лучше.

В Уантле мы купили авокадо и сели перекусить на камнях под акацией. Кругом стояла тишина. Только голуби ворковали. С того места, где мы сидели, видно было черную землю возле канала и упряжки волов на пашне. И от такой мирной картины мы забыли ссоры, забыли, что приезжали в Пахарес, чтобы уладить дела, да так ничего и не сделали. Серафина сказала: “Эх, если б вся жизнь была такая!” или что-то в этом роде.

Прежде чем вернуться к машине, мы из любопытства забрались в развалины текстильной фабрики и там, в пустых залах под дырявым потолком, Серафина захотела, чтоб я снова ее взял, и я снова ее взял. Потом мы поехали дальше и к двум часам добрались до Сан-Педро-де-лас-Корьентес.

Серафина пригласила меня к сестре на обед, но, честно говоря, видеть Арканхелу я совсем не хотел. Она никогда ко мне любви не питала, а уж после того, как в пятьдесят восьмом я бросил ее сестру, и вовсе охладела. Поэтому я решил закончить наше приключение у дверей “Прекрасного Мехико”.

— Попрощаемся в машине, — сказал я Серафине. — И благослови тебя Бог.

Но судьба решила по-своему. Только я свернул на улицу Альенде, как вижу: на тротуаре стоит донья Арканхела. И стоит мрачнее тучи. Несмотря на жару, кутается в шаль, по бокам — две девушки. И уставились прямо на меня, словно поджидали.

Пришлось делать то, чего делать совсем не хотелось: останавливаться, глушить мотор и здороваться. Как только я открыл дверцу, Арканхела зыркнула на меня своими поросячь-

ими глазками, как будто хотела сказать: “тебя тут только не хватало”. Но вдруг раскрыла объятия и говорит так ласково:

— Как я рада тебя видеть, Симон!

Обняла меня и даже поцеловала. Мне бы сразу насторожиться — так нет! А ведь ее радость огорошила не только меня, но, как я заметил, и Серафину. Я сказал, что ехал мимо по делам, но это не сработало: уже, мол, половина третьего, еда готова, и хозяйка так рада меня видеть. Исхитрилась уговорить меня, чтобы я поставил машину во дворе. Возле маленькой дверцы за входом в заведение.

— Там тебе ее мальчишки не попортят.

Пока я парковался, она что-то говорила Серафине, как мне показалось, очень серьезное. Выйдя из машины, я заметил, что бóльшая часть женщин толпится в такое неурочное время на галерее. Они стояли, облокотясь на перила, говорили между собой и поглядывали в мою сторону.

Когда мы вошли в столовую, донья Арканхела взяла меня под руку и говорит:

— Как я рада, что ты вернулся, а то мужики, которых заводила сестра после твоего ухода, — сплошной сброд.

Я хотел объяснить, что не вернулся, а просто ехал мимо, но она не дала мне и слова сказать. Усадила на стул, поставила передо мной бутылку текилы — по ее словам, отличной, — велела девушкам, которые ее сопровождали, принести лимон и соль, и они с Серафиной ушли.

Сестры Баладро ушли в одну дверь, девушки — в другую, и я битый час сидел с этой бутылкой, отпивая из горлышка, потому что стакан мне никто не принес. Когда дверь, наконец, открылась, и вошли Арканхела с Серафиной, я встал и сказал:

— Я пошел, сидеть голодному и в одиночку в машине куда приятней.

— Симон, — говорит мне тогда Серафина, — у моей сестры большие неприятности.

И объяснила, что одна из женщин, работавших в “Прекрасном Мехико”, по имени то ли Эрнестина, то ли Эльда, то ли Элена, накануне ночью померла, и они не знают, куда девать труп.

— Организуйте ночное бдение, а утром отнесите на кладбище, — посоветовал я.

На это Арканхела сказала, что покойница умерла не своей смертью, и похоронить ее без вмешательства властей не удастся.

— А этого я допустить не могу. Мне это навредит.

Получалось, что нет другого выхода, как отвезти труп в сторону Мескалы и оставить в таком месте, где его никто не

найдет. Тут всплыла вторая часть проблемы: никто не мог найти Лестницу, единственного шофера, которому доверяли сестры Баладро.

— Поэтому я в таком отчаянии, — сказала Арканхела, вытирая слезы, похоже, настоящие.

А я говорю:

— Не расстраивайся, Арканхела, я отвезу покойницу в своей машине и оставлю, где скажешь.

Не успел еще рот закрыть, как пожалел о сказанном, но было поздно. Хотя, если разобраться, поздно было давно. Чтобы все сложилось по-другому, нужно было еще вчера не ездить в Пахарес насчет налогов. Пять минут назад я был человеком, который ждет, что его покормят, и вот уже подвизался везти в горы труп.

От такого предложения они рассыпались в благодарностях. Серафина опять положила руку мне на колено. Она отдалась бы мне тут же, на месте, только я был не в настроении. Арканхела утерла слезы и ушла. И слышу, кричит во дворе:

— Передайте Лестнице, что он нам не понадобится.

Потом я узнал: дело было не в том, что они не могли найти Лестницу, а в том, что он запросил за работу тысячу песо.

Через минуту Арканхела вернулась и протянула мне несколько сложенных купюр:

— Возьми в благодарность, на бензин.

Там было пятьсот песо, я сунул их в карман. Мне хватило духу поставить условие:

— Я везу покойницу, куда скажете, но прикасаться к ней не буду.

Когда принесли суп, есть мне уже не хотелось.

2

Допрошенный заявил, что его зовут Симон Корона Гонсалес, возраст — 42 года, женат, мексиканец, уроженец Сальто-де-ла-Тукспана; по профессии пекарь, неграмотный, умеет только расписываться, католик, пристрастия к спиртному не имеет, марихуану не курит, наркотики и транквилизаторы не употребляет. На вопрос, является ли данное заявление добровольным, допрошенный ответил утвердительно.

Допрошенный заявил, что познакомился с Серафиной Баладро в 1952 году в Педронесе, в ее доме на улице Молино. В тот же день вступил с ней в любовную связь, они прожили вместе два года, после чего допрошенный оставил Серафину Баладро и вернулся в Сальто-де-ла-Тукспана. В 1957 году по просьбе вышеназванной Серафины допрошенный вернулся, они

прожили вместе год, после чего он снова ее оставил и вернулся в Сальто-де-ла-Тукспана. Допрошенный сообщил следующее:

"В 1960 году я случайно встретил Серафину в городе Пахарес, она захотела, чтобы я отвез ее к сестре, Арканхеле, которая живет в Сан-Педро-де-лас-Корьентес. Когда мы приехали, Арканхела мне сказала: "Поставь машину во дворе", я так и сделал. Меня отвели в столовую и дали мне бутылку текилы. Потом сестры вернулись и сказали: "Как стемнеет, поедешь по шоссе и выбросишь в овраг тело одной девушки, которая умерла". Мы поехали на моей машине в сторону Мескалы, на каком-то повороте Арканхела мне сказала: "Остановись здесь". Я остановился. В машину покойницу положили без меня, но мне пришлось помочь ее вытащить, потому что она окоченела, и Арканхела, Серафина и еще одна девушка по имени Эльвира, которая тоже была с нами, не смогли вытащить ее из багажника. Пока мы несли труп, чтобы бросить в овраг, мешок съехал, и я увидел лицо покойницы: все черты заострились, глаза открытые, вытаращенные. По их словам, звали ее то ли Эрнестина, то ли Эльда, то ли Элена. Когда мы вернулись в Сан-Педро-де-лас-Корьентес и Арканхела выходила из машины возле своего дома, она сказала: "Если узнаю, что ты болтаешь про то, что случилось сегодня ночью, из-под земли тебя достану". Мы с Серафиной поехали в Педронес, прожили вместе еще полгода, потом я бросил ее в третий раз и вернулся в Сальто-де-ла-Тукспана".

III
Старая любовь

1

Сеньора Хуана Корнехо по прозвищу Калавера[1] об отношениях Симона Короны и Серафины Баладро рассказала следующее.

Из всех мужчин сеньоры Серафины дон Симон был самый обходительный. Меня называл "сеньора Калака[2]", а девочек — "сеньоритами"; если что просил, то добавлял "если вам не трудно", а уходя, всегда говорил "с вашего позволения".

1. Дословно — "череп". Симпатичный персонаж мексиканского праздника — Дня Мертвых, имеющего некоторое сходство с праздником Дня Всех Святых.
2. То же, что "калавера".

Он вставал рано и появлялся на кухне, когда я разводила огонь.

– Добрый день, сеньора Калака.

Иногда он уезжал и долго не возвращался, но когда возвращался, то по утрам первым приходил на кухню и вежливо здоровался.

Пока я готовила завтрак, он рассказывал про Сальто-де-ла-Тукспана. Ничего такого, как пройтись вечерком с девушкой до берега Пьедрас, его не интересовало.

Говорят, по утрам дон Симон сидел на Пласа-де-Армас и слушал музыку, а вечером играл в таверне в домино. Возвращался домой ночью и в кабаре никогда не заходил, сразу шел в комнату сеньоры. И до утра мы его уже не видели.

Иногда он грустил и, вместо того чтобы есть, просто смотрел в тарелку с чилакилес[1], а потом говорил:

– Скоро меня здесь не будет.

Бросал недоеденный завтрак и, вместо Пласа-де-Армас, шел на задний двор и садился под гуайявой. Вскоре выходила сеньора Серафина – узнать, в чем дело. Он говорил, что устал от своей жизни в Педронесе, что хочет вернуться в Сальто-де-ла-Тукспана, а она отвечала, мол, хорошо, пусть уезжает, и приходила на завтрак заплаканная.

Это были не такие скандалы, какие у них случались из ревности, а просто перебранки, потому что дону Симону иногда хотелось уехать. Три раза он уезжал надолго, два раза возвращался, но очень много раз пытался уехать, да не смог.

Однажды уже сложил пожитки и ходил по дому прощался.

Говорил всем:

– Уезжаю на автобусе в полшестого.

Тогда у дона Симона еще не было машины.

Пока он прощался, постучали в ворота. Открываю и вижу капитана Лагуну и еще одного военного. Спрашивают дона Симона.

– Он давно уехал, – говорю (я знала, что дон Симон с ними не в ладах).

Слава богу, эти люди в дом не вошли, потому что если б вошли, то увидели бы дона Симона тут же, за первым поворотом. Войти они не вошли, но и мне не поверили, остались ждать на углу. Дон Симон, как узнал, что за ним приходили федералы и поджидают на улице, несколько месяцев не решался выйти из дому, а уж о Сальто-де-ла-Тукспана даже не вспоминал.

1. Традиционное мексиканское блюдо, в основе которого лежат кукурузные лепешки и острый соус, сдобренные чем-нибудь мясным или же без него.

В тот раз ему повезло. Но иногда выходило хуже: солдаты гнались за ним и ловили, один раз — в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, другой — в Муэрдаго. Привозили его обратно в Педронес, запирали в участке, и он очень мучился, потому что его заставляли отмывать всякую грязь. И так до тех пор, пока за него не вступалась сеньора Серафина — она дружит с полковником Саратэ — и не договаривалась, чтоб его отпустили. Дон Симон возвращался такой, как будто в преисподней побывал, съедал гору лепешек и потом долго не говорил, что скоро его здесь не будет.

Однажды я его спросила, за какие грехи его преследуют зеленые. Он сказал, что был дезертиром: записался по молодости в кавалерию, но не вынес лишений. Сбежал за три месяца до окончания службы, и за это они двадцать лет не давали ему покоя.

2

О своих отношениях с Симоном Короной Серафина Баладро рассказала следующее.

Первый раз Симон пришел в заведение на Молино совершенно неотесанным. Вижу, стоит у стойки один, ни с кем не разговаривает. “Чем порадовать этого увальня?” — думаю. Чтобы его немного растормошить, потащила танцевать. Он и шагу ступить не умел, но я танцую отлично, начала его учить, и понемножку дело пошло.

— Угости меня выпивкой, — говорю.

А простофиля отвечает, что у него в кармане пятнадцать песо.

— Благодари Бога, — говорю, — что приглянулся хозяйке.

Он не понял, что я — хозяйка заведения. Как и другие, он не мог и подумать, что я, такая молодая и красивая, содержу публичный дом.

— Давай сюда свои пятнадцать песо, — говорю, — остальное — за мой счет.

Врать не буду, он мне понравился. Мы сели за столик, он рассказал, что приехал из Сальто-де-ла-Тукспана и что он пекарь.

— Небось, пупок весь в крошках, — говорю. — Иди-ка, отмойся как следует, прежде чем ляжешь со мной в постель.

Отвела его в свою ванну, какая ему и не снилась. И когда увидела, как он стоит голый и крутит кран горячей воды, то сильно умилилась, потому что Симон, хоть и был неотесанный здоровяк, но уж больно беззащитный.

Я его всему научила. Если он сейчас хоть чего-то стоит, то только благодаря мне. Когда мы только познакомились, он был просто деревенщина с гор.

Мы не всегда ладили. Большую часть времени жили хорошо, но иногда я замечала, что мой бизнес встает между нами. Например, он ревновал, когда я занималась клиентами, болтала с ними, садилась к ним за столик; его раздражало, что я ложилась спать в два, а то и в три часа ночи.

Я ему говорила:

— Это моя работа. Если я не буду этого делать, на какие шиши мы будем жить?

Жить за мой счет ему тоже не нравилось.

— Если не хочешь, чтоб тебя содержали, работай, — говорила я ему. — Бездельничать совершенно не обязательно.

Я ему предлагала считать пустые бутылки или выдавать девочкам фишки. Мог бы, по крайней мере, пройтись по кабаре и проверить, все ли клиенты заказали выпивку.

Он мне говорил:

— Я не сутенер, я — пекарь.

Короче, за все проведенные со мной годы он не удосужился заработать ни единого песо.

Из трех попыток жить вместе лучше всего нам было в последний раз. Симон почти не устраивал мне сцен, а я ему не изменяла. Я была так счастлива, что даже захотела увидеть море и попросила:

— Отвези меня в Акапулько.

Он как следует подготовил машину, я достала из сейфа полторы тысячи песо, и мы поехали.

Я еще в дороге почувствовала, что меня ждет что-то ужасное. Стояла жара. Я была в черном, и уже не знала, что с себя снять. Я надеялась увидеть море за каждым холмом, но вместо моря вырастал новый холм. От огорчения я ненадолго заснула, и мне приснилось море, а когда проснулась, мы уже въехали в город. Остановились в маленькой гостинице с масляным деревцем во дворе. Заплатили за комнату тридцать песо. Только мы закрыли дверь, я скинула одежду и упала на кровать. Симон тут же на меня взгромоздился.

— Уйди, — говорю, — не видишь, мне жарко?

Он встал, молча причесался, надел чистую рубашку и ушел.

Я пожалела, что прогнала его. И стала думать, что будет, если он найдет себе другую в этом незнакомом месте. Я-то знала: в Акапулько полно соблазнов. Прошло много времени, пока я отважилась идти его искать. Мне казалось, что больше никогда его не увижу.

Но нет! Нашла его в трех кварталах от гостиницы. Он сидел на лавочке на улице Саколо, как обычно сидел на Плаза-де-Армас в Педронесе, когда слушал музыку. Я так обрадова-

лась, что бросилась ему на шею и заплакала. После ужина мы пошли танцевать в “Ущелье”.

На другой день мы первым делом купили все для пляжа и отправились на море. Я не решилась лезть в воду, сидела под навесом, пила пиво и смотрела, как волны швыряют Симона. Какой-то мальчишка продал мне билеты на корабль с оркестром. После обеда мы его нашли. Там был бесплатный буфет, мы пили и танцевали. Вечерело, и мы остались смотреть, как солнце садится в море. Казалось, это был самый счастливый день моей жизни, и я спросила Симона:

— Ты меня любишь?

Он сказал, что любит, и тогда я предложила продать свой бизнес, больше не заниматься публичными домами, дать ему денег на пекарню и переехать с ним в Сальто-де-ла-Тукспана, где ему так нравится. Он страшно обрадовался.

Мы ушли с корабля и отправились бродить по городу, держась за руки, как молодожены. В отеле я сняла платье и сказала Симону:

— А теперь иди ко мне.

И он пришел, и я почувствовала, что никогда никого так не любила, что наша с Симоном любовь — навсегда. Поэтому я рассказала ему историю своей жизни.

Я рассказала ему все, даже то, что именно по моей просьбе полковник Саратэ посылал солдат ловить Симона, запирал его в участке и учил уму-разуму каждый раз, как Симон собирался меня бросить.

Не успела я договорить, как заметила, что лицо у него стало серьезное. Мне пришлось объяснить ему:

— Все, что я рассказала, я делала потому, что очень тебя люблю.

Он не ответил. Встал с кровати, отвернулся и стал одеваться.

— Ты разозлился? — спрашиваю.

— Пойдем ужинать, — говорит, а сам на меня не смотрит.

Я впопыхах одевалась и все думала: “Ну дала же ты маху...”.

Мы вышли на улицу, идем молча. Вдруг Симон остановился и говорит:

— Пойду куплю бутылку рома в том магазине напротив. Слушай меня внимательно: жди здесь, где стоишь, никуда не уходи, иначе я тебя не найду, когда вернусь.

Я хотела ему угодить и сказала, что буду ждать, где скажет. Он перешел улицу и скрылся в магазине. Я сделала, как он велел: ждала его на указанном месте. Через некоторое время мне стало не по себе, я подумала: а если он умер, пока покупал Бакарди? Я боялась перейти улицу и зайти в магазин. Вдруг я пой-

ду, а он в это время вернется с другой стороны, не найдет меня и разозлится еще хуже! Когда в магазинах начали опускать жалюзи, я не выдержала. Перебежала улицу и вошла в магазин. Симона я не увидела, зато увидела другую дверь, которая выходила на другую улицу. И тогда я поняла, что любовь, которая только что казалась вечной, закончилась.

Когда я вернулась в отель, мне сказали, что Симон уехал на машине. Ему не хватило порядочности даже на то, чтобы оплатить счет.

Вот чего мне стоила откровенность с человеком, который ее совершенно не заслуживал.

IV
На *сцене появляется* Бедойя

1

Описывая свое физическое и моральное состояние в течение месяцев, последовавших за расставанием с Симоном Короной в Акапулько, Серафина Баладро говорит о головных болях, о нездоровом пристрастии в одиночку, в полутемной столовой, поедать сардины прямо из банки, закусывая хлебом, об отвращении к разговорам, полной потере интереса к бизнесу и ужасе перед мужчинами — единственный раз в жизни она воздерживалась от секса в течение сорока семи дней. Она не следила за собой, почти целый месяц не заплетала косу, и от одной мысли, что кто-то будет прикасаться к ней, к горлу подступала тошнота. В какой-то момент она пережила влечение (платоническое) к одной из своих девушек по имени Альтаграсия, которую потом выгнала.

Ее мучила бессонница. Она проводила конец ночи и утро без сна, погруженная в воображаемые диалоги с Симоном Короной. В них она упрекала его в неблагодарности, доказывала, что все делала в его интересах, перечисляла множество своих благодеяний, за которые он остался ей должен. И в темноте не решалась вытащить из-под одеяла руку и зажечь свет: ей мерещилось, что до нее дотронется чья-то ледяная рука.

Во время последней бессонницы она, наконец, осознала, что Симон к ней не вернется, и решила: если он не достанется ей, то и никому другому. Иначе говоря, Серафина твердо вознамерилась обыскать всю землю, найти и убить его. Она представила себе, как стреляет из пистолета, а в углу лежит Симон Корона в дырявой от пуль рубахе, с гримасой страдания на лице. Насладившись этим видением, она крепко уснула.

На следующей неделе Серафина совершила первое путешествие в ненавистную ей Сальто-де-ла-Тукспана. В лаковой сумочке лежал пистолет двадцать пятого калибра, которому она не очень доверяла, и ножницы — на тот случай, если промахнется.

Разыскивая Симона Корону, она обошла весь город, ко́торый показался ей ужасным, но найти его не смогла. Зато встретила двух женщин, бывших его любовниц — одну из них Симон бросил ради Серафины, со второй жил, когда бросил Серафину, и бросил, чтобы вернуться к Серафине.

Эти три женщины, две из которых едва знали друг друга в лицо, и все три смутно слышали друг о друге и питали взаимную ненависть, встретились в ресторане и отлично поладили. Их объединяло общее положение отверженных и предательство одного и того же мужчины, Симона Короны.

— Он нанес мне страшное оскорбление, я найду его и накажу так, что больно будет по-настоящему, — объявила Серафина.

Поскольку две другие не имели возражений и не отказались участвовать в расправе, троица отпраздновала заключение пакта, согласно которому две жительницы Сальто-де-ла-Тукспана обязались немедленно уведомить Серафину телеграммой, как только вернется Симон Корона. Серафина, в свою очередь, пообещала заплатить пятьсот песо любой из них, кто предоставит точную информацию. Закончив переговоры, они подняли бокалы с хорошим вином. В тот вечер в Сальто-де-ла-Тукспана впервые видели трех пьяных женщин.

Пакту не суждено было сыграть свою роль. Симон Корона, оставив Серафину в Акапулько, три месяца работал в булочной в Мескале. Когда он, в конце концов, вернулся в Сальто-де-ла-Тукспана, обе его прежние любовницы исполнили свою часть договора и отправили Серафине в Педронес телеграммы. Но к тому времени Серафина полностью потеряла интерес к поискам. Она не заплатила пятьсот песо ни одной из осведомительниц, и прошло два года и девять месяцев, прежде чем она осуществила описанную в первой главе месть.

2

Впервые Серафина Баладро увидела капитана Бедойю, когда стояла на углу улиц Пятого Мая и Соледад в Педронесе. Он ехал на сером коне (взятом взаймы), с саблей наголо и в каске по уставу. Звучал драгунский марш. Шел парад 16 сентября 1960 года. Серафина Баладро говорит, что обратила на него внимание, потому что его лошадь отличалась от остальных, а еще потому, что он был самым чернокожим из

всего проезжавшего мимо полка. Капитан Серафину не заметил. Когда колонна прошла, Серафина вернулась домой и не вспоминала о капитане еще пять месяцев, после чего увидела его снова и узнала.

В этом промежутке представим себе капитана Бедойю верхом на другом коне, темно-гнедом, казенном, на узкой извилистой тропинке в горах Гуэмес. Жара, капитану на лицо садятся мухи, кругом цветут касауате. За капитаном растянулась вереница солдат, они раздвигают руками ветви акаций. Впереди идет единственный пеший участник процессии — крестьянин в кожаных сандалиях и широкополой шляпе. Это осведомитель.

Тропинка уже еле видна, и, когда кажется, что дороги дальше нет, крестьянин останавливается и поднимает руку — он указывает на другую сторону ущелья. Там растут цветы, маки.

Представим себе засаду: двое крестьян приезжают с мешками в ущелье, с виду безлюдное, чтобы увезти урожай; испуг: они понимают, что окружены федералами; пытку: что-нибудь очень простенькое, вроде сломанного пальца или поджаренной ступни а-ля Куаутемок[1]. Они не герои. Они называют имя арендатора, который снабжает их семенами и покупает у них урожай.

Следующий шаг не задокументирован. Никто не знает, как капитан Бедойя узнал, что разоблаченный Умберто Паредес — сын Арканхелы Баладро, и какой инстинкт подсказал капитану навестить мамашу, вместо того чтобы передать сына в руки полиции.

Завершив доблестную акцию — до этого еще никому не удавалось обнаружить плантацию, — капитан вернулся в часть, написал рапорт о том, что задержал двоих и сжег урожай, но ни слова о том, что узнал имя контрабандиста. Потом переоделся в штатское и поехал в Сан-Педро-де-лас-Корьентес на автобусе “Красная стрела”.

Для капитана беседа с Арканхелой стала сущим испытанием. Сначала Арканхела обращалась с ним надменно, решив, что капитан хочет ей что-то продать, потом приняла его за агента санитарной службы (туалеты “Прекрасного Мехико” всегда работали плохо), но, когда он сказал, что дело касается Умберто Паредеса, она проводила капитана в столовую, решив, что он — друг ее сына и пришел просить взаймы. Непонимание было изматывающим, разъяснение — чистой пыткой.

1. Куаутемок — последний царь ацтеков, умерший от пыток в плену у Кортеса.

Вспоминая этот инцидент, капитан сам удивлялся, что проявил такую выдержку и сумел в конце концов объяснить ей то, что хотел: сын сеньоры — торговец наркотиками и не просто преступник, а преступник, против которого есть улики, то есть практически арестант. После чего несколько минут, показавшихся ему часами, капитан вынужденно наблюдал, как Арканхела мучительно переходит от неведения к осознанию.

Сначала, не поверив, Арканхела оскорбила капитана:

— Вы лжец, — сказала она.

Он и бровью не повел. Повторил свои обвинения. Тогда Арканхела попыталась объяснить капитану все тяготы материнской доли: она так хотела, чтобы сын изучал медицину, принесла такую жертву, расставшись с ним, чтобы мальчик не испытывал дурного влияния и вырос успешным человеком, заплатила целое состояние за его учебу, и теперь оказалась перед страшной действительностью: ее сын — торговец наркотиками.

— Что может твориться в моей душе, капитан? Труд и лишения всей моей жизни пошли коту под хвост из-за безумия этого мальчишки.

Она обливалась слезами. Сдернув со стола белую скатерть с кофейными пятнами, она промокала глаза. Воспользовавшись паузой, капитан Бедойя сказал:

— У меня нет намерения вредить парнишке...

Капитан вышел из “Прекрасного Мехико” с пятью тысячами песо в кармане.

Это была первая встреча капитана Бедойи с сестрами Баладро. Несколько месяцев спустя, когда Серафина, сгорая от жажды мести, захотела купить более мощное оружие, чем имевшийся у нее пистолет, и нанять себе тренера по стрельбе, Арканхела порекомендовала капитана Бедойю как человека, достойного доверия.

3

Серафина хотела раздобыть большой пистолет, и не важно, что ей придется держать его двумя руками, что отдача будет подбрасывать ствол, что выстрел будет оглушающим, а пуля, войдя в грудь жертвы, вырвет у нее кусок спины. Все эти недостатки компенсировались, по мнению Серафины, уверенностью, что пистолет с такими качествами не позволит “приговоренному” после выстрела ринуться прямо на нее с безумным взглядом и раскинутыми, как для объятий, руками.

Арканхела не только дала рекомендацию, но и организовала встречу. В условленный день капитан Бедойя появился в до-

ме на Молино, в Педронесе, точно в восемь вечера. Он подошел к распорядительнице бара и попросил позвать хозяйку.

Серафина в то время переживала период воздержания и решила общаться с капитаном вежливо, но отстраненно. План состоял в том, чтобы принять его в задней комнате, объяснить, чего она хочет, выслушать, что он может предложить и сколько запросит; если цена окажется разумной, они обо всем условятся и заключат соглашение. Потом она собиралась позвать несколько девочек, заказать выпивку, встать из-за стола и пожелать капитану чувствовать себя, как дома, пить и делать все, что захочет, за ее счет. Потом попрощаться и идти по своим делам.

В самом начале беседы произошло нечто непредвиденное: когда капитан вошел, Серафина узнала в нем самого темнокожего военного из всего полка — капитан Бедойя черен до синевы.

— Вы ездите на серой лошади?

Что-то заставило капитана признаться:

— На одолженной, сеньора, — но, тем не менее, он почувствовал себя польщенным.

— Сеньорита, с вашего разрешения.

Капитал извинился, поправился, сел, взял из рук Серафины бренди и дальше вел себя вежливо и обходительно. Что требуется сеньорите? Большой пистолет — она перечислила нужные характеристики. Он посоветовал специальный 45-го калибра, стрелковый, уставной. Он может достать такой за тысячу двести песо и передать ей в течение двух недель вместе с сотней патронов.

— Вам нужен аванс?

— Ни сентаво.

Она также хотела, чтобы кто-нибудь научил ее обращаться с этим пистолетом. Капитан обещал отвезти ее в уединенное место, где она сможет практиковаться, пока не овладеет оружием в совершенстве. Сколько будут стоить уроки? Он повторил:

— Ни сентаво.

Сделка была заключена. Наступил момент, когда Серафина должна была встать и позвать девочек. Она говорит, что сама не знает, что заставило ее поболтать еще немного с таким уродливым человеком. Она снова наполнила его рюмку и спросила про военную жизнь, которая, по слухам, полна лишений. Капитан живо заговорил о конных походах, о пережитом голоде и жажде, о ночных дежурствах под проливным дождем. Внезапно разговор смолк.

Серафина увидела, что правая рука капитана исчезает под столом, и почувствовала руку у себя на животе. Она говорит, что встревожилась, но не знала, что делать.

В эту ночь Серафина прервала свой пост и забыла про месть.

4

Серафина познакомилась с капитаном Бедойей 3 февраля 1961 года. Влияние, которое капитан оказал на судьбу сестер Баладро в последующие месяцы, очень велико. Он обещал достать пистолет за две недели, но по счастливой случайности получил его через три дня. Уложив пистолет и сто патронов в пустую обувную коробку, капитан второй раз появился в доме на Молино, держа коробку под мышкой, и попросил распорядительницу бара позвать хозяйку. К нему вышла сияющая Серафина и проводила в свою комнату, где капитан передал ей пистолет, она ему — деньги и где, покончив с делами, они провели вместе ночь.

Прошло три дня, и капитан снова появился в доме на Молино. На этот раз — в одиннадцать утра. Он был в военной форме и постучался в дом, потому что кабаре в это время закрыто. Когда Калавера открыла дверь, капитан спросил сеньориту (Серафина для всех была сеньорой, сеньоритой — только для него). Заставив его потомиться немного в коридоре, Серафина появилась, запыхавшаяся и румяная, в сиреневом халате. Капитан сказал, что готов дать ей первый урок стрельбы. Серафина быстро собралась и надела широкополую шляпу с волнистыми полями для защиты от солнца. Она думала, что капитан, как обещал, отвезет ее в уединенное место, за город. Но ошиблась. Они вышли из автобуса "Красная стрела" в городке Консепсьон-де-Руис, где стоял полк капитана.

(Это путешествие в маленький городок на равнине, который Серафина прежде видела только издали, стало определяющим в ее судьбе и судьбе других участников нашей истории. Консепсьон-де-Руис расположен в стороне от шоссе, соединяющего Педронес и Сан-Педро-де-лас-Корьентес, и добраться до него можно только по трехкилометровой подъездной дороге.)

Капитан придумывал походы, конные эскорты и полевые упражнения для солдат, поэтому в казарме в тот полдень не было никого, кроме караульных. Серафина получила от капитана предварительный инструктаж, как пользоваться оружием, выстрелила в первый раз — мимо — в маленький пулевой стенд, зато без посторонних взглядов и насмешек. Когда практические занятия закончились, капитан отвел Серафину в комендатуру, но койка оказалась слишком узкой, а цементный пол — слишком холодным, поэтому пришлось уб-

рать пишущую машинку и заняться любовью на письменном столе, под подробной топографической картой местности. Потом капитан пригласил Серафину на обед в гостиницу "Гомес".

Она говорит, что во время обеда — здесь он всегда состоит из шести блюд — Серафина поняла, что влюбилась в капитана Бедойю. Она поняла, что почти забыла Симона Корону, что месть ее уже не интересует, и пожалела о тысяче двухстах песо, потраченных на пистолет, от которого глохла при каждом выстреле.

Вероятно, Серафина предложила капитану:

— Расскажи мне о себе.

Вероятно, он рассказал о проживающей в Ацкапосалько жене, которую увидел, очаровал, соблазнил и оставил беременной во время выпускного вечера в военном училище; о четверых детях, особенно о девочке, Кармелите, о том дне, когда жена застала его на Пасео-Вьехо в городе Пуэбла за поеданием чалупас[1] в компании другой женщины, о предъявленных ею претензиях и о побоях, которые он ей нанес, сбив под конец с ног. Вероятно, он рассказал, что каждые два-три года они с женой съезжались в безуспешных попытках восстановить семью (примечание: больше капитан не съезжался с женой, ему предстояло счастливо прожить с Серафиной три года и расстаться только в связи с тем, что оба сели в тюрьму, он — в мужскую, она — в женскую). И, вероятно, капитан пожаловался на одиночество. Вероятно, Серафина ему посочувствовала.

Капитан попросил счет, расплатился и оставил один песо "на чай" — он никогда не оставлял ни больше, ни меньше, и все официанты его ненавидели. На улице Серафина замешкалась среди игроков в кегли и оглядела Пласа-де-Армас. Она поняла, что этот городишко — самое подходящее место для открытия третьего борделя.

V

История заведений

1

Рассказывает сеньора Эулалия Баладро де Пинто:

Газеты писали, что мои сестры унаследовали бизнес отца, что наш отец прославился в Гуатапаро своей распущенно-

1. Кукурузные оладьи с мясом, с сыром.

стью и умер от пули федералов. Чистая ложь. Мой отец был честным человеком и коммерсантом, он никогда не переступал порога заведений с дурной репутацией. И жил не в Гуатапаро, а в Сан-Матео-де-Гранде, где родились и мы, три его дочери, и где до сих пор живы люди, которые вспоминают отца с почтением и любовью. Он ни с кем никогда не ссорился, а уж меньше всего — с федералами, и умер в Сан-Матео в 1947 году от болезни, когда пришел его час, исповедавшись и причастившись, и, слава богу, не подозревая, что мои сестры выберут себе жизнь, которую он никогда бы не одобрил.

Сестра Арканхела стала хозяйкой дома терпимости не по своей воле. Она давала деньги в рост, один из заемщиков не вернул вовремя долг, и его имущество перешло к сестре, среди прочего — небольшой бар на улице Гомес Фариас в Педронесе. Она несколько месяцев искала управляющего в этот бар, да так и не нашла никого, кому можно доверять, поэтому ей не осталось ничего другого, как заняться делами самой. Дела пошли так хорошо, что через два года она открыла дом на Молино, который прославился на весь Педронес.

Через несколько лет, благодаря дружбе с одним политиком из штата Мескала, она получила лицензию на второе заведение — в Сан-Педро-де-лас-Корьентес. Тогда она приехала ко мне и говорит:

— Я собираюсь обосноваться в Сан-Педро. Не хочешь заняться моим бизнесом на улице Молино?

К тому времени я вышла замуж за Теофило, жила в достатке, но решила спросить, о каком бизнесе идет речь и не смогу ли я им заниматься без ущерба для домашних обязанностей. Так я узнала, чем занималась моя сестра. Я едва могла в это поверить.

— Лучше помереть, чем управлять таким местечком, — сказала я ей.

Арканхеле мой ответ не понравился, и отношения у нас на долгие годы испортились. Когда я отказалась, она отправилась к Серафине, потому что, несмотря на все свои недостатки, всегда считала, что бизнес должен оставаться в семье. Серафина согласилась, она была молодая, неопытная, в то время как раз разочаровалась в любви и работала прядильщицей на фабрике “Ла-Аурора”. Она взялась управлять заведением на Молино, а Арканхела уехала в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, открыла там кабаре “Прекрасный Мехико”, и оно тоже прославилось на весь город.

Долгие годы казалось, что Бог им помогает. Пока мы с мужем, работая честно, три раза теряли все, что имели, сестры разбогатели, хотя вели аморальную жизнь.

2

Говорит Арканхела Баладро:

Проституция — очень простой бизнес, нужно только соблюдать строгий порядок, и все будет хорошо.

В восемь вечера девочки спускаются из своих комнат и проходят передо мной, и я проверяю, чтоб они были чистые, хорошо одетые и причесанные. Потом они садятся за столики в кабаре. Заведующий баром обнуляет кассу. Включают музыкальный автомат и поднимают жалюзи со стороны улицы. Заходят первые клиенты. Некоторые уже бывали у нас и подходят к девочкам, которые им нравятся, приглашают их за свой столик. Другие держатся особняком, замкнуто и предпочитают сначала выпить рюмку-другую у барной стойки, пока на что-нибудь решатся. Если я вижу, что прошло много времени, а клиент все стоит у бара, посылаю кого-нибудь из свободных девочек пригласить его к столику. Большинство мужчин идет с любой, какая позовет. В моих заведениях девушкам запрещено пить у барной стойки. Иногда приезжает какой-нибудь сеньор и хочет подождать, пока девушка освободится наверху: если он платит за выпивку, то может ждать в баре, сколько ему заблагорассудится. Иногда приезжают несколько мужчин, садятся за один стол и желают поговорить между собой, без девушек. То же самое: если платят, пусть делают, что хотят. Что я точно не разрешаю — это чтобы кто-нибудь (обычно, такую привычку имеют студенты) пригласил девушку и танцевал с ней раз за разом, а утром ушел, не истратив ни песо. Поэтому музыкальный автомат отрегулирован так, что в музыке всегда есть перерыв для выпивки. Когда музыка заканчивается, все идут к столам. Идти танцевать от стойки или от двери запрещено, запрещено девушкам брать плату за танцы, запрещено клиентам сидеть за столиком и ничего не заказывать. Официант обязан отдавать клиенту счет каждый раз, когда приносит новую перемену, а девушке — отдавать ее фишку. После визита клиент должен оплатить все свои счета без обмана и наличными.

Выпивка в моих заведениях честная. За двадцать лет никто меня не упрекнул, что я подаю напитки, которые клиент не заказывал. Даже девочкам подают только то, что они заказали. Если кто-то хочет рому, для него открывают бутылку и разливают по стаканам.

В кабаре две двери. Одна выходит на улицу, вторая — внутрь дома. В ту, что ведет на улицу, входит любой, кто хочет, а выходит тот, кто все оплатил. Когда клиент хочет провести немного времени с девочкой, которая сидит у него за столиком, он просит пойти с ним в комнату. Она соглашается, отказываться за-

прещено. Клиент платит по счету, оба встают из-за стола и выходят из кабаре в ту дверь, что ведет в дом. За дверью — коридор на лестницу. Возле лестницы стоит столик заведующей комнатами. Она-то и говорит клиенту, сколько он должен заплатить, потому что не все девочки стоят одинаково. Клиент платит, а заведующая дает девушке фишку, а клиенту — полотенце. Клиент с девушкой поднимаются по лестнице в ее комнату и остаются там столько, за сколько заплатил сеньор. Потом оба спускаются по лестнице. Это важно, потому что заведующая видит, что клиент не причинил девушке вреда. В коридоре они расходятся. Клиент может вернуться в кабаре, если хочет. Если нет, то может выйти на улицу прямо из дома. Девушка возвращается в кабаре и продолжает работать. Хорошая работница может за ночь заработать три, четыре, а то и десять фишек.

3

Свидетельские показания работницы по имени Эрминия Н.:

Я родилась в городке Энкарнасьон, штат Мескала. Мы жили очень бедно. Я — третья из восьми детей. В четырнадцать лет я пошла в няньки. Получала двадцать четыре песо в месяц.

Один раз в наш дом пришла сеньора по имени Соледад, поговорила с моей мамой и пообещала устроить меня на работу служанкой в Педронесе. Сказала, что мне дадут стол, жилье и двести песо в месяц. Мама захотела, чтобы я в тот же вечер поехала с сеньорой Соледад. В автобусе с нами ехали еще две девушки, которые тоже решили стать служанками. В Педронесе мы переночевали в доме сеньоры Соледад, а на следующий день она нас отвела в дом сеньоры Серафины. Я, как вошла в этот дом, сразу поняла, что тут не просто люди живут, потому что по коридору ходили женщины в белье. Меня сеньора Серафина приняла, а двух других девушек — нет, и они ушли с сеньорой Соледад, и я их больше не видела. Сеньора Серафина отвела меня в комнату и сказала:

— Это будет твоя комната. Здесь можешь положить свои вещи, и никто тебе не будет мешать.

Сказала и ушла, а я осталась в комнате одна. Я довольно долго там просидела, боялась выйти. Вечером открылась дверь, и вошла сеньора Серафина. Я испугалась, потому что с ней пришел усатый сеньор.

— Этот сеньор, которого ты видишь, — сказала сеньора Серафина, — друг нашего дома. Его зовут дон Назарио. Он хотел поглядеть на тебя, новенькую.

(Дальше она описывает свои первые испытания. Они ужасны. Свидетельница говорит, что сначала натерпелась муче-

ний, но потом привыкла, и такая жизнь даже стала ей нравиться. Говорит, что зарабатывала много красных и синих фишек, и у нее было целых четырнадцать платьев. Жалуется, что ей никогда не удавалось заработать достаточно, чтобы расплатиться с Серафиной за жилье, еду и платья с учетом двухсот песо, которые Серафина отправляла ее матери каждый месяц — свидетельница и ее мать никогда не переписывались, потому что первая не умела писать, а вторая — читать. Еще свидетельница жалуется на то, что мать ни разу не получила двести песо. Об этом свидетельница узнала через восемь лет, когда случайно встретила мать на рынке. Говорит, что не хотела видеть своих близких, чтобы им не было стыдно, во что она превратилась.)

Свидетельские показания Хуаны Корнехо, по кличке Калавера:

Я познакомилась с сеньорой Баладро случайно. Я жила на ранчо, и мне нужны были деньги, потому что у меня болел ребенок. Я поехала в Педронес искать работу, и ходила из дома в дом, от двери к двери, пока мне не открыла сеньора Арканхела. Она сказала:

— Да, работа здесь есть, но не служанки. Здесь ты будешь работать проституткой.

Я согласилась, и она дала мне аванс двадцать песо на лекарства, но они мне не пригодились, потому что через несколько дней мой ребенок умер. А я осталась с сеньорами.

(Далее следует список мест, где она работала. Свидетельница рассказывает, как сеньора Серафина назначила ее заведовать комнатами и какие дала ей указания: “чтобы никто не вышел, не уплатив, а если кто будет бузить, зови Тичо” — вышибалу. Говорит, что за двенадцать лет на этой должности ни разу не имела проблем с хозяйками.) И заканчивает так:

Ни сеньоры на меня не могут пожаловаться, ни я — на них, потому что давали мне все, что мне было нужно, отчего я и говорю, что сеньоры — порядочные женщины, и если полиция нас привела в тюрьму, так это потому, что нам не повезло.

4

Много лет Баладро не оставляли идею открыть третье заведение. Они понимали, что дом на Молино и “Прекрасный Мехико” находятся на виду, так сказать, в опасной зоне, из-за чего определенные осмотрительные клиенты не посещали заведения с той частотой, с какой они сами — или хозяйки домов — желали: боялись, что кто-нибудь из знакомых заметит их поутру в этом сомнительном районе. Поэтому Серафина

решила, что Консепсьон-де-Руис — подходящее место для открытия третьего заведения: он удачно расположен, в двадцати километрах от Педронеса и в двадцати трех километрах от Сан-Педро-да-лас-Корьентес, да к тому же так мал и заброшен, что о нем почти никто не знает.

Серафина Баладро так описывает появление казино "Дансон":

— Не прошло и восьми дней с тех пор, как я впервые увидела Консепсьон-де-Руис, ко мне пришел Эрменехильдо (капитан Бедойя) и рассказал, что нашел участок для строительства заведения — лучше не придумаешь. Двадцать два метра вдоль улицы, восемьдесят пять метров в глубину. Участок принадлежал двум старухам, которые его продавали, чтобы оплатить отправку своего брата в сумасшедший дом монахинь Божественного Слова в Педронесе. Они просили тридцать три тысячи песо.

Мне это место сразу понравилось, но сестра взъерепенилась, еще не взглянув — взяла манеру в штыки воспринимать все, что советовал Эрменехильдо.

— Я тебя с ним познакомила, чтобы он продал тебе пистолет, а не для того, чтобы стал твоим любовником, — говорила она мне.

А я отвечала:

— Это моя жизнь. Как хочу, так и живу, верно?

Короче, как-то вечером мы с Эрменехильдо ждали ее у ворот, чтобы показать участок, в полной уверенности, что ей не понравится. Подъезжает она на машине Лестницы, пыль по дороге столбом. Не успела выйти из машины, как начала выискивать недостатки: на дороге колдобины, ограды саманные. Пока нам открывали ворота, говорила, что номер 85 принесет несчастье, потому что, если сложить цифры, получится тринадцать.

Но как только зашла на участок, сразу передумала. Ей понравился участок, изгородь, два авокадо во дворе, лимонник, бугенвилия и цена.

— А здесь, — говорит, добравшись до угла двора, — я построю курятник.

Прежде чем принять решение, сестры Баладро проконсультировались с адвокатом Каналесом, одним важным сеньором из правительства штата, какие трудности у них могут возникнуть с лицензией на новое заведение. Он сказал, что никаких. Это были первые дни правления губернатора Кабаньяса, и никому тогда еще не приходило в голову, что он вздумает бороться с проституцией.

Серафина и Арканхела решились на покупку. Они вложили деньги в равных долях, и собственность, после нотариального

оформления, перешла к обеим сестрам. Уместно заметить, что капитан Бедойя взял комиссию с продавцов за то, что покупатели заплатили так дорого, и с покупателей за то, что купили землю так дешево, присвоил пятьсот песо, которые сестры передали ему для нотариуса, и тысячу пятьсот песо, предназначенные для раздачи влиятельным лицам города.

Это произошло в середине февраля, а 28-го сестры наняли архитектора для создания проекта "борделя, какого в этих краях и не видывали". Этот архитектор заехал в Педронес проездом из Тихуана, где, согласно молве, построил несколько домов терпимости. Он никому не сказал, что спасался бегством от недовольного заказчика. Сестры Баладро заплатили ему пятьсот песо.

Проект им очень понравился: пятнадцать комнат с пятнадцатью ваннами, кабаре, изображающее подводный мир, — поднимаешь глаза и видишь на потолке гигантских морских скатов и акул, два потаенных салона, один — в арабском стиле, второй — в китайском, и искусственный крытый водоем неизвестного назначения, поскольку ни одна из работниц и почти никто из клиентов не умел плавать.

Пятьсот песо аванса, выданные архитектору, оказались последней суммой, уплаченной сестрами за проект, потому что ночью после его передачи архитектор заметил слежку и сбежал. Преследователи настигли его в Теуакане, когда он справлял нужду в уборной ресторана, и выпустили в него одиннадцать пуль.

Сестры Баладро построили здание в точном соответствии с проектом, и сами руководили работами при помощи надежного прораба, пользуясь советами одного молодого человека, оформлявшего салон красоты в Педронесе, и под надзором капитана Бедойи — он был, "как член семьи", и, поскольку работы велись недалеко от казармы, мог по-хозяйки проверять их ежедневно.

5

Результат строительства назвали казино "Дансон". Если посмотреть на это здание сейчас (1976 год), то трудно поверить, что оно построено каких-то пятнадцать лет назад. Оно больше напоминает руины забытой цивилизации — молодой декоратор украсил фасад барельефом из штукатурки, и он осыпается до сих пор. Над портиком осталось несколько букв:

ЗИНО Д ОН

Дверь открывает старик. Это сторож, который теперь, после ухода полиции, разрешает за двадцать песо (или меньше) каждому любопытному (или группе любопытных) зайти

в помещение, где разыгрались жестокие события, о которых мы узнаем дальше. Сторож дает пояснения.

Это кабаре. Его освещает только луч фонарика. В центре танцплощадки дыра диаметром три метра, окруженная земляными отвалами. Столы и стулья громоздятся в углу, два разбитых гипсовых морских ската валяются на полу, акула висит на хвосте, качаясь от сквозняка и разевая пасть в двух метрах от пола. Электрический аквариум почти во всю стену не освещен и полуразрушен. Картонные водоросли и медузы в виде гирлянд исчезли, как и шары из голубоватого стекла: "зеленовато-фиолетовый свет струился из голубых шаров, которые напоминали огромные пузыри..." — говорится в одном описании.

На внутренней стороне стены, напротив аквариума, довольно неожиданно торчит балкон с давно обвалившимся ограждением.

В салоне Багдад, одном из потаенных, заметны следы непогоды. Кто-то вытащил из окна раму, а в потолке зияет дыра. В сезон дождей, говорит сторож, стены покрываются мхом, а весной, наоборот, здесь селятся ласточки. В этой развалившейся комнате, на черно-желтом полу, заканчивались "представления", принесшие славу казино "Дансон". Некоторые приезжали из самой Мескалы, только чтобы их увидеть. Позднее, в трудные времена, салон Багдад заперли.

Водоем стоял без воды почти со дня открытия кабаре: вода была слишком холодная, и ни у кого не хватало духу в нее залезть. Семья сторожа хранит здесь всякий хлам.

Комнаты выходят в коридор и напоминают не столько публичный дом, сколько монастырь. В них сохранилась мебель, потому что юридический статус казино до сих пор не ясен. Каждая женщина жила на скудных десяти метрах, с трудом протискиваясь мимо огромной кровати. Кроме кровати в комнатах есть шкаф, умывальник с зеркалом и плетеный стул. Рядом — крошечная ванная с элементарным оборудованием.

Каждая женщина держала в своей комнате какой-нибудь особый пустяк: распятие на двери, кувшин из цветного стекла, глиняную голову индейца, календарь с картиной, изображающей похищение Малинче[1], фотографию подруги, электрический утюг или что-нибудь еще. Закончив показ комнат, сторож ведет посетителя на задний двор, где можно видеть главную достопримечательность — раскопанные ямы. В большинстве случаев визит на этом заканчивается. Однако если чаевые дос-

1. Малинче Тенепатль — индианка, переводчица, осведомитель и наложница Кортеса.

таточно щедрые, сторож показывает в качестве премии комнату Арканхелы и фотографию покойницы на стене: это мать сестер Баладро, лежащая в гробу между четырех свечей.

Закончив осмотр и выйдя на улицу, посетитель должен обернуться, чтобы заметить одно важное обстоятельство: на улице Независимости есть только два двухэтажных дома — казино "Дансон" и соседний дом, принадлежащий сеньоре Ауроре Бенавидес, которая провела шесть лет в тюрьме благодаря этой особенности своего дома.

VI
Две оплошности и одна неприятность

1

Сестры Баладро открыли казино "Дансон" вечером 15 сентября 1961 года. На празднике присутствовали: адвокат, личный секретарь губернатора штата План-де-Абахо Каналес, адвокат, личный секретарь губернатора штата Мескала Санабрия, депутат Медрано, железнодорожный магнат, два аграрных лидера, управляющий банком Мескалы (точнее, филиалом в Сан-Педро-де-лас-Корьентес), несколько коммерсантов и хозяин животноводческой фермы на сто голов крупного рогатого скота. Двое из трех приглашенных руководителей округов прибыли в два часа ночи, едва завершилась в их муниципалитетах церемония "Клич"[1] и другие мероприятия. В этот день сестры Баладро достигли вершины социального успеха, но об этом еще не знали, им казалось, что впереди у них много непокоренных вершин.

В двенадцать ночи (праздник затянулся) стеклянная дверь распахнулась, и на балкон вышли Арканхела и адвокат Каналес; она держала колокольчик, а он — национальный флаг. Арканхела позвонила в колокольчик, призывая к вниманию, и все, стоявшие внизу, зааплодировали. В наступившей тишине адвокат Каналес помахал флагом и крикнул:

— Да здравствует Мексика! Да здравствует независимость, да здравствуют герои, подарившие нам свободу, да здравствуют сестры Баладро, да здравствует казино "Дансон"!

1. Церемония клича — исторически установившаяся традиция воспроизводить события ночи с 15 на 16 сентября 1810 года, когда священник Мигель Идальго призвал своих прихожан бороться за независимость Мексики. Эта дата считается днем начала войны за независимость, завершившейся одиннадцать лет спустя освобождением Мексики от испанской короны.

Стоявшие внизу поддержали адвоката Каналеса приветственными возгласами. Говорят, Арканхела двумя руками подняла вверх колокольчик и снова зазвонила.

(В этом состояла первая оплошность: депутат Медрано и аграрный лидер сочли, что объединять в одной здравице национальных героев и сестер Баладро — невиданное святотатство, донесли позднее губернатору Кабаньясу, и тот немедленно лишил адвоката Каналеса своей дружбы, а заодно и должности, оставив сестер Баладро без поддержки в губернаторском дворце штата План-де-Абахо.)

На праздник по случаю открытия казино сестры впервые в жизни надели вечерние туалеты (Серафина называет свое платье "переливающимся") и встречали гостей в столовой, а когда все собрались, открыли кабаре. Внутреннее убранство произвело на собравшихся неизгладимое впечатление. Когда восхищенные возгласы стихли, появились женщины, красиво одетые и накрашенные. Серафина объявила, что в эту ночь казино работает бесплатно. Ее слова вызвали некоторую неразбериху: гости решили, что бесплатно все, включая женщин, а женщины, наоборот, решили, что раз никто не оплачивает расходы, то они не обязаны ложиться с клиентами в постель.

В свидетельских показаниях говорится, что после импровизированного "клича" Арканхела проводила гостей в салон Багдад, где впервые прошло представление с участием трех девушек. Некоторые господа так возбудились, что приняли бы личное участие в представлении, если бы им не помешала Арканхела. Когда все вернулись в кабаре и начали танцевать, произошла вторая оплошность.

Вот что случилось: адвоката Санабрию, за которым никто прежде не замечал предосудительных наклонностей, охватила какая-то темная страсть, и он потащил танцевать Лестницу (тот как раз зашел в кабаре с поручением). Под испуганными взглядами присутствующих мужчины исполнили дансон[1] "Нереиды" от начала и до конца, но больше никто танцевать не решился. Когда музыка смолкла, Лестница раскланялся и исчез. Санабрия попытался пригласить на танец еще нескольких господ, но они отклонили приглашение. Он понял, что стал посмешищем, и затаил злобу на всех, кто оказался свидетелем его позора, а особенно — на сестер Баладро, подвергших его искушению. Как мы увидим позже, его злая воля сыграет важную роль в нашей истории.

1. Кубинский парный танец с характерным синкопированным ритмом. Создан кубинским музыкантом Мигелем Фаильде в 1879 г. на основе дансы.

2

А теперь — о неприятности:

Как случилось, что губернатор Кабаньяс удумал такое, что никому в штате План-де-Абахо не приходило в голову за все сто сорок лет независимости, а именно: запретить проституцию?

Существует несколько версий, и все они произрастают, как ветки одного куста, из общего корня: Кабаньяс отличался от прежних губернаторов План-де-Абахо тщеславием и непреклонностью. В то время как другие добирались из своих провинций до губернаторского дворца уже полностью выдохшись, губернатор Кабаньяс явился в него бодрехонек, и был готов не останавливаться и достигнуть большего. Его самовлюбленность, подкрепленная размышлениями о том, что в стране сто двадцать лет не правил уроженец План-де-Абахо, вселила в него веру в свою "президентопригодность".

Он установил в штате порядки, как в маленькой республике: налоговую инспекцию переименовал в министерство финансов, совет по благоустройству — в министерство общественных работ и так далее, попробовал доказать, что может управлять первым и мог бы управлять вторым, если бы "сверху" ему предоставили такую возможность.

Не остановившись на названиях, Кабаньяс затеял грандиозные стройки: дворец, шоссе, туннель, которые обошлись штату в круглую сумму и привели к дефициту бюджета. Чтобы устранить проблему, Кабаньяс был вынужден поднять налоги.

Ему хотелось проделать это наименее болезненно для плательщиков, поэтому он организовал Дни предпринимателя. В эти дни губернатор лично приезжал в города, собирал местных предпринимателей в казино и убеждал, что налоги, которые они платят штату, — это сущие гроши и что их необходимо срочно повысить. В ответ на этот призыв предприниматели отвечали, что их штат — настоящий свинарник и не заслуживает даже того, что они платят. Они сетовали на все, начиная с недостаточного диаметра канализационных труб и нехватки воды и заканчивая засильем притонов, "которым власть потрафляет".

В результате Дней предпринимателя Кабаньяс поднял налоги, а, чтобы немного успокоить жалобщиков, из всех недостатков устранил тот, который имел самое дешевое решение: приказал закрыть публичные дома.

Закон "О повышении морального облика населения" штата План-де-Абахо, запрещавший проституцию и сводничество и объявлявший преступниками даже тех, кто подавал в

борделях напитки, был представлен конгрессу штата по инициативе губернатора Кабаньяса, обсужден в течение получаса и второго марта 1962 года принят единогласно под гром аплодисментов.

Новый нежданный закон коснулся тридцати тысяч человек, чьи доходы были связаны, прямо или косвенно, с проституцией, а также муниципальных бюджетов, на тридцать-сорок процентов пополнявшихся за счет налогов от публичных домов, и сотен чиновников, получавших от сводников взятки. Никто из пострадавших не протестовал.

(Известно, что Арканхела пришла в приемную судьи Перальты в сопровождении адвоката Рендона и предложила ему 5 тысяч песо за судебную защиту. Судья описывает свой ответ так: “Я постарался объяснить сеньоре Баладро, что она просит не о судебной защите, а о юридической уловке, которая освободит ее от исполнения закона, принятого конгрессом. Еще я сказал, что, даже если бы она действительно просила о защите, все равно я ни за какие деньги не смог бы ей помочь, потому что сеньор губернатор лично просил нас, судей, не препятствовать применению этого закона, в котором он имел особую заинтересованность”.)

3

Закон “О повышении морального облика населения” вступил в силу в План-де-Абахо с беспрецедентной суровостью. К концу марта все публичные дома закрыли.

Серафина и Арканхела Баладро, следуя своей интуиции, которую можно считать пророческой, вывезли мебель из дома на Молино, но ничего не поменяли в казино “Дансон”, где после того, как судейские власти опечатали двери, все кровати остались на месте. Сестры говорят, что их не покидало ощущение: Господь совершит чудо и позволит им скоро открыть горячо любимый, образцовый публичный дом.

В день закрытия на улице Молино, в Педронесе, разыгрывались драматические сцены. Там стояли шесть грузовиков, заполненных женщинами и мебелью, — только в одном этом квартале было три публичных дома. Женщины грустно прощались, потому что сестры Баладро отправляли одиннадцать из них работать в Гуатапаро, к одному типу, у которого там был бизнес. Тротуары заполнили зеваки — те, кто в жизни не переступал порога борделя и хотел поглядеть, что там внутри. Следившие за порядком полицейские угрюмо смотрели в землю: они теряли дополнительный заработок. Когда адвокат Авалос приехал опечатывать двери, он сказал Серафине:

— Уж вы не обижайтесь, донья Сера, я это делаю только потому, что обязан.

В течение четырех лет Серафина платила ему ежемесячно по пятьсот песо.

Когда двери были опечатаны, а грузовики загружены, какая-то горожанка подошла к Серафине и поблагодарила ее от имени всех соседей за то, что оплатила укладку тротуаров.

4

Женщины, стулья, кровати, умывальники, матрасы, узлы с одеждой добрались на грузовиках до Сан-Педро-де-лас-Корьентес на исходе того печального дня. Хозяйки приехали на машине, мрачные, как тучи.

Первые дни прошли тяжело; нужно было поселить двадцать шесть женщин там, где раньше жили четырнадцать, поэтому пришлось превратить комнаты в клетушки. Прораб запросил за работу целое состояние — так считала Арканхела и несколько недель пребывала в крайне подавленном настроении, уверенная, что их ждет нищета. Она даже начала переговоры с некоей сеньорой Эухенией, у которой был бизнес в Мескале, чтобы отправить туда еще восемь женщин, но сделка не состоялась, потому что начали приходить посетители. Среди них были старые клиенты из План-де-Абахо, пересекавшие штат в поисках привычных развлечений, новые клиенты из План-де-Абахо — те, что прежде не ходили в бордели, но после их закрытия и запрета поддались искушению. Наплыв приезжих, ищущих недозволенных удовольствий, в свою очередь, вызвал интерес у мужчин, живших в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, и они тоже зачастили в кабаре. “Мужчины, как мухи, — говорит Серафина. — Чем больше их слетелось, тем больше их слетается”.

В “Прекрасном Мехико” каждую ночь бывал аншлаг. По субботам женщины просто не справлялись. Серафина решила купить новый музыкальный автомат и сама за него заплатила. Капитан Бедойя, видя, что сестры так процветают в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, начал переговоры о своем переводе в другой полк, стоявший от них поблизости, ведь больше всего его злило, что приходится дважды в день ездить на автобусах “Красная стрела”, и он был уверен, что рано или поздно кончит свои дни в аварии на склоне Перро. Арканхела не переставала повторять, что еще никогда дела у них не шли так хорошо, и то, что Бог отнял у них одной рукой, вернул им другой. Наступил декабрь, и случилась беда с Бето.

VII
Одна жизнь

1

Человек спускается по склону, плечи подняты, руки словно одеревенели, сжаты в кулаки, голова свешивается на грудь, ноги, то негнущиеся, то ватные, теряют опору, промахиваются мимо ступенек, и он спотыкается. (Как выяснилось позже, прохожие приняли его за пьяного.)

Девять вечера. Спуск Сантуарио — это улица, мощенная булыжником, с лестницами на самых крутых участках, по обе ее стороны тянутся двухэтажные дома с разноцветными оградами и запертыми воротами. Фонари через каждые сто метров. Центр города у подножия холма ярко освещен. В небе то и дело вспыхивают фейерверки — их запускают с площади Консепсьон. Стреляют ракетницы, играют оркестры, музыкальные автоматы, уличные музыканты, слышатся голоса, веселые крики и подвывания собак. Сегодня восьмое декабря[1].

Человек ничего не замечает, он смотрит в землю мутными глазами, собрав все силы, чтобы добраться до цели. Встречные собаки сначала облаивают его, а потом подбегают понюхать капающую кровь. За ним, в пятидесяти метрах выше по склону, идут агенты уголовного розыска, останавливаются, когда он приваливается к дереву, чтобы перевести дух, и снова идут, когда он снова упрямо пускается в путь.

У подножия холма испытание становится еще мучительнее. На углу он замирает, не поднимая глаз от земли, словно высматривая знакомые булыжники в мостовой, поворачивает направо и еще медленнее, чем прежде, идет по улице Альенде. Люди смотрят, как он проходит мимо, качается, налетает на стену и оставляет на ней темное пятно, ставшее понятным только на следующий день.

— Это кровавый след покойника, — скажут женщины, указывая на черный подтек.

Человек спотыкается на каждом шагу, теряет направление, зигзагами пересекает дорогу и налетает на уличную жаровню, стоящую в дверях одного из домов. Стол, жаровня, угли, сковорода и лепешки с грохотом разлетаются по мостовой во все стороны. Человек идет дальше, двигаясь все неестественнее и быстрее. Народ уступает ему дорогу. Хозяйка жаровни бежит

1. 8 декабря — праздник древней богини майя Ишчель. По сей день ежегодно отмечается в Южной Мексике.

за ним, догоняет, начинает отчитывать, но его бледность заставляет ее замолчать, и, растерявшись, она возвращается, чтобы собрать лепешки.

"Прекрасный Мехико" — гласит неоновая вывеска. Сверхъестественным усилием человек поднимается по ступенькам, толкает качающиеся створки двери, входит в заполненное табачным дымом кабаре, распихивает двух посетителей, упирается руками в столик — сидящие смотрят на него и не узнают, — опрокидывает чей-то стакан и падает на пол.

Одна из женщин поднимает крик, разговоры смолкают. Собирается толпа. Музыкальный автомат начинает играть мамбу. Кто-то догадывается его выключить. Тишина. Серафина встает из-за кассы, переходит танцплощадку, проталкивается сквозь толпу к тому месту, куда направлены все взгляды. И понимает, что мертвец, лежащий на полу, — ее племянник.

2

О жизни Умберто Паредеса Баладро, сына Арканхелы, известно так же мало, как о его смерти.

Он родился в 1939 году в публичном доме на улице Молино. Его матерью была Арканхела, а об отце неизвестно ничего, кроме фамилии — Паредес. (Когда Арканхелу спрашивают об этом субъекте, она прикидывается глухой.)

Серафина говорит, что за несколько месяцев до рождения племянника встретила сестру на рынке и заметила, что она беременна, но не решилась высказываться на эту тему, потому что, по ее мнению, проявила бы "неуважение". О рождении племянника она узнала из приглашения на крестины. Серафина абсолютно уверена, что ни тогда, ни позже мать ребенка не упоминала его отца.

Мальчик вырос в публичном доме, но Арканхела решила сделать из него человека с будущим. По словам Калаверы, она запрещала ему выходить со двора, подниматься по лестницам, наведываться в комнаты и заглядывать на задний двор. Работницам она запретила объяснять ребенку, зачем приходят в дом мужчины. Оба запрета исполнялись так неукоснительно, что Умберто Паредес пошел в школу имени Хосефы Ортис де Домингес, совершенно ни о чем не догадываясь. В первый же школьный день его просветили одноклассники, которые все о нем знали. Когда мальчик вернулся домой, он спросил у Калаверы:

— А ты — проститутка?

Калавера ответила "да", тогда мальчик спросил, проститутка ли его мать, Калавера ответила, что его мать не проститутка, а содержательница публичного дома.

На третий день школьных занятий директриса услышала во дворе скандирующие выкрики и пошла посмотреть, что происходит. Она увидела тридцать детей, скачущих, как "краснокожие индейцы", по кругу и орущих:

— Бандершин баладренок!

В центре стоял ученик Паредес Баладро и плакал.

Умберто отправили домой в сопровождении посыльного с конвертом, в котором лежали тридцать песо, уплаченные Арканхелой за поступление мальчика в школу, и записка — в ней директриса просила перевести его в другое учебное заведение.

Прочитав записку, Арканхела поняла, что пришло время расстаться с сыном. Чтобы с этого дня изолировать его от порока, она отправляла мальчика учиться в такие города, где никто не знал фамилии его матери и не подозревал, чем она занимается.

В этот период Арканхела каждую неделю писала сыну длинные письма зелеными чернилами на линованной бумаге, в которых давала советы: втирать сало за уши, чтобы уберечься от простуды, спать ногами к югу, чтобы избежать сглаза, и так далее в том же духе — немногие из них случайно сохранились в бумагах сына. Умберто отвечал короткими записками с просьбами прислать денег, оставляемыми без внимания (неизвестно почему, Арканхела решила, что деньги — самый опасный растлитель детей), но сами записки Арканхела и по сей день хранит в лаковой шкатулке из Олинала́.

Мальчик менял интернаты несколько раз. Первый раз — когда в Муэрдаго заведующий Игнасио Альенде обнаружил две дырки в стене ванной, которой пользовалась его супруга. Как рассказали некоторые воспитанники в ходе проведенного дознания, дырки в стене, выходившей в безлюдный коридор, проделал двенадцатилетний учащийся Паредес Баладро и стал взымать с товарищей по пятьдесят сентаво за то, чтобы увидеть жену заведующего в ванне, и по двадцать сентаво — за то, чтобы увидеть ее на унитазе.

Год спустя в школе имени Хуана Эскутия в Куэвано несколько учеников пожаловались в дирекцию, что учащийся Паредес Баладро их обирает. Он требовал с каждого по одному песо в неделю, а тех, кто не платил, отдавал на избиение Гутьерресу Карраско по кличке Горилла.

Известно, что сын Арканхелы поступил в медицинский институт в Куэвано, но не закончил даже первый курс. Его учеба резко оборвалась в тот день, когда он пырнул ножом своего сокурсника (причина осталась неизвестной). Это случилось в аудитории, приехала полиция, начались разбирательства. Арканхеле пришлось вмешаться. Она оплатила лечение раненого и

передала внушительную сумму его родным, чтобы те отказались от обвинений (ей повезло, что пришлось иметь дело с людьми бедными и рассудительными), подкупила свидетелей, судью и не успокоилась до тех пор, пока не увидела своего сына на свободе. Адвокат Рендон убедил ее, что будет лучше, если Умберто поживет в Соединенных Штатах, пока не уляжется скандал.

Умберто Паредес провел в Лос-Анжелесе год. Его мать надеялась, что за это время он выучит английский язык и сможет заняться коммерцией. Она ошиблась, как минимум, наполовину. Умберто вернулся в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, не зная ни слова по-английски, но привез с собой семена мака — они-то и стали источником его дохода на всю оставшуюся короткую жизнь.

Умберто продолжал жить в “Прекрасном Мехико”, но, похоже, по указанию своих работодателей, снял дом на улице Лос-Бридонес, где для вида торговал семенами, а на деле хранил наркотики и заключал сделки. Примечательно, что после смерти Умберто полиция не нашла в этом доме ничего подозрительного и не смогла выйти на сообщников убитого.

3

На всех трех сохранившихся фотографиях Умберто Паредеса мы видим одно и то же широкое плоское лицо с тяжелой, унаследованной от матери, челюстью и гладкими, как у индейца, волосами, лицо, похожее на лик самодержца, — что-то вроде Бенито Хуареса преступного мира. На первой фотографии он за рулем “бьюика”-кабриолета (кроваво-красного, как говорят те, кто его видел). Умберто купил машину, ставшую единственной роскошью в его жизни, на деньги от продажи первой партии товара. На заднем плане видна акация. На второй фотографии он стоит в профиль, на нем полосатый свитер. Правой рукой он целится из пистолета, того самого, который нашли у него в кармане в день убийства. Хотя Арканхела утверждает, что никогда не видела в руках сына огнестрельного оружия, забор на заднем плане явно принадлежит “Прекрасному Мехико”. На третьем снимке мы видим Умберто в плавках, с мокрыми волосами. Он улыбается в объектив и обнимает за талию городскую красавицу с красивыми локонами в эффектном купальнике.

4

Она говорит, что и раньше видела его в этой красной машине, и он ей не нравился, потому что явно хотел “обратить на себя внимание”: носил красную рубашку, зеленые солнечные очки,

ездил без глушителя, постоянно сигналил за рулем. Однажды, когда она переходила улицу, он выскочил откуда-то на этой своей машине, резко развернулся и чуть ее не сбил. Увидев, что она испугалась, он остановился, но вместо того, чтобы извиниться, открыл дверцу и предложил ей сесть в машину. Она, чувствуя себя оскорбленной, пошла дальше. Он медленно поехал за ней, но не говорил ничего такого, что обычно мужчины говорят женщинам в подобных случаях. Это ее удивило. Он ехал за ней до самой улицы Сантуарио, по которой можно подняться только пешком. Когда он увидел, что она свернула на нее, то бросил машину и преследовал ее на некотором расстоянии, не пытаясь догнать: "он не говорил сальностей и не приближался, не давал волю рукам". Она вошла в дом, заперла дверь, поднялась в свою комнату и выглянула в окно как раз вовремя, чтобы увидеть, как он, помешкав минуту перед домом, пошел вниз по склону. Она рассказала об этом нескольким подругам, и те поделились с ней всеми известными сведениями: сын бандерши Баладро, однажды пырнул человека ножом, сидел в тюрьме, бежал из страны на время скандала, торгует наркотиками — и добавили от себя такого, чего и не было.

Агент Деметрио Гийомар прибыл в Педронес с четкими инструкциями. Его миссия состояла в том, чтобы найти посредника между крестьянами, выращивающими мак, и теми, кто его перерабатывает, собрать улики и начать расследование. Поскольку были подозрения, что местные власти покрывают посредника, Гийомар получил приказ не вступать с ними в контакт и никому не рассказывать о цели своего визита. Он поселился в отеле "Франсес" под видом страхового агента и провел в городе несколько недель совершенно безрезультатно. Но однажды ему удалось кое-что выяснить. Никто не знает, что именно и каким образом. Возможно, отправившись по следам Бедойи, который обнаружил и сжег плантацию мака, он каким-то образом вышел на Умберто Паредеса, чье имя впервые появляется в полицейских архивах 15 ноября, в донесении Гийомара.

Свидетельница говорит, что ее мучили сомнения. Она не знала, верить ли людям, которые говорили, что Умберто плохой человек, или своему сердцу — а оно говорило, что такой сердечный человек не может быть плохим. Свидетельница до сих пор хранит фаянсовый кувшин с надписью "Истинная любовь", подарок Умберто. Она по-прежнему не соглашалась сесть в красную машину, даже когда он приглашал ее в Муэрдаго поесть мороженого, прежде всего потому, что люди могли увидеть ее в открытом автомобиле, но, кроме того, по ее мне-

нию, девушка, севшая в машину к молодому человеку, сразу теряла невинность, а она хотела сохранить ее до замужества. Эти ограничения оставили им единственный вариант: прогуливаться и разговаривать у реки, где росли деревья и было мало прохожих. Во время этих прогулок Умберто рассказывал ей о своей жизни совсем другие истории, непохожие на те, которые она слышала от людей, и Кончита не знала, правду он говорит или лжет. Она, в свою очередь, говорила о будущем, о своих семейных планах, о детях, которых заведет, о том, как их назовет и чему будет учить. Эти разговоры растравляли его, но она этого не понимала до того дня, когда он крепко взял ее за руку, привел на откос, повалил на землю и сорвал с нее трусы. Но тут он словно смутился, и Кончита смогла убежать. Он ее не преследовал. На следующий день Умберто дождался ее на дороге, по которой она обычно ходила (Кончита преподает в школе у монахинь), и извинился. Она сказала, что не хочет больше его видеть.

Агент Гийомар несколько раз ездил в Сан-Педро-де-лас-Корьентес и говорил с Умберто Паредесом. Возможно, он даже побывал в доме на улице Лос-Бридонес. О чем они говорили, неизвестно. Возможно, агент прикидывался, что хочет продать урожай или купить наркотики. А может, не прикидывался и прямо сказал, кто он такой. Существует большая вероятность, что десять тысяч песо, которые Умберто снял с банковского счета первого декабря, перекочевали в карман агента Гийомара. Похоже, что в последующие несколько дней Умберто еще мог скрыться, но не воспользовался этой последней возможностью.

Свидетельница говорит, что, устав от его уговоров, согласилась поехать на пляж Эль-Фаральон, но с самого начала поставила условие: ехать не на машине, а на автобусе, однако, увидев, что автобусы набиты битком, передумала, и они поехали на машине; Умберто вел себя безукоризненно и не пытался ее обидеть. Профессиональный фотограф сделал снимок, который хранится до сих пор. День прошел отлично. Они вернулись в Сан-Педро-де-лас-Корьентес, но, когда он открыл дверцу, помогая ей выйти из машины, мимо шли двое ее братьев. Кончита говорит, что сначала испугалась скандала (братья запрещали ей встречаться с мужчинами), но они прошли по тротуару, даже не обернувшись, как будто ничего не заметили. Так ей показалось, но, когда она вернулась домой, они уже ее поджидали, кипя от злости. Они устроили ей

суровый разнос и запретили видеться с “Бандершиным сынком”.

— Если этот тип подойдет к тебе еще хоть раз, он умрет, — сказал один из них.

Позднее Кончита видела, что братья достали из ящика пистолеты и принялись их чистить.

Седьмого декабря в Педронес прибыл агент Пачеко, он встретился с агентом Гийомаром и передал ему приказ задержать подозреваемого.

Свидетельница говорит, что восьмого числа — в день ее ангела — в ворота постучал незнакомый мужчина (судя по описанию, это было Тичо); он принес празднично упакованный сверток, подарок Умберто Паредеса. Кончита не приняла подарок. Она решила больше не видеться с Умберто, поскольку ей запретили братья.

Агенты Гийомар и Пачеко собирались арестовать Умберто Паредеса в семь часов вечера, когда тот выходил из таверны “Галеон” в компании нескольких музыкантов, но не сделали этого из опасения, что музыканты — дружки подозреваемого и окажут сопротивление. Они решили ждать и пошли вслед за компанией по улице Сантуарио, держась на некотором расстоянии.

Свидетельница говорит, что, услышав в исполнении музыкантов песню “Неблагодарная”, очень расстроилась. Она знала, что песня предназначается ей и что посвящает ей эту песню Умберто. Ей хотелось сказать ему, чтобы уходил, что братья дома и вооружены, но к ней пришли гости, их нельзя было оставить, и она не смогла выйти на улицу. Музыканты сыграли несколько песен, среди прочих “Коварство”, а гости ехидно спрашивали:

— Кому поют эту серенаду? Не знаешь, Кончита?

Свидетельница говорит, что видела, как братья вышли из комнаты и спустились во двор. Вскоре, после того как музыканты допели последнюю песню, она высунулась в окно и увидела, что они уходят без Умберто, услышала стук в ворота и, не в силах больше терпеть, пошла взглянуть, что происходит. Когда она спускалась по лестнице, раздались выстрелы. (Судя по всему, братья Самора залегли за цветочными кадками, распахнули ворота при помощи веревки и открыли огонь по человеку, который за ними стоял — это был Умберто.)

Агенты Гийомар и Пачеко издали следили за тем, кого собирались арестовать, пока он спускался по склону и шел по ули-

це Альенде. Увидев, что Умберто скрылся за дверью “Прекрасного Мехико”, они обратились к дежурившему на углу полицейскому Сеговьяно.

VIII
Сквернaя ночь

1

Одна из женщин выходит из кабаре, чтобы сообщить матери. С этого момента сцена похожа на кадр из фильма. Все зачарованно смотрят на труп. Не двигается никто, кроме тех, кому невтерпеж подобраться поближе. Молчание.

Вдруг раздается свисток. Это полицейский Сеговьяно еще от угла сообщает о своем приближении. Ступор прошел. Созерцание смерти, завороженное и почтительное, сменяется паникой. Свисток напоминает клиентам о полиции и заставляет бежать к выходу — никто не хочет попасть в список свидетелей происшествия в притоне, — толкать друг друга, срывать двери с петель, ломать жалюзи, протискиваться на улицу и разлетаться в разные стороны (некоторые, самые предусмотрительные, не оборачивались до самой Пласа-де-Армас). Когда суматоха стихает, и полицейский Сеговьяно входит в заведение, перед ним только труп, девушки и официанты. Он снова дует в свисток и отдает приказы:

— Не двигаться. Закрыть двери.

Дальнейшая процедура и печальна, и скучна: пока ждут прибытия судебного врача и следователя из полиции, мать убитого — она что-то записывала у себя в комнате — спускается узнать, что происходит. Ей сказали, что случилось несчастье, но побоялись сказать какое. Увидев, что ее сын лежит на полу мертвый, она начинает издавать странные крики, отрывистые, гортанные, которых никто от нее не слышал ни прежде, ни потом. Она не бросается к мертвому, не хватает его в объятья, не глядит на него полными слез глазами, как можно было ожидать. Она пятится, садится на краешек стула, кладет руки на колени, закрывает глаза и кричит.

Следователь составляет протокол:

— Где вы находились, когда раздались выстрелы?

— Я не слышала выстрелов.

— Как, в таком случае, вы узнали, что происходит что-то необычное?

— Я увидела на полу убитого.

И так далее.

Врач появляется с большим опозданием, в шляпе и шарфе (он простужен), ставит чемоданчик на пол и пытается нащупать у покойного пульс. Потом идет к телефону, вызывает санитарную машину, кладет трубку, поднимает чемоданчик и уходит.

Женщины зажигают свечи и ставят вокруг Умберто. Накрывают лицо — он лежит на спине — синим шейным платком. Приходят санитары с носилками, перекладывают на них труп, опрокинув две свечи, и уносят. Несмотря на то, что скоро полночь, на улице толпится народ. Следователь продолжает допрос:

— А вы что заметили?

2

Ночное бдение прошло без Умберто Паредеса. Пока покойник лежал на металлическом больничном столе в ожидании вскрытия, плакальщицы в черном собрались в столовой, отодвинули в угол стол, зажгли свечи, встали на колени и стали читать заупокойные молитвы под руководством Калаверы — в юности она отличалась особой набожностью. Арканхелы на бдении не было. Ночь она провела спокойно, одна в своей комнате, в темноте, в полузабытьи, благодаря отвару из листьев салата, которым ее напоила Калавера. Серафина сообщила о случившемся капитану Бедойе, он приехал в Сан-Педро-де-лас-Корьентес на последнем автобусе "Красная Стрела", вошел в столовую в середине "Отче наш", снял фуражку, опустился на колено и перекрестился, что делал редко, будучи атеистом. Но тут же заметил, что покойного в комнате нет, и сел на стул.

На следующий день в десять утра Серафина пришла в мэрию в сопровождении капитана Бедойи и адвоката Рендона, чтобы получить разрешение забрать тело племянника из больницы. Мэр, с которым она была в дружбе, рассказал ей, что пришел приказ закрыть "Прекрасный Мехико". Серафина сперва встревожилась, но потом, посовещавшись с капитаном и адвокатом, пришла к выводу, что такого случиться не может, что это нарушение конституции штата.

В четыре часа пополудни, когда служащие похоронного бюро выносили из дверей гроб, явился секретарь суда с повесткой, в которой сообщалось, что лицензия Арканхелы на "Прекрасный Мехико" отозвана *на неопределенный срок*, поскольку заведение не соответствует санитарным нормам штата Мескала: ширина окна в мужском туалете составляет восемьдесят сантиметров вместо положенных по закону двадцати. Хозяйке дали сутки на то, чтобы освободить помещение.

Когда Арканхела расписалась под документом и тем самым подтвердила, что ознакомилась с его содержанием, она почти ничего не соображала от горя. Серафина позвонила адвокату Рендону и рассказала о случившемся, он обещал обратиться в суд за защитой. По дороге на кладбище катафалк сломался. Отец Грахалес, кладбищенский капеллан, отказался читать положенную в таких случаях молитву, поскольку, по его мнению, покойный жил в грехе и умер, не проявив ни малейших признаков раскаяния. Когда могильщики бросили на гроб первую лопату земли, Арканхела упала в обморок.

3

Вернувшись с кладбища в шесть часов вечера, участники похорон увидели адвоката Рендона, который рассказал, что ни один из судей города не дал согласия на судебную защиту. В "Прекрасном Мехико" они обнаружили, что судья Торрес превратил казино в импровизированный кабинет. С ним пришли нотариус и два писца. Судья изолировал сестер Баладро от работниц, а работницам велел зайти в зал, сесть на стулья, специально составленные для этой цели в углу, и по очереди подходить в другой конец зала, где расположился сам с нотариусом и двумя секретарями. Судья задавал вопросы тихо и просил женщин отвечать так же тихо, чтобы не оказывать влияния на остальных и не давать им возможности подготовить ответы. После допроса женщины выходили из зала.

Судья спросил каждую, сколько лет она занимается проституцией, сколько лет она у сестер Баладро, не было ли случаев, когда с ней плохо обращались, работает ли она добровольно или по принуждению.

Двадцать шесть опрошенных ответили, что с ними обращаются хорошо и проституцией они занимаются по доброй воле. На допросе были созданы все условия, чтобы женщины говорили правду. Интересно, что через четырнадцать месяцев некоторые из допрошенных дали совершенно противоположные показания.

Оригинал протокола находится в архиве суда Сан-Педро-де-лас-Корьентес.

(В документах, относящихся к смерти Умберто Паредеса Баладро, можно заметить три нарушения: из протокола следует, что убитый погиб в перестрелке, случившейся в казино "Прекрасный Мехико", хотя никто из допрошенных не сказал, что слышал выстрелы; братьям Самора обвинений не предъявили; агенты Гийомар и Пачеко подтвердили, что шли по склону за человеком, которого должны были аресто-

вать, но ни словом не обмолвились о том, что преследовали умирающего. Власти не нашли ни в "Прекрасном Мехико", ни в доме на улице Лос-Бридонес никаких улик, подтверждающих, что Умберто Паредес Баладро торговал наркотиками.)

4

Поздно вечером в столовой Серафина обсуждала с капитаном Бедойей, что они будут делать завтра, когда придется освободить дом. Похоже, Арканхела не принимала участия в этой беседе.

Капитан Бедойя утверждает, что посоветовал Серафине уволить работниц и заняться чем-нибудь другим, поскольку все заведения, принадлежавшие сестрам, закрыли.

Он говорит, что Серафина не воспользовалась его советом по двум причинам. Во-первых, в доме присутствовал судья, который обязал бы ее заплатить жалованье каждой уволенной. Во-вторых, адвокат Рендон утверждал, что "Прекрасный Мехико" закрыли незаконно и это решение нельзя считать окончательным. Он собирался обратиться в суд за отменой решения и обещал Серафине, что через два, максимум три, месяца сестры смогут снова открыть свой бизнес.

Отказавшись от идеи уволить женщин, Серафина и капитан Бедойя стали думать, где их можно разместить, пока "Прекрасный Мехико" не откроется снова. Было несколько вариантов, начиная с идеи пожить в гостинице вместе с двадцатью шестью женщинами — он был отвергнут из-за дороговизны — и заканчивая предложением временно распределить их по нескольким публичным домам в округе, но эту идею Серафина отвергла из опасения, что содержатели не вернут товар. Принятое решение было противозаконным, зато самым простым: переехать из одного закрытого публичного дома в другой закрытый публичный дом. Они решили перевезти женщин в казино "Дансон", где были все удобства, пятнадцать комнат, и где можно было совершенно незаметно провести два-три месяца. И печати на дверях ломать необязательно, потому что в дом легко попасть, перепрыгнув с крыши соседнего дома, принадлежавшего сеньоре Ауроре Бенавидес, женщине с добрым сердцем, которая им не откажет.

5

Аурора Баутиста говорит, что в тот же вечер Серафина собрала всех в коридоре и сказала:

— Сегодня ночью мы уезжаем. Поедете, в чем есть, остальное оставьте в комнатах, потому что через два месяца мы вернемся.

Сколько они ни спрашивали, куда их везут, она ни за что не хотела отвечать.

Капитан Бедойя говорит, что это Лестница придумал посадить капитана в военной фуражке у окна машины, чтобы три лычки на погонах произвели впечатление на полицейских, если им покажется странным предрассветный кортеж из пяти автомобилей, набитых женщинами, и они его остановят.

Аурора Баутиста говорит, что сидела рядом с Лестницей в машине, припаркованной у "Прекрасного Мехико", когда из казино вышел капитан, открыл дверцу и сел прямо на нее.

Капитан Бедойя говорит, что путешествие было неудобным, но спокойным. Но когда они приехали в Консепсьон-де-Руис и добрались до улицы Независимости, им пришлось около часа колотить в дверь дома восемьдесят три, пока, наконец, не проснулась сеньора Бенавидес и не открыла им дверь.

Аурора Баутиста говорит, что видела, как Серафина достала из сумочки деньги и отдала их капитану Бедойе, капитан разделил их между шоферами и сказал:

— Забудьте все, что видели сегодня ночью, а если вспомните, то заодно вспоминайте и это, — и дотронулся до кабуры у себя на ремне.

Капитан Бедойя говорит, что пережил самый страшный момент в своей жизни, когда ему пришлось прыгать с крыши на крышу за руку с Арканхелой — прыгать одна она отказалась. Они едва не сорвались вниз.

Аурора Баутиста говорит, что в казино "Дансон" не было ни электричества, ни свечей, ни еды. Они легли спать в темноте, по двое в комнате. На следующее утро Тичо перепрыгнул на соседнюю крышу и пошел на рынок. Завтракали в два часа дня.

6

В тот день, десятого декабря 1962 года, сеньора Аурора Бенавидес и сеньора Серафина Баладро заключили устный договор, согласно которому первая разрешала Эустикио Натера (Тичо) проделать дыру в стене, отделявшей прихожую сеньоры Бенавидес от столовой сестер Баладро, чтобы жильцы дома восемь-

десят пять по улице Независимости могли входить и выходить через дверь дома восемьдесят три, а не прыгать с крыши на крышу. За это одолжение сеньора Баладро обязалась платить сеньоре Бенавидес двести песо по первым числам месяца.

В этот же день был заключен второй договор, согласно которому сеньора Бенавидес разрешала тому же Эустикио Натера подключить к своей электропроводке электропроводку соседнего дома. Двадцать песо в месяц.

Оба договора соблюдались сторонами в течение тринадцати месяцев, вплоть до того дня, когда капитан Теодуло Куэто нашел зарытые на заднем дворе трупы.

IX
Т*айное существование*

1

В Консепсьон-де-Руис все важные здания расположены на Плаза-де-Армас: муниципалитет, суд, полицейская инспекция и гостиница “Гомес”. На площади растут тридцать восемь лавров, многие считают их главным украшением города — местные храмы, по всеобщему признанию, ничего собой не представляют. Пять раз в год садовник подстригает лавры, придавая им форму идеального цилиндра на манер деревьев, растущих в Саду Конституции в Куэвано, столице штата.

Городок совсем маленький — сорок два квартала. Если идти от центра, то ни в каком направлении не пройдешь больше четырех кварталов, не оказавшись на городских свалках. Согласно телефонному справочнику, в Консепсьон-де-Руис двадцать восемь человек выписывают газеты и журналы, из них одиннадцать по фамилии Гомес.

Если встать на любой улице, идущей на восток или юг, то впереди будут саманные стены, немощеная дорога, а на горизонте — поля, засеянные люцерной. Если же, наоборот, посмотреть на запад или на север, то на фоне плоских крыш можно видеть отчетливо прорисованный, голубоватый силуэт гор Гуэмес. Прохожий легко заметит, что все двери в домах — одинаковые, деревянные, но оконные решетки — все разные, металлические. Их выковал местный кузнец и очень гордится тем, что ни разу не повторился в узоре.

Кроме окон и лавров, городок ничем не знаменит, даже фрукты в глазури здесь не делают, а привозят из Мурангато.

В городе четыре двухэтажных дома: мэрия, гостиница “Гомес”, казино “Дансон” и дом сеньоры Бенавидес. Два первых

строили одновременно и открыли в 1910 году, во время празднования столетия с начала борьбы за независимость. Прошло полвека, и никому из жителей Консепсьон-де-Руис не понадобился второй этаж, пока не появились сестры Баладро и не построили казино "Дансон". Когда работы шли полным ходом, сеньора Бенавидес решила добавить к своему дому этаж, и не потому, что нуждалась в дополнительных помещениях (она вдова и живет одна), а просто не смогла стерпеть, чтобы у кого-то в том же квартале дом был выше, чем у нее.

Улица Независимости — вторая от реки. На ближайшем к казино "Дансон" углу есть кукурузная мельница и мясной магазин. А чуть ближе, через дорогу — галантерейная лавка. Хозяева этих заведений знали, что женщины вернулись и живут в опечатанном здании. Никто из них не сообщил об этом в полицию.

2

Признаки жизни, замеченные соседями в казино "Дансон", между 10 декабря 1962 года и серединой января 1964 года:

Жительница соседнего дома говорит, что часто слышала на заднем дворе голоса и звуки стирки, а один раз несколько женщин пели "Палома Куррукуку".

Один паренек говорит, что как-то вечером решил перелезть через ограду, полагая, что дом пустует, и собрать авокадо. Но когда залез наверх, то увидел двух женщин. Они шли, пригнув головы, в противоположную от ограды сторону.

Сотрудник энергетической компании "Свет и Сила" говорит, что каждый раз, когда темной ночью проходил по улице Независимости, с удивлением видел свет в окнах столовой (единственных, выходивших на улицу), потому что собственноручно отключил этот дом от сети в тот день, когда власти его опечатали.

Хозяин мельницы, которая расположена на углу, вспоминает, что женщина по имени Калавера приходила к нему каждый день и заказывала намолоть шесть, а то и семь, килограммов кукурузы.

Соседка из дома напротив рассказывает, что иногда по утрам, подметая перед входом, видела, как из дома сеньоры Бенавидес выходят три женщины с корзинками и идут в сторону рынка. Ни одна из них не была сеньорой Бенавидес, уж ее-то она знала отлично.

Та же свидетельница сообщает, что ее очень удивляли частые визиты к сеньоре Бенавидес какого-то военного, поскольку сеньора отличалась скромностью и состояла в Обществе неусыпного бдения.

Педро Талавера, коммерсант, говорит, что однажды встретил в амбаре у братьев Барахас одного типа по имени Тичо, который в свое время работал вышибалой в казино “Дансон”. Он его спросил: “Чем теперь занимаешься, кум?” Тот ответил: “Развожу кур”, после чего взвалил на спину мешок килограммов на восемьдесят и ушел. Прежде чем он скрылся за дверью, из мешка просыпалось немного фасоли — еда, для кур неподходящая.

Один командировочный встретил на автостанции трех женщин, с которыми познакомился в “Прекрасном Мехико” и поэтому знал, что они проститутки. Он спросил, где они теперь работают, собираясь к ним наведаться, но они ответили, что оставили прежнее занятие и работают на фабрике, но не смогли сказать, на какой, и это его удивило.

(Далее следуют и другие свидетельские показания, из которых можно сделать вывод, что до сентября работницы сестер Баладро выходили на улицу редко, группами по двое или трое. Никто из свидетелей не упоминает, что слышал звуки музыкального автомата, и нет никаких данных, что хоть один мужчина посетил за это время казино “Дансон” как клиент.)

3

Говорит Калавера:

Первые дни после приезда в Консепсьон-де-Руис сеньора Арканхела не поднимала головы. Лежала дни и ночи, глядя в потолок, почти в темноте. И спать — не спала, и просыпаться — не просыпалась. Ни с кем не разговаривала, ничего не ела. Только мои отвары пила. Всем занималась сеньора Серафина. Она мне давала деньги, я ходила на рынок и перед ней отчитывалась.

Так прошли недели две. Как-то утром спускаюсь в кухню разжечь огонь и слышу шум. Сеньора Арканхела меня опередила. Обжаривала перец на жаровне. Посмотрела на меня и говорит:

— Я проголодалась.

Все пошло по-другому. Она спросила, сколько мы тратим. Захотела посмотреть счета.

— Швыряете деньги на ветер, — вот что она сказала.

Она любила экономить. Однажды разозлилась, что я покупаю нопаль.

— Вон его сколько даром растет на склонах, зачем ты его покупаешь на рынке, деньги тратишь? Возьми с собой трех женщин, им все равно делать нечего, пусть режут нопаль, пока бадьи не наполнятся, а потом несут сюда.

Она злилась, что они не работают.

— Погляди-ка на них, — говорит мне как-то раз, когда увидела, что несколько девушек моются, — просто птенчики, как только что вылупились! Только и знают, что клюв разевать, чтоб их кормили!

Каждый вечер она записывала в свою книжечку, сколько съела каждая девушка.

(Книжечка Арканхелы — это блокнот в твердом переплете, такой можно купить в любом канцелярском магазине. Записи датируются в промежутке между июнем 1962 года и сентябрем 1963-го. Арканхела писала без изысков, но разборчиво, зелеными чернилами. На первых страницах еженедельные расчеты с работницами: в первой колонке имена, в двух следующих — "заработано" (комиссионные за спиртное в баре и обслуживание в комнатах), в следующих четырех — "долг": вычеты за жилье, еду, одежду и выданные наличные. В последних двух колонках подводится итог. На отрицательную сумму она начисляла пени по три процента в месяц. Пока женщины жили в закрытом казино "Дансон" без всякого дохода, у них накопились гигантские долги, которые в сумме составили больше полумиллиона песо. Арканхела скрупулезно считала, сколько ей должны работницы, до середины сентября, когда потеряла надежду вернуть свои деньги.) В феврале — продолжает Калавера — сеньора Арканхела сказала, что не может содержать такую ораву, и решила передать одиннадцать девушек дону Сиренио Пантохе, у которого был бизнес в Халосте, — он уже давно предлагал купить у сеньоры лишних девушек. Сказать по правде, сеньора продала дону Сиренио самых никудышних, самых взбалмошных и некрасивых. Когда они уехали, нам стало спокойнее. Говорят, сеньор Сиренио заплатил сеньоре одиннадцать тысяч песо.

4

Адвокат Рендон предпринял следующие юридические действия от лица сеньор Баладро: последовательно подал три иска против чиновников, считая, что решение закрыть "Прекрасный Мехико" было не конституциональным, незаконным и безосновательным. Все три иска были отклонены, поскольку судья, который их рассматривал, счел их также безосновательными. Тогда адвокат Рендон обратился в суд с просьбой объявить штраф, который должны заплатить его подзащитные, чтобы снова открыть "Прекрасный Мехико". Суд так затянул с решением о размере штрафа, что вся история кончилась прежде, чем оно стало известно. Видя, что время идет, а результата нет, адвокат Рендон подал прошение на новую лицензию, чтобы сестры Баладро могли открыть другое заведение вме-

сто “Прекрасного Мехико”. Ему отказали на том основании, что заявительницы обязаны сперва оплатить штраф за “Прекрасный Мехико”. То есть они не могли получить новую лицензию, потому что не заплатили штраф, и не могли заплатить штраф, потому что его размер был неизвестен. Принять залог или депозит судья отказался. В конце концов, адвокат Рендон написал почтительное прошение на имя губернатора Мескалы, подписанное сестрами Баладро, с просьбой выдать лицензию на открытие ночного клуба “в том городе штата, который Вы изволите сами указать”. Эта бумага неспешно бродила из одного учреждения в другое, пока не вернулась через несколько месяцев к адвокату Рендону с резолюцией, написанной от руки: “отказывать нижеподписавшимся по любому прошению”. И подпись Санабрии, того самого, который танцевал с Лестницей, личного секретаря губернатора.

Юридические действия сестер Баладро, предпринятые в План-де-Абахо, оказались более успешными. В марте 1963 года они освободили от ареста дом на улице Молино и продали его шорнику под мастерскую. Капитан Бедойя уговорил сестер использовать деньги, полученные от сделки, на покупку ранчо.

5

Меня зовут Радомиро Раина Расо, живу в Консепсьон-де-Руис. Это я продал сестрам Баладро ранчо Лос-Анхелес, но заявляю, что, когда ставил свою подпись под документом, не знал, кто они такие, мне и в голову не могло прийти, для каких дел они будут использовать землю, которую я им продал.

Дело было так: мне нужно было платить долг, я не знал, где взять денег, и решил продать часть своих земель. Об этом я рассказал нескольким людям, и однажды в буфете гостиницы “Гомес” ко мне подошел капитан Бедойя, которого я знал в лицо, и говорит:

— Сколько вы дадите мне комиссионных, если я найду покупателя на вашу землю?

Я назвал ему свои условия, он согласился, и через два дня ко мне приехали в повозке сеньоры Баладро.

Я и понятия не имел, что они содержательницы публичного дома. Наоборот, они выглядели такими солидными, что я пригласил их в гостиную и представил своей жене. Они были в черном. Старшая, та, что распоряжалась, была в траурной шали, как будто только вышла из церкви. Она опекала сестру, как молоденькую девушку. Когда та закинула ногу на ногу, старшая сказала:

— Одерни платье, Серафина.

И молодая натянула платье и закрыла колено.

Моей жене они очень понравились, она угостила их вермутом и печеньем, и они выпили скромно, в меру и без всяких скверных словечек. Потом я предложил им поехать посмотреть землю и взял с собой жену. Кто бы мне сказал, что мы оказались в одной машине со сводницами!

В день подписания договора они приехали в нотариальную контору с засаленным бумажным пакетом, достали из него сто пятьдесят тысяч песо купюрами по пятьсот и отдали мне. Капитан Бедойя присутствовал, но сделал мне знак, чтобы я не отдавал ему деньги при сеньорах. Мы под каким-то предлогом вышли с ним на улицу, и там я расплатился.

После подписания документов капитан и сеньоры ушли, а нотариус, который их знал, рассказал мне, кто они такие. Но было поздно, все подписано, деньги у меня в руках, очень нужные мне деньги.

6

Говорит Эулалия Баладро де Пинто:

Теофило в третий раз потерял все, что у нас было. Когда пришло письмо от сестер, у нас в гостиной как раз описывали мебель. Письмо было такое:

“Дорогая Эулалия,

нам с каждым днем труднее заниматься нашим многолетним трудом, поэтому мы решили перейти на сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы Теофило все взял в свои руки, он ведь столько знает об этом... “ и так далее.

Письмо написала Арканхела, но внизу обе сестры поставили свои имена. Мы с Теофило увидели в этом луч надежды, на следующий день собрали чемоданы и поехали в Консепсьон-де-Руис. (Эулалия говорит, что, по указанию сестер, они поселились в гостинице “Гомес” и что за последующие семь месяцев регулярного общения ни она, ни ее муж не заподозрили, что сестры живут в казино “Дансон”. В тот же день они поехали на машине Лестницы осматривать ранчо.)

— А вот на этом кусочке, — сказала Арканхела Теофило, — посади цветы, я буду носить их на могилу Бето в День Мертвых.

Начинался период дождей, кукуруза дала всходы — говорит Эулалия — но место показалось мне очень заброшенным. (Она описывает дом, амбар в руинах, полуразвалившуюся крышу и тоску, которая ее охватила, когда она посмотрела вокруг и поняла, что, куда ни глянь, нигде не видать человеческого жилья.)

Теофило — говорит Эулалия — спланировал все, чтобы ранчо стало прибыльным, и составил бюджет. Сестрам проект показался очень удачным, но расходы — слишком большими. Они дали мужу частями меньше половины тех денег, что требовались, поэтому он сумел привести в порядок дом, но не смог подключить воду и электричество. Подготовил амбар, но не получил денег на покупку коров, посадил кукурузу, но не люцерну. Вместо стольких нужных вещей они вдруг дали нам вещь, совершенно не нужную.

Однажды утром они приехали и привезли длинный сверток, завернутый в газету. Арканхела положила его на кухонный стол и велела Теофило развернуть бумагу. Это был карабин.

— Я его привезла, — сказала Арканхела, — чтобы ты стрелял, если кто-то будет уводить коров.

Но коров не было, ни тогда, ни потом.

7

14 июля сестры Баладро устроили пикник на ранчо Лос-Анхелес. Они пригласили священника, чтобы он освятил купленную землю и дал ранчо новое имя — прежде оно называлось Эль-Питайо. Список присутствовавших на празднике показывает, как изменился статус сестер Баладро. Вместо городских депутатов, мэров, профсоюзных лидеров и управляющих банками пришли капитан Бедойя, его адъютант по имени Оторва Николас, Лестница, Тичо и Теофило Пинто. Присутствовали также пятнадцать женщин. Дожидаясь священника, который должен был освятить землю, все поделились на две смешанные команды и стали играли в футбол. Мяч Лестница возил с собой в багажнике.

Когда священник уехал (его ждали на крестины), они открыли бутылки и произнесли тост, ближе к вечеру поели красный соус моле, приготовленный Калаверой, и рис, приготовленный Эулалией. Лестница играл на гитаре, женщины пели. Дождь в этот вечер не пошел.

Через три дня умерла Бланка.

X
История Бланки

1

(Бланка Н.: Тикоман, 1936 — Консепсьон-де-Руис, 1963.)

В Тикомане песок белый, рыхлый, ноги в нем вязнут. Широкий пляж. Каменистая речка впадает в море. В ее русле с

незапамятных времен в засушливое время года местные жители рыли колодцы. Народ Тикомана пришел сюда из глубины страны и живет, отвернувшись от моря. Мужчины возделывают кукурузу на склонах холмов, женщины откармливают свиней на скотных дворах. Никто не умеет плавать, никто не осмеливается заходить в море, и от моря ничего не ждут. У него берут только хворост, дожидаясь, когда в сезон дождей река вынесет его в море, а море — на берег.

Вдалеке в забытом море виднеются две белые скалы, а еще дальше плывут корабли, которые никогда не заходят в Тикоман.

Семьи здесь большие. Взрослые мужчины, когда выпьют, говорят, что хотели бы найти работу в других местах. Сыновья, вырастая, уезжают. Женщины остаются, хотя не все.

Мы можем представить себе Бланку еще девочкой, когда она, как и другие здешние дети в ее возрасте, ходила с собакой на берег моря собирать хворост, носить воду из колодца и так до тех пор, пока в Тикомане не появилась, без лишнего шума, одна старуха и не повадилась сидеть по вечерам на берегу, на плетеной скамеечке, глядя на море. Она увидела девочку с охапкой хвороста.

С пляжа наша история перескакивает на ярмарку в Окампо. Сюда приезжает множество верующих, чтобы исполнить обет, данный Деве Марии из Окампо. Некоторые приносят покаяние, спускаясь с бревном на плечах из Ла-Эрмиты, где бьет чудотворный родник, другие идут босиком по листьям нопаля, женщины проползают на коленях стометровую колоннаду храма, вымощенную пемзой. Важно явиться перед почитаемым образом в крови: только так паломнику гарантируется прощение или чудо.

Многие приезжают на ярмарку не из религиозных, а из коммерческих побуждений. В эти дни в Окампо покупается и продается все: ладан, пасхальные свечи, серебряные дары, религиозные тексты, лошади, бойцовые петухи, иной раз — упряжка волов, иной раз — женщина.

В 1950 году на ярмарке в Окампо Ховита Н., старуха, которая сидела по вечерам на плетеной скамеечке и смотрела на море, продала сестрам Арканхеле и Серафине Баладро девочку четырнадцати лет по имени Бланка за триста песо.

Если верить Калавере, свидетельнице сделки, все произошло в одной из галерей, где живут паломники. Сестры Баладро тщательно осмотрели девочку, прежде чем заключить сделку, и не нашли в ней других изъянов, кроме пятен на зубах (такие зубы у всех жителей Тикомана из-за питьевой воды, взятой из колодцев в русле реки), которые и стали причиной торга. Сеньора Ховита просила четыреста пятьдесят.

Как вспоминает много лет спустя Калавера, в тот же день произошло событие, имевшее все признаки дурного предзнаменования. Дело было так. В ту же таверну, где ели во время своего пребывания в Окампо Баладро, стали приходить две молоденькие девушки-сестры — они приехали в город вместе с отцом-паломником. Серафина в ту пору искала девушек для своего заведения на улице Молино, они ей понравились, и, улучив момент, когда отца не оказалось рядом, она завела с ними разговор. Представилась хозяйкой обувного магазина из Педронеса и сказала, что ей нужны продавщицы. Предложила им работу, двести песо в месяц, жилье и питание. Вероятно, девочек, приехавших из Пуэбло Вьехо, перспектива поселиться в Педронесе заинтересовала, и они договорились решить дело на следующий день. То есть в тот самый день, когда Баладро купили Бланку. Заплатив за покупку, они привели Бланку в таверну и все четверо (четвертая была Калавера) сели есть рис, когда появился сам паломник, но в компании не двух дочерей, а двух жандармов, и Серафину увели в участок. Ее обвинили в попытке растлить малолетних, и она сутки провела в муниципальной тюрьме. Арканхеле пришлось отдать двести пятьдесят песо, чтобы Серафину отпустили. А предзнаменование состояло в том, объясняет Калавера, что первый день с Бланкой закончился для Серафины первой ночью в тюрьме.

2

Характер Бланки:

Ее обманом выманили из семьи, продали, купили, вынудили в четырнадцать лет заняться проституцией, и все-таки она казалась счастливой.

Неизвестно, что посулила Бланке сеньора Ховита (или матери Бланки, а та — самой Бланке), чтобы девочка согласилась отправиться с ней из Тикомана в Окампо — а это четыреста километров. Скорее всего, своих посулов она не выполнила. И, тем не менее, когда обман вскрылся, и сестры Баладро осматривали ее между койками в галерее для пилигримов, девочка, как с восхищением вспоминает Калавера, не выразила ни изумления, ни стыдливости и без возражений пошла с Баладро, когда после завершения сделки Ховита сказала ей:

— Иди с этими сеньорами.

Она не потеряла аппетита, когда жандармы увели Серафину, ей одной захотелось съесть десерт. Спустя несколько дней, когда в “Прекрасном Мехико” Арканхела объяснила ей, в чем будут состоять ее обязанности (по словам Калаверы, многие в этот момент плачут), она сказала:

— Как прикажете, сеньора.

За все годы, что Бланка занималась проституцией, на нее никто ни разу не пожаловался, зато многие хвалили.

Она сменила несколько имен. На осмотрах по выявлению венерических заболеваний в штате Мескала она фигурировала под именами: Мария де Хесус Гомес, Мария Елена Лара, Пилар Кардона, Норма Мендоса, а потом взяла себе имя, которое сохранила до смерти и под которым ее помнят сейчас: Бланка Медина.

(Ėсли она перестала менять имена, то, как говорит Калавера, не потому, что ей надоело, а потому, что доктор Арейано, проводивший эти осмотры, вышел из себя и сказал, что больше этого не потерпит.)

Скорее всего, многочисленные имена имеют какое-то отношение к разным сторонам личности Бланки, личности хоть и неразвитой, но многосторонней. Как рассказывают те, кто ее знал, талант и секрет успеха Бланки заключались в умении явиться перед каждым мужчиной именно такой, какую он подсознательно хотел. Поэтому так противоречиво описывают ее поклонники: одного она заставила два часа томиться в одиночестве у барной стойки, пока сама сидела за столиком, тоже в одиночестве, и изображала, что ждет некоего "возлюбленного", которого не существовало и который, разумеется, не пришел. Потом, изобразив отчаяние, она увела клиента от барной стойки в свою комнату и отдалась ему в состоянии эротической каталепсии, приведшей его в восторг. Другого, адвоката, она раздела, изорвав ему галстук, швырнула на кровать и бросилась сверху. Этот клиент тоже остался очень доволен.

Некоторые говорят, что она умела молча внимательно слушать, и ей хватало терпения на любые, даже самые длинные чужие истории. Другие описывают ее как любительницу поговорить: например, Либертино утверждает, что однажды в течение нескольких месяцев она рассказывала ему при каждой новой встрече новый эпизод из выдуманной истории. Больше всего Либертино восхищало, что в это же самое время она рассказывала другую историю, тоже выдуманную, его другу, тоже ее посещавшему. И наоборот, инженер-шахтер, который побывал у Бланки всего раз, говорит, что они предавались бурным утехам два часа и за все время она не проронила ни слова — это было незабываемо.

Подруги вспоминают Бланку с восхищением и любовью. Хотя фишек она зарабатывала больше всех, но никогда не давала повода для зависти. Рекомендовала услуги своих менее удачливых подруг и уступала место любой, кому это сулило хоть какую-то выгоду. Никто не помнит, чтобы она от ревно-

сти или жадности вцепилась подруге в волосы. Раздаривала свою одежду, еще совсем неизношенную. Хозяйки и Калавера души в ней не чаяли.

Мы знаем, что Бланку портили только пятна на зубах — они и стали причиной единственной роскоши, которую она себе позволила. Скопив за несколько лет нужную сумму, она пошла к известному в Педронесе врачу, и тот заменил ей четыре испорченных резца на золотые. Это новшество изменило Бланку, но не испортило. По словам Либертино — а он видел ее и с плохими зубами, и без зубов, когда ей вырвали собственные, но еще не поставили новые, и с новыми золотыми, — трудно сказать, какая она нравилась ему больше. Золотые зубы лишь подчеркнули ее экзотическую красоту: Бланка была негритянкой[1].

3

История, которую Бланка поведала Либертино:

Бланка рассказала, что, выйдя из дома, прогулялась до Пласа-де-Армас и села на скамейку. Мимо прошел мужчина, с виду очень симпатичный, потом прошел еще раз, еще и еще, пока не сел на скамейку напротив и не стал на нее смотреть. Бланка вернулась домой, а незнакомец так и не отважился с ней заговорить. На следующей день Бланка снова пришла на Пласа-де-Армас, мужчина тоже появился, стал прохаживаться, а потом сидел и смотрел на нее. На третий день он подошел, сказал, что он игрок футбольной команды, и спросил, чем занимается Бланка. Она ответила, что работает официанткой в ресторане. Он сказал, что хочет на ней жениться. Она ответила, что это невозможно, потому что у нее болеет мать.

Далее следуют несколько эпизодов, в которых этот человек настаивает, преследует Бланку и чуть не узнает ее настоящую профессию. Например, он приглашает ее в остерию, она выпивает несколько кружек пива, пьянеет, а придя в себя, пугается, что в беспамятстве могла сказать: “Ха-ха! Да я же проститутка!”. Или еще: футболист приходит в “Прекрасный Мехико” вместе со всей своей командой, и она вынуждена залезть под стол, — и так далее в том же духе.

История закончилась в ту ночь, когда Либертино пришел в кабаре, увидел Бланку расстроенной и спросил, почему она грустит, а Бланка ответила, что футболист погиб. Дальше она описала кровавую аварию на шоссе с уймой натуралисти-

1. Бланка в переводе с испанского — Белая.

ческих подробностей. Начиная с этой ночи, Бланка никогда не упоминала футболиста, а Либертино не решался о нем заговаривать.

4

Ее болезнь:

В сентябре 1962 года (публичные дома в План-де-Абахо закрыты, все женщины живут и работают в "Прекрасном Мехико") Бланка поняла, что беременна. Это случилось не в первый раз. Как и раньше, она обратилась за помощью к Калавере, и та, согласно ее собственному заявлению, приготовила настой из листьев полыни и руты, который пациентка принимала в горячем виде, по чашке три раза в день. Это средство, давно практикуемое Калаверой и помогавшее большинству работниц Баладро, считалось безотказным способом вызвать выкидыш. Бланка пила его ежедневно в течение двух месяцев без всякого результата, после чего решила посоветоваться с сестрами Баладро. Серафина предложила ей сделать операцию и пообещала, что они с сестрой оплатят расходы.

Доктор Ареяно, чья подпись стояла под многими документами, оказавшимися в руках Арканхелы, после долгих уговоров согласился сделать аборт в обмен на эти бумаги, но предупредил, что манипуляция опасна из-за большого срока беременности. В один из ноябрьских дней он прооперировал Бланку в ее комнате с помощью Калаверы. Успех был частичным: прервать беременность удалось, но началось обильное, непрекращающееся кровотечение, которое врач объяснил тем, что длительное употребление полыни и руты нанесло вред кровеносной системе пациентки. Чтобы прекратить кровотечение, ему пришлось сделать Бланке восемь инъекций витамина К. В одиннадцать ночи кровотечение прекратилось, и все подумали, что Бланка спасена. Врач ушел, как только Арканхела отдала ему документы. Серафина и Арканхела пошли заниматься кабаре, а Калавера — комнатами. Оставшись одна, больная уснула. Когда на следующее утро Калавера вошла к ней со стаканом апельсинового сока, она заметила, что лицо Бланки перекошено. Дальнейший осмотр показал, что левая сторона ее тела парализована.

Доктор Ареяно отказался навестить больную, поэтому Серафина, несмотря на возражения Арканхелы, боявшейся расходов и неприятностей, пригласила доктора Абдулио Менесеса, который осмотрел Бланку и, задав несколько неуклюжих вопросов о причинах заболевания и получив еще более

неуклюжие ответы, предложил госпитализировать ее в свой частный санаторий и применить интенсивную терапию.

Четвертого декабря 1962 года Бланку положили в санаторий Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар, известный как одно из лучших лечебных заведений во всей округе. В регистрационной карточке указано, что Серафина Баладро является ближайшей родственницей больной и оплачивает счета. Шестого и седьмого числа несколько подруг по работе навестили Бланку и им показалось, что ей намного лучше, седьмого Либертино принес ей букет красных роз и не сумел скрыть свой ужас (говорит присутствовавшая при этом медсестра), увидев ее такой изуродованной. В ночь на восьмое убили Бето, десятого закрыли "Прекрасный Мехико", одиннадцатого доктор Менесес отчаялся получить деньги по счетам и распорядился, чтобы Бланку прекратили лечить и выписали. Согласно выписке больную забрали какие-то родственники – подпись неразборчива. В тот же день Бланка поступила в больницу Сан-Педро-де-лас-Корьентес под именем Мария Мендес – единственным именем, придуманным для нее другими, но в карточке не упоминаются ни родственники, ни доктор Абдулио Менесес.

В январе Либертино хотел навестить Бланку, но в регистратуре санатория Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар ему сказали, что больную выписали и ее забрали родственники. Либертино решил, что Бланка выздоровела и живет с Баладро, поэтому не стал ее искать. Он не сомневался, что сестры вскоре снова объявятся и продолжат свой бизнес, если не в Сан-Педро, то где-нибудь по соседству, и, как только это случится, сразу же сообщат ему как одному из постоянных клиентов. Сестры Баладро, в свою очередь, забыли на время о Бланке из-за скорби по Бето, закрытия "Прекрасного Мехико" и тягот переезда. Когда они, наконец, о ней вспомнили, то представили себе, какой длинный счет ждет Серафину в санатории Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар, и решили не навещать больную и не справляться о ее здоровье.

Пришел март, и Либертино довелось поехать в Консепсьон-де-Руис, чтобы получить деньги по одному просроченному счету – он торгует автомобильными запчастями. Закончив дела, он, в приступе эротической ностальгии, решил еще раз взглянуть на фасад казино "Дансон". Оставив машину на Пласа-де-Армас, он пешком дошел до улицы Независимости, остановился напротив опечатанной двери, и тут, к его удивлению, из соседнего дома вышла Калавера. Она шла в магазин за маслом. Они обнялись, как старые друзья, и Калавера дважды ему солгала, сказав, что заходила навестить сеньору

Бенавидес, свою хорошую приятельницу, и что все женщины (и она в том числе) живут теперь в Муэрдаго, а когда Либертино спросил про Бланку, Калавера ответила, что Бланка лечится в санатории Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар.

Так выяснилось, что Бланка пропала. Пока Либертино провожал Калаверу до мясного магазина, они решили разыскать Бланку, причем Либертино пришло в голову обратиться в полицию, но Калавера упросила его этого не делать (чтобы объяснить, почему нужна такая конспирация, ей пришлось рассказать, где на самом деле живут Баладро, она сама и остальные женщины). Либертино согласился найти Бланку без лишнего шума и обещал, что сообщит результаты, если они будут, по телефону Лестнице в гараж, где тот работал. Три дня спустя он нашел Бланку в первом же месте, куда отправился на поиски: в общей женской палате городской больницы. От нее не осталось и тени той Бланки, которую он знал: лицо стало безобразно-комичным, рассудок помутился. Она с трудом узнавала окружающих и почти ничего не помнила. Звуки, которые она издавала, почти невозможно было понять, потому что половина рта у нее не двигалась.

Либертино был сильно расстроен своей находкой, он сообщил о ней Калавере, как они договорились, и больше ничего не желал о Бланке знать.

5

На следующий день Калавера навестила Бланку. Увидев посетительницу у постели больной Марии Мендес, директор больницы отвел ее в сторону, сказал, что пациентка безнадежна, и просил, чтобы родственники забрали ее ради всего святого, потому что очень многие, у кого есть надежда, вынуждены ждать места.

На следующий день сестры Баладро приехали в больницу на машине Лестницы, подписали нужные бумаги и увезли Бланку в казино “Дансон”.

Согласно свидетельским показаниям, каждое утро две женщины выносили Бланку на задний двор, где клали ее, скрюченную, в деревянное корыто погреться на солнышке. Потом снова относили в комнату. Она превратилась в скелет, питалась маисовым напитком, приготовленным Калаверой, никак не давала понять, что понимает обращенные к ней слова, сама же бормотала что-то нечленораздельное.

В мае Арканхела, постоянно недовольная тем, что они тратят уйму денег на пропитание целой толпы, и отсутствием доходов, решила: раз Бланка не может жевать, нужно вы-

рвать ее золотые зубы и продать, чтобы оплатить те труды и заботы, которые свалились на них по ее вине. Как-то утром она пришла в комнату Бланки и хотела вырвать ей зубы, но больная так стиснула рот, что Арканхела, провозившись какое-то время, вынуждена была отказаться от своей затеи.

Пятого июля Калавера поехала в Педронес и посоветовалась с сеньорой по имени Томаса Н., известной целительницей, по поводу способов лечения паралича. Именно Томаса Н. открыла ей метод лечения, о котором мы расскажем ниже, и рекомендовала его как эффективный. Вернувшись в Консепсьон-де-Руис, Калавера попросила у хозяек разрешения применить этот метод, и они разрешили.

(Прошло несколько дней, в течение которых Калавера и другие женщины были заняты приготовлением праздничного соуса моле на день освящения ранчо.)

Наступает 17 июля. Тичо скручивает проволокой ножки трех столов, чтобы придать им устойчивость, и ставит столы в центре кабаре – Калавера выбрала это место как наиболее подходящее для проведения лечения. Потом Тичо уходит и не узнает, что было дальше. В одиннадцать разжигают две жаровни и ставят их рядом со столами. Марта, Роса, Эвелия и Фелиса, действующие в роли ассистенток Калаверы, приносят из комнаты Бланку, раздевают и кладут на столы. Пока ассистентки нагревают на жаровнях семь железных утюгов, Калавера растирает тело больной настойкой из скорлупы арахиса. Помощницы привязывают Бланку к столам двумя простынями. Сестры Баладро присутствуют при лечении – они стоят на балконе, расположенном над кабаре. Помощницы накрывают тело Бланки легким фланелевым одеялом. Марта держит в руках кувшинчик с водой. Из него она должна смачивать одеяло, на которое Калавера ставит раскаленные утюги. В обязанности Росы входит сменять остывшие утюги. Эвелия и Фелиса держат больную, чтобы не извивалась.

В рецепте говорится: прикладывать горячие утюги на влажное одеяло с парализованной стороны до тех пор, пока одеяло не приобретет темно-кофейный цвет.

Сначала всем показалось, что лечение будет успешным. Больная не только кричала более внятным голосом, чем все последние месяцы, но к тому же, когда к ней приложили утюги, у нее задвигались даже те мышцы, которые давно не двигались. Потом больная потеряла сознание. Целительницы пытались привести ее в чувство, понемногу вливая в рот кока-колу, но не смогли заставить ее глотать: жидкость скатывалась с ее губ. В какой-то момент Калавера засомневалась, не

прекратить ли лечение. Но решила действовать и прикладывала утюги до тех пор, пока одеяло не приобрело темно-кофейный цвет, как рекомендовала сеньора Томаса. Они еще раз безрезультатно попробовали влить Бланке в рот кока-колу. Когда они подняли одеяло, то с удивлением обнаружили, что вся ее кожа осталась на одеяле.

— Накройте ее! Накройте! — говорят, закричала на балконе Серафина.

Одна из женщин побежала за другим одеялом. Остальные отвязали больную. Ее снова накрыли, все вместе отнесли в комнату и положили на кровать. В себя она больше не пришла. Целительницы вместе с хозяйками оставались у ее постели до полуночи, в этот час она перестала дышать.

XI
Р*азные взгляды*

1

Мария дель Кармен Регулес говорит, что сразу после завтрака Калавера приказала ей и еще трем женщинам:

— Идите погуляйте. Сделайте кружок, а если некуда деваться, зайдите на рынок поглядеть на овощи и зелень. До пяти домой не возвращайтесь.

Она дала каждой по одному песо на обед. Приказ их удивил, но они подчинились. Все четверо отправились на улицу Куаутемок и шли мимо механических мастерских, где работали трое их знакомых, а те, увидев женщин, увязались за ними и стали говорить им всякую "похабщину". Женщины пошли к загородному роднику, и там парни их настигли и "изнасиловали" в зарослях осоки. Обедали работницы на рынке, а потом до пяти вечера гуляли на площади.

Вернувшись в казино "Дансон", они заглянули в кухню, чтобы доложить Калавере о своем возвращении. Они не увидели там ни людей, ни еды, ни огня в печи, ни угля в топке.

Мария дель Кармен вышла на задний двор, чтобы снять с веревки белье. Она заметила, что корыто Бланки стоит не под лимонным деревом, а возле запертой двери кабаре.

Когда она вернулась на кухню, то встретила других работниц, которые тоже с утра гуляли по городу. Всего в тот день на улицу отправили одиннадцать женщин — случай крайне редкий.

Она говорит, что, поднявшись к себе, услышала в комнате Бланки голоса, ее охватило любопытно, но зайти она не

посмела, потому что, как ей показалось, среди других голосов различила голоса хозяек. Она не стала выходить из комнаты, а позднее услышала в коридоре какой-то шум, приоткрыла дверь и увидела в щель Арканхелу и Калаверу — они шли к лестнице. Арканхела говорила Калавере:

— Это ты во всем виновата.

Ужина в тот день не дали, только чай из апельсиновых листьев. Некоторые женщины спрашивали Фелису, что случилось, но та не отвечала. Прошел слух, что Бланке стало хуже. Поднимаясь в свою комнату, Мария дель Кармен заметила, что корыта у двери казино уже нет.

Она говорит, что легла спать, но вскоре проснулась от голода. В коридоре раздавались голоса и шаги. Она хотела было встать и посмотреть, что происходит, но тут же опять крепко уснула.

Мария дель Кармен проснулась рано утром, снова от голода, и спустилась в кухню. Калавера уже разожгла печь и кормила Тичо шкварками в зеленом соусе. Мария дель Кармен спросила, не стало ли Бланке хуже, и Калавера ответила:

— Ей так плохо, что пришлось опять отвезти ее в больницу.

Мария дель Кармен говорит, что несколько дней верила словам Калаверы.

2

О событиях предыдущих суток Тичо рассказывает, что связал столы, поставил их там, где велела Калавера, и попросил разрешения поработать. (После закрытия "Прекрасного Мехико" Баладро не платили Тичо, поэтому ему пришлось сдельно работать грузчиком.)

Он говорит, что пошел на склад братьев Барахас и там перетаскивал коробки с помидорами, пакеты с чили и мешки с картошкой в сухие помещения из тех, где капало с потолка; что в два часа сделал перерыв, сходил через дорогу на рынок, съел кукурузную лепешку с потрохами, вернулся на склад и таскал мешки; что в восемь часов управляющий, наконец, остался доволен и заплатил ему обещанные двадцать песо.

Говорит, что, вернувшись вечером в казино, не нашел никого, кому мог бы сообщить о своем возвращении (то есть ни Калаверы, ни сестер Баладро), заглянул в кухню, увидел, что еды нет, и отправился к себе, в угольный чулан. Рухнул на койку и уснул.

Тичо говорит:

Не знаю, сколько было времени, когда я проснулся. В дверях стояла Калавера с керосиновой лампой в руке. "Калаверита!" — говорю, и хотел задрать ей юбку. Но она не захоте-

ла. Сказала только: “Пойдем”. И ушла. Я думал, она зовет меня поесть, и пошел за ней, но вместо кухни она привела меня во двор, остановилась и говорит:

— Пойди возьми в чулане кирку и лопату.

Когда она увидела, что я несу инструмент, то повернулась и пошла, а я — за ней. Свет был только от лампы, ничего не видать, только юбку Калаверы. Мы пришли на задний двор, в дальний угол (северо-западный), она поставила лампу на землю и говорит:

— Работать будешь тихонько.

(Она велела ему выкопать прямоугольную яму, два шага в длину, один в ширину, такой глубины, чтобы края доставали ему до подмышек, если стоять на дне. Дав указания, Калавера ушла в дом. Тичо быстро копал яму в мягком грунте, но, когда кирка стала ударяться о камни, из дома вышли Арканхела и Калавера и велели ему прекратить работу.) Яма получилась не более метра глубиной. Тичо продолжает:

Сеньора Арканхела сказала:

— Оставь, как есть. Будет хуже, если разбудишь соседей.

Калавера отвела меня на кухню, накормила яичницей, налила кружку чая из апельсиновых листьев и плеснула в нее малость спиртного. Я опять: “Калаверита!”, но она опять не захотела, так что я вернулся в чулан и лег спать.

Проснулся я, когда начало светать. Калавера стояла в дверях с керосиновой лампой. Я опять говорю: “Калаверита!”, но она вырвалась и сказала: “Пойдем”.

Мы пришли в дальний конец заднего двора. Я заметил, что кто-то закидал мою яму землей до половины.

— Закопай яму до конца, — сказала Калавера. — И утрамбуй бревном. Если останется лишняя земля, — слушай меня хорошенько! — разбросаешь ее лопатой по двору так, чтобы никто не заметил, что здесь была яма.

Я сделал, как велено. Когда Калавера увидела, что яма засыпана, земля утоптана, а та, что осталась, разбросана по всему двору, был уже день. Она отвела меня на кухню и приготовила мне шкварки. Пока я ел, зашла одна девушка и спросила, как себя чувствует Бланка. Калавера ответила, что Бланка так плоха, что ее опять пришлось отвезти в больницу. Тогда я понял, чем занимался всю ночь.

3

Говорит капитан Бедойя:

День семнадцатое июля я помню, как сейчас, потому что была сплошная суета. Майор Марин — он привозит нам жало-

ванье — опоздал на два дня и приехал в казарму Консепсьон-де-Руис в тот же час, что и грузовик с фуражом, который мы ждали двадцатого. (Дальше он объясняет, что разгрузка задержалась, потому что по регламенту личный состав должен построиться на плацу и пройти смотр прежде, чем получит жалованье.) Капитан выбежал из части, чтобы успеть на телеграф до закрытия отдела денежных переводов. (Капитан Бедойя отправил перевод, пятьдесят песо, на имя девочки Кармелиты Бедойя, своей дочери, сопроводив его текстом: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАПОЧКИ ПО СЛУЧАЮ ИМЕНИН. На переводе указан адрес — улица в Ацкапосалько. Своей жене, которую тоже зовут Кармен, капитан не отправил ничего — ни подарка на именины, ни записки. Заметьте, что капитан, имея счет в банке, предпочел дождаться майора Марина с двухнедельным жалованьем и в результате отправил дочери подарок с опозданием на день.) С телеграфа, продолжает Бедойя, я поехал к Серафине.

Я нашел ее в столовой, ее знобило, и она была явно не в себе. Я спросил, что случилось, и она сказала, что день был очень трудный, что Бланке стало совсем плохо. Она заметно нервничала, поэтому я распрощался и ушел, поужинал в гостинице "Гомес", а ночевал у себя в части. На следующий день Серафина сказала, что им пришлось отвезти Бланку в больницу.

— Надеюсь, в городскую, — сказал я.

Она сказала, что, конечно, в городскую.

Капитан Бедойя всегда считал безумием, что сестры Баладро тратят деньги на Бланку. Когда ее положили в санаторий доктора Менесеса, многие слышали его комментарий:

— Выброшенные деньги. Возможно, эта женщина сможет ходить, но никто не вернет ей нормальное лицо, а кому нужна проститутка, на которую страшно смотреть?

Когда больную привезли в казино "Дансон", Серафина не рассказывала об этом капитану до тех пор, пока однажды он не вышел на задний двор и не увидел в корыте под лимонным деревом парализованную Бланку.

— Это что такое? — говорят, спросил он у стоявших рядом работниц.

Они ответили, что это Бланка. Тогда капитан сказал:

— Она ни на что больше не годится. Вам нужно позвать Тичо, и пусть отнесет эту женщину ночью на свалку, где ее сожрут собаки.

(Видимо, из-за этих слов Серафина предпочла не рассказывать капитану о реальной участи Бланки.)

Говорит капитан:

Однажды ночью в начале августа, когда мы были в постели, и уже стемнело, Серафина сказала, что теряет надежду снова открыть дело. Я обрадовался: наконец-то она стала соображать, потому что я эту надежду потерял давно. Но мне не пришло в голову спросить, что подтолкнуло ее к такому выводу.

На следующее утро я проснулся в хорошем настроении, надел кальсоны и рубаху и вышел на галерею подышать свежим воздухом. День был безоблачный, как во время засухи. Я взглянул на небо и увидел грифов. Их было два, они кружили на месте, и, казалось, прямо у меня над головой.

Клянусь вам, я — атеист, но мне стало так погано на душе, что я перекрестился.

4

Фрагмент очной ставки Ауроры Баутисты и Эустикио Натеры (он же — Тичо):

Аурора Баутиста:

— Ведь было однажды такое, что ты вошел в дом с мешком угля на спине, а донья Арканхела тебе сказала: “Срежь ветку акации и распугай этих тварей на заднем дворе”. Разве не говорила она тебе этого?

Тичо:

— Не помню такого.

Аурора Баутиста:

— А не помнишь, как ты срезал в кустах большущую ветку, пошел туда, где сидели грифы, прогнал их, а они покружили-покружили, да и сели обратно?

Тичо:

— Я в своей жизни много раз распугивал грифов. Не знаю, какой из этих случаев ты хочешь, чтоб я вспомнил.

Аурора Баутиста:

— Тот случай, когда донья Серафина вышла из себя, достала пистолет, дала тебе и сказала: “Застрели их”, а сеньора Арканхела появилась в коридоре и говорит: “Вы что, всю округу хотите перепугать?”. Не помнишь этого?

Тичо:

— Наверно, это был не я.

Аурора Баутиста:

— А не ты был на кухне с Калаверой, Лус Марией и со мной, когда вошел капитан Бедойя, попросил ковш воды, выпил и говорит: “Не понимаю, откуда прет такая вонища”, а Калавера ему ответила: “На соседнем дворе собака сдохла”? Не ты сидел при этом и ел лепешку?

(На этот и следующие вопросы Ауроры Баутисты Тичо отвечает уклончиво.)

— Не было такого, что ты пришел с жестяной банкой, а донья Арканхела тебя спросила, "сколько ты отдал за бензин"?

— Не помнишь, как в эту же ночь достал лопату и кирку и копал на заднем дворе?

-...а потом разжег костер, и костер горел долго, а на следующее утро в воздухе стояла вонь?

Тичо:

— Мне кажется, что тебе все это приснилось. Никогда такого не было.

XII
Четырнадцатое сентября

1

Четырнадцатого сентября 1963 года сестры Баладро встретились с сеньором Сиренио Пантохой, хозяином публичных домов в Халосте, чтобы обсудить продажу оставшихся пятнадцати женщин. Это решение свидетельствует о том, что они потеряли надежду открыть свое заведение.

Встреча произошла в Педронесе, в кафе-мороженом "Сибирь", в одиннадцать утра. Сестры Баладро очень старались, чтобы дон Сиренио не догадался, что они живут в казино "Дансон" — прошлую сделку, когда тому же сеньору были проданы одиннадцать женщин, заключили на скамейке в Тополиной аллее в Педронесе, — возможно, не учитывая, что проданные женщины тоже посвящены в их секрет.

Похоже, во второй раз дон Сиренио решил выторговать более выгодные условия, ведь это сестры пришли к нему с предложением, а не он к ним, как было в первый раз. Сославшись на недавние крупные расходы, он предложил по триста песо за каждую женщину. Сестры Баладро отвергли это предложение и сделали вид, что оскорблены и уходят. Дон Сиренио предложил четыреста. Сестры не стали уходить и продолжили торг. Когда дон Сиренио назвал цифру "шестьсот", они готовы были согласиться, но утро уже прошло, и они решили встретиться еще раз.

2

Балкон, который находится в кабаре, отсутствует в первоначальном проекте архитектора казино "Дансон", он нарушает впечатление, навеянное всем остальным интерьером (кажет-

ся, что находишься на морском дне), и, как говорят, вызывал отчаянные протесты молодого дизайнера, помогавшего Балладро при строительстве публичного дома. Несмотря ни на что, балкон в кабаре есть.

Идея принадлежала Серафине — во время путешествия в Акапулько она увидела на улице и уже не могла забыть, как три певца пели на балконе, аккомпанируя себе на гитарах, а внизу, во дворе, ели туристы. Серафине пришло в голову, что в один из торжественных вечеров, то есть когда к ним наведается какой-нибудь политик или другая важная персона с друзьями и казино закроют для публики, будет очень уместно пригласить трио, чтобы в самый неожиданный момент двери балкона распахнулись, на него вышли певцы и исполнили "Лас-Маньянитас"[1] для того, кто за все это платит.

Балкон построили, но певцы на него так и не вышли. Он сослужил свою службу, когда на нем в день открытия казино появились Арканхела и адвокат Каналес, которому клич с балкона стоил должности, когда Арканхела и Серафина наблюдали с него за лечением Бланки и когда случилось то, о чем вы скоро узнаете.

Надо заметить, что металлические перила не закрепили с самого начала. Выковавший их кузнец сказал прорабу, что перила установлены ненадежно; прораб убедился, что перила действительно установлены ненадежно, приказал мастеру их закрепить, а мастер, в свою очередь, пообещал закрепить и не закрепил.

Через несколько месяцев работы завершились, и Арканхела сказала:

— Надо привести в порядок эти перила, они болтаются. Если на них хорошенько опереться, они рухнут, и полетишь головой в пол, да с четырех метров!

После этого замечания никто не вспоминал о перилах до четырнадцатого сентября.

3

Чтобы выйти на балкон, нужно пройти коридор, в который выходят все комнаты. В этом коридоре женщины и затеяли ссору — так говорят те, кто при этом присутствовал.

Картина рисуется примерно такая: две женщины стоят нос к носу, обеими руками вцепившись друг другу в волосы. Их лица искажены, глаза то зажмурены от боли, то вытара-

1. "Рано по утрам" (*исп.*).

щены, рты перекошены, на губах пузырится слюна, одежда растерзана и порвана — из-за пазух торчат клочья бюстгальтеров. Они двигаются синхронно, слаженно, как в танце: три шага вперед, два назад, иногда удар туфлей по ступне или по голени, иногда пинок коленом в живот. Женщины издают почти животные звуки: стонут, подскуливают, сопят, иногда бросают короткое злобное "сука" или что-нибудь в этом роде.

Когда началась ссора, они были одни, но драка продолжалась так долго, что все обитатели дома, почуяв что-то необычное, пришли в коридор посмотреть. (Калавера в это время ходила на рынок.)

Тринадцать женщин наблюдают, как дерутся двое, и ни одна не пытается их разнять. Это объясняется тем, что дерущиеся — "интимные подруги", то есть любовницы. Поэтому остальные считают, что эта драка — дело личное, и обществу в нее вмешиваться негоже. Видимо, по этой причине другие работницы какое-то время молча и с интересом наблюдают ожесточенную, но семейную драку — толчок туда, рывок сюда, — полагая, что она прекратится сама собой, когда враждующие стороны устанут. Финал мог бы быть бескровным, если бы Баладро, которые уже приехали и как раз выходили из машины Лестницы, немного поторопились: они бы успели прикрикнуть на соперниц и восстановить мир. Или если бы злая случайность не завела дерущихся на балкон, где одна из них изо всех сил рванула другую и стукнула ягодицей о перила, от чего ограждение сорвалось, и они полетели вниз головой, по-прежнему вцепившись друг другу в волосы. Их головы врезались в цементный пол и раскололись, как яйца. Две жизни оборвались в одно мгновение. Их звали Эвелия и Фелиса.

4

Сестры Баладро вошли через дверь сеньоры Бенавидес и уже подходили по коридору, соединявшему два дома, к своей столовой, когда услышали топот, стук и крики. Арканхела только хотела спросить: "Что происходит?", как раздалось звонкое "хрясть" — ягодиц о перила, скрежет — от разрушения перил, гулкий удар — перил о пол, короткий стук — голов о цемент. Возможно, кто-то из тех, кто видел случившееся, закричал; возможно, одна или несколько женщин побежали вниз, но смерть всегда заставляет созерцать себя только молча.

Поэтому мы можем предположить, что в тот момент, когда Баладро открыли дверь, отделявшую дом от кабаре, стоя-

ла тишина. Они вошли в помещение, наполненное клубами известковой пыли, и разглядели сначала искореженный металл, потом два трупа и, наконец, подняв глаза, в проеме балкона без перил — пять, шесть или больше уставившихся вниз женщин.

Опустим ненужные вопросы: "Кто их толкнул?", обвинения: "Это ваша вина! Почему вы их не разняли?", и так далее. В конце концов сестры поняли, что жертвы сами во всем виноваты. Кроме того, они обнаружили на одной из покойниц вероятную причину ссоры: золотые зубы Бланки. Золотые зубы лежали в бюстгальтере Эвелии — это была единственная деталь туалета, где она могла что-то спрятать, потому что носила открытые цельнокроеные платья без рукавов и карманов.

История золотых зубов Бланки такова: Арканхела пыталась их вырвать еще во время болезни, но безуспешно; когда Бланка умерла, на Арканхелу свалилось столько забот, что она забыла вырвать у покойницы зубы, зато, когда пришлось откопать труп, чтобы сжечь, Арканхела о них вспомнила и попыталась заполучить. Тогда-то и обнаружилось, что зубы исчезли.

Она ничего не сказала, но целую неделю ломала над этим голову. Кто-то из жильцов украл зубы Бланки. Она сама, Серафина, Тичо и Калавера были вне подозрений — так решила Арканхела; следовательно, виновата одна из четырех женщин, принимавших участие в исцелении, а потом — в похоронах. В этой точке рассуждений ее мозг заходил в тупик, и она не могла разгадать загадку; виновная не только жила под крышей дома, построенного на деньги Арканхелы и ее сестры, но ела лепешки, купленные на их деньги. Да еще украла золотые зубы, по праву принадлежавшие сестрам как справедливое вознаграждение за все их самопожертвование и разорительные расходы, понесенные за время болезни Бланки.

Разгадка обнаружилась четырнадцатого сентября. Зубы высовывались из бюстгальтера мертвой Эвелии. Арканхела увидела их, пробираясь между обломками, подняла, положила в сумку и через пятнадцать дней продала ювелиру в Педронесе за пятьсот песо. Виновная, когда ее разоблачили, не только вернула украденное, но к тому времени уже за все поплатилась.

5

Неожиданная развязка оставляет часть истории в тайне. Мы можем только строить догадки. По словам работниц, связь Эвелии и Фелисы длилась десять лет. Они были верными и миролюбивыми любовницами, их ставили в пример, им зави-

довали другие. Говорят, они добросовестно исполняли свои обязанности в борделе, но жили как муж и жена — Фелиса подавала Эвелии еду, приводила в порядок ее одежду, Эвелия хранила заработанные Фелисой деньги. После десяти лет, прожитых в полной гармонии и без малейших разногласий, — на веревке еще сушилась юбка Эвелии, постиранная Фелисой, — они закончили тем, что убили другу друга.

Объяснение, скорее всего, кроется в золотых зубах Бланки.

За несколько лет до этого, когда Бланка придумала представление с участием трех женщин, она выбрала себе в партнерши Эвелию и Фелису. Похоже, между ними установились какие-то отношения, сохранившиеся после отмены представления и даже после того, как Бланка заболела. Эвелия и Фелиса навещали Бланку в санатории доктора Менесеса, помогали Лестнице погрузить ее в машину, когда Серафина выписала ее из больницы в Сан-Педро-де-лас-Корьентес; это они каждое утро выносили Бланку из комнаты, клали в деревянное корыто под лимонным деревом, а к вечеру уносили в комнату; они захотели принять участие в исцелении — именно Фелиса пыталась напоить больную кока-колой, чтобы привести в чувство, а Эвелия побежала за покрывалом.

Первая гипотеза: одна из них, Эвелия или Фелиса, втихаря, когда никого не было рядом, вырвала зубы у лежащей в комнате покойницы, а три месяца спустя ее подруга, которая ни о чем не догадывалась, нашла у нее зубы, расценила кражу и умалчивание как предательство и вцепилась изменнице в волосы.

Вторая гипотеза: будучи уже очень больной и зная о намерении Арканхелы заполучить ее зубы, Бланка предпочла отдать их той, которую больше любила, Эвелии или Фелисе, а когда другая узнала, что ее обошли, то разбушевалась от ревности с известными последствиями.

Так могло быть.

6

А сейчас вернемся к тому моменту, когда Арканхела и Серафина открыли дверь и вошли в казино: они обнаруживают в клубах пыли два трупа, искореженные перила, золотые зубы Бланки и все остальное, потом поднимают глаза и видят в пролете балкона с обвалившимися перилами пять, шесть, семь... а может, и все тринадцать женщин, глядящих вниз.

С этого момента, хотя никто из участников не отдает себе в этом отчета, отношения между хозяйками и работницами принципиально меняются. Глядящие с балкона женщины знают, что здесь, внизу, лежат два трупа, и будут знать, что с

этими трупами произойдет. Баладро — хозяйки дома, они командуют этим мирком и поэтому отвечают за все, что здесь происходит.

Внешне ситуация даже упрощается. Например, нет нужды хоронить трупы ночью, стараясь никого не разбудить. В шесть вечера, когда Тичо возвращается с работы (он грузил мешки с цементом), Калавера отводит его на задний двор, приказывает выкопать двойную могилу глубиной метр восемьдесят недалеко от могилы Бланки и не смущаться, если заступ или кирка попадут по камню. Тичо исполняет приказание, и в двенадцать ночи Эвелия и Фелиса похоронены.

Этой ночью служебные дела не позволили капитану Бедойе навестить Серафину, не появился он и пятнáдцатого сентября, накануне парада, потому что в эту ночь все должны оставаться в казарме. Шестнадцатого числа вечером капитан приехал мрачный: его серый конь встал на дыбы, когда процессия двигалась по центральной улице Хуарес, в Педронесе, и капитан чуть не упал. Он чувствовал, что стал посмешищем в глазах солдат и сотен зрителей. Сабля вывалилась у него из руки, ее подобрал какой-то ребенок и вернул капитану, унизив его еще больше.

— Хочу выпить и забыть этот позор, — сказал себе капитан, когда понуро, засунув руки в карманы, шел на улицу Независимости.

Пребывая в таком настроении, он узнал от Серафины, что Эвелия и Фелиса мертвы и зарыты на заднем дворе. (Серафина так и не рассказала капитану, что случилось с Бланкой, и испытывала угрызения совести всякий раз, когда он, ни о чем не подозревая, спрашивал, откуда взялся трупный запах.) Серафина начала разговор словами:

— Я хочу тебе кое-что рассказать, потому что между нами не должно быть секретов...

и так далее.

Когда новость была ему сообщена, капитан сказал:

— Отлично. Осталось только, чтобы померли остальные тринадцать, и можно будет закопать их на заднем дворе.

Несколько месяцев спустя на суде капитан утверждал, что сказал это в шутку. Судья ему не поверил.

Восемнадцатого сентября Серафина позвонила дону Сиренио Пантохе и сказала, что, “к большому сожалению”, ее сестра передумала и решила не продавать женщин. Дон Сиренио говорит, что понял по тону Серафины: поднимать цену бессмысленно. Он подумал, что сестры либо продали женщин другому покупателю, либо и впрямь передумали продавать.

XIII
Закон войны

1

Каждый год двадцать четвертого сентября одна из женщин, Мария дель Кармен Регулес, навещала свою мать по имени Мерседес.

Обычно за два дня до этого Мария дель Кармен просила у Серафины разрешения не работать вечером двадцать четвертого сентября, а у Арканхелы — свои деньги, которые хозяйка для нее "хранила", или, когда сумма оказывалась слишком мала — давала в долг. Мария дель Кармен говорит, что до последнего года не встречала препятствий: Серафина всегда давала разрешение, а Арканхела — деньги. Двадцать третьего числа Мария дель Кармен шла на рынок, покупала цветы, преимущественно гладиолусы, которые та, кому они предназначались, получала немного увядшими, покупала отрез на платье, шаль или туфли. Следующий день начинался для нее с восходом солнца, потому что Мария дель Кармен добиралась до ранчо, где жили ее родные, на трех автобусах. Из третьего автобуса она выходила на плешивом косогоре и шла по едва приметной тропинке до одинокого хинного дерева. Отсюда уже были видны дома и заросли нопаля.

Каждый год собаки не узнавали Марию дель Кармен, каждый год мать и невестки выходили из кухни их утихомирить, и каждый год, встретившись, женщины плакали, шли на кухню, устраивались возле жаровни и разговаривали: кто-то умер, у кого-то родился ребенок, погиб урожай. Мужчины возвращались с поля в середине дня, семья садилась обедать, Мария дель Кармен помогала накрыть на стол. О занятиях дочери знала только мать — она и продала Марию дель Кармен, — а остальные думали, что она работает служанкой. Вечером пили чай из апельсиновых листьев с алкоголем и постепенно пьянели. На следующий день, как только вставало солнце, Мария дель Кармен отправлялась обратно в публичный дом.

В тот год двадцать второго сентября она попросила у Серафины разрешения съездить на ранчо, и Серафина впервые ей отказала.

— Моя сестра, — сказала она, — решила, что на улицу будут выходить только те, кого Калавера берет с собой на рынок, больше никто.

Она не объяснила причину запрета и не сказала, сколько он продлится. Мария дель Кармен не осмелилась задавать во-

просы, потому что, как и все работницы, боялась сестер Баладро. Вместо этого она рассказала другим женщинам, что Серафина запретила ей ехать на ранчо и что никто, кроме тех двоих, которых Калавера берет с собой на рынок — а это всегда были одни и те же, — не сможет выходить на улицу. Эти разговоры, многократно повторившись в унынии закрытого публичного дома, привели к тому, что одиннадцать женщин, лишенные привилегии, почувствовали себя пленницами, но, что важнее, — пленницами сплоченными.

2

Роса Н. и Марта Н. — так звали двух женщин, которые выходили с Калаверой за покупками. Роса фигурирует на венерологических осмотрах в Сан-Педро-де-лас-Корьентес под именами Маргарита Роса, Роса да лас Ньевес и Мария де Росаль. В борделе ее звали просто Роса. Она слыла паинькой. Когда публичные дома еще работали, Роса (как рассказывают те, кто с ней общался), чтобы подольститься, первая спускалась из комнаты и представала перед хозяйкой — Серафиной или Арканхелой, потому что поработала у обеих. Если хозяйка находила какой-нибудь изъян в ее внешности: ободранный лак на кончиках ногтей или неподходящую по цвету ленту в волосах, Роса с готовностью возвращалась в свою комнату — кроме нее, никто этого не делал — и старалась все исправить. В неработающих борделях Роса отличалась тем, что делала тяжелую, неблагодарную и ненужную работу, например, мыла засаленные кастрюли с внешней стороны или таскала с рынка самую тяжелую корзину.

Еще Роса была известна как доносчица, стукачка. Эту славу она обрела в двух эпизодах: один раз пьяный клиент снял часы и положил на стол, а одна из сидевших рядом женщин взяла их и спрятала. Видела это только Роса. Еще до закрытия заведения объявилась Арканхела, заставила виновницу вернуть украденное и наложила на нее штраф, который та выплачивала целых полгода. В другой раз официант публичного дома на Молино, Кармело Н., придумал, как обманывать Серафину: он раздавал своим сообщницам фишки за воображаемые заказы в баре, а те меняли у Серафины фишки на деньги и делились с Кармело. Их частный бизнес процветал, пока Кармело не совершил ошибку и не предложил поучаствовать в нем Росе. На следующий день его уволили.

Других добродетелей, кроме услужливости и склонности к доносам, Роса не имела. Бледная и вечно простуженная (по словам Калаверы, она сморкалась, “как иерихонская труба”),

Роса имела вид великомученицы. Мужчины, которые к ней подходили, были либо слишком пьяны, либо плохо видели в обманчивом свете кабаре. За столом, как говорят те, кто ее знал, любимой темой Росы были жалобы на судьбу, которая обошлась с ней очень жестоко.

— Жизнь сыграла со мной злую шутку, — постоянно повторяла она.

Очень немногие мужчины решались подняться к Росе в комнату, и уж совсем немногие побывали в этой комнате дважды.

Сестры Баладро терпели Росу десять с половиной лет отчасти за угодливость, отчасти за доносы, но в основном потому, что не могли от нее избавиться. Сначала они передавали ее друг другу, потом несколько раз пытались продать, но покупатели, увидев Росу, от нее отказывались. Наконец Баладро отчаялись и стали использовать ее для отпугивания неприятных и неплатежеспособных клиентов.

Поскольку Роса зарабатывала чистые гроши, то за десять лет у нее скопился самый огромный долг из всех, зафиксированных в блокноте Арканхелы, — сорок пять тысяч четыреста песо. Жадность не подчиняется логике, и, возможно, поэтому Арканхела питала надежду, что в один прекрасный день Роса похорошеет и отработает все свои долги.

3

Ошибка Росы состояла в том, что она в недобрый час прошла по коридору, в который выходили двери всех комнат.

Аурора Баутиста, одна из женщин казино "Дансон", узнала из разговора с Марией дель Кармен, что никого, кроме двух помощниц Калаверы, не будут выпускать на улицу, и решила бежать.

Она поделилась идеей с тремя подругами, и те захотели к ней присоединиться. Несколько раз они собирались в комнате одной из соучастниц, чтобы обсудить свой план. Было решено бежать ночью, между одиннадцатью, когда все уже легли спать, и двенадцатью, когда уходил последний автобус в Педронес. Выйти из дома тем же способом, что Баладро, они не могли, потому что для этого нужен был ключ от столовой, а он всегда висел на груди у Серафины; перелезть через забор означало приземлиться на чужом заднем дворе среди чужих собак; оставался один способ: подняться по приставной лестнице на крышу казино, перепрыгнуть на крышу сеньоры Бенавидес, с нее быстро спуститься на первый этаж и выйти через дверь, запертую на внутренний засов.

В доме была одна приставная лестница – она хранилась в каморке, где спал Тичо. Все знали, что Тичо спит, как бревно.

В тот вечер, когда подруги договорились бежать при помощи приставной лестницы, они услышали за дверью шорох, как будто кто-то стоял в коридоре рядом с их комнатой. Все замолчали. Лус Мария, хозяйка комнаты, тихонько встала и распахнула дверь. Непосредственно за дверью никого не было, но в нескольких метрах от нее по коридору удалялась Роса...

Женщины некоторое время обсуждали, могла ли Роса их слышать, но пришли к выводу, что не могла. Однако после тревожного происшествия они решили бежать, не мешкая, в ту же ночь.

Можем представить себе их пожитки: тряпочные сумки, перевязанные картонные коробки и прочее. Каждая взяла с собой только самое ценное: оранжевое платье, плюшевую жилетку, расшитую стеклярусом сумку, лаковые туфли (при выборе они учитывали, что придется прыгать и, возможно, бежать). Женщины рассказывают, что скопленных и поделенных денег им должно было хватить на дорогу до Педронеса, и оставалось еще сорок пять песо. На эти деньги они собирались продолжить путешествие, пока не знали куда, но главное – подальше от Консепсьон-де-Руис.

Ночью, когда все стихло, женщины встретились в коридоре, босиком спустились по лестнице и перешли двор. Одна из них, Лус Мария, признается, что подобрала большой круглый камень, который ей пришлось тащить двумя руками, чтобы ударить Тичо по голове, если он начнет просыпаться. Тичо спал, но они на ощупь обнаружили, что лестницы на обычном месте нет.

Растерянные подруги вышли из каморки Тичо и собрались на темной кухне. Они посовещались шепотом и пришли к выводу, что их предала Роса. Пленниц охватила ярость.

Следующая сцена была, видимо, такой: на большой кровати в темной комнате спит женщина; дверь тихо открывается – с тех пор как казино закрылось, Баладро сняли во всех комнатах задвижки, так что запереться нельзя, – в слабом свете видно, как порог пересекает несколько силуэтов; дверь снова закрывается.

Неизвестно, когда проснулась Роса: когда зажегся свет, когда с нее сорвали одеяло или когда начали бить. Неизвестно даже, били ее при свете или в темноте. Никто также не знает, онемела ли Роса со страху, или нападавшие велели ей помалкивать, или она громко кричала, но никто не услышал.

– Они избили ее туфлями, – говорит об этой мести Калавера.

Раны на теле Росы образовались от ударов высокими острыми каблуками.

На следующее утро, когда все, кроме Росы, пришли на кухню завтракать, Калавера поднялась в ее комнату узнать, что случилось. Подойдя к двери, она услышала стон. Роса лежала, накрытая покрывалом, почти без сознания. На ее лице ран не было, но все тело, и особенно ягодицы, покрывали синяки и ссадины, которые со временем, и при отсутствии необходимой обработки, загноились и превратились в незаживающие язвы.

4

Роса не знала (а может, не хотела говорить), кто ее избил. Сестры Баладро решили сурово наказать за такое "бесчинство", вот только не знали кого — значит, Роса не выдала плана побега, а лестницы на месте не оказалось по чистой случайности, — и не нашли способа это выяснить.

Женщина, которая в тот день прислуживала за столом хозяек, утверждает, что именно капитан надоумил Баладро, как раскрыть имена преступниц.

Работницы видели, как капитан ходил по заднему двору, смотрел в землю, время от времени нагибался, поднимал камень, взвешивал на ладони и складывал в отдельную горку округлые, не слишком тяжелые, но и не слишком легкие экземпляры. Потом он осмотрел пол во всех помещениях и выбрал чулан. (Чулан находится между угольной каморкой и кухней. Он остался еще от старой постройки. Пол в нем выложен мелкими ребристыми камушками.)

Сестры собрали женщин в чулане, и Арканхела спросила:

— Кто избил Росу?

Никто не ответил. Арканхела велела женщинам встать на колени, на ребристый пол, и, когда они подчинились, присутствующий при этом капитан объяснил, как они должны держать руки: вытянуть вперед крест-накрест ладонями вверх. Они исполнили приказание, капитан и Калавера положили на каждую протянутую ладонь по камню.

Женщину, уронившую камень, Арканхела ударила розгой. (Это было первое телесное наказание, примененное в казино "Дансон". Розги капитан собственноручно нарезал в тот день в зарослях акации.) Меньше, чем через пятнадцать минут, виновные сознались, остальных освободили.

Калавера отвела Аурору Баутисту, Лус Марию, Марию дель Кармен и Сокорро в салон "Багдад", где их подвергли еще одному наказанию, тоже изобретенному капитаном: каждая по оче-

реди била других, пока все не оказались такими избитыми, что несколько дней не могли шевелиться.

(За все двадцать три года службы капитана никто не видел, чтобы он применял телесные наказания, а его сослуживцы и подчиненные ни разу не замечали за ним жестокости.) Когда на суде капитана спросили об его участии в "наказании" и в избиении женщинами друг друга, капитан признал свое авторство в обеих выдумках и пояснил:

— Я считал, что эти женщины нарушили субординацию, их нужно было изобличить и примерно наказать.

— И вы одобряете свои действия в этом эпизоде?

— Да, сеньор.

5

На другой день после "примерного наказания" вместо ожидаемого затишья произошло другое нарушение субординации.

Дело было так: Марта Энрикес Дорантес, вторая женщина, которой было разрешено ходить на рынок с Калаверой, выжимала в ванной постиранную одежду, когда поняла, что несколько товарок молча стоят вокруг нее без всякой видимой причины.

Она едва успела это понять, как они на нее набросились. Поскольку нападавших было четверо, то справились они быстро. Ее положили на пол, заткнули рот, связали мокрой одеждой, которую она только что постирала, подняли и понесли убивать необычным способом. В углу заднего двора был старый туалет, которым много лет никто не пользовался. Женщины доволокли Марту до этой развалюхи, содрали доски, закрывавшие отверстие, и начали заталкивать ее в дыру. (По этому описанию можно сделать вывод, что нападавшие собирались похоронить жертву заживо.) Ее спасла полнота. Марта — женщина очень крупная, и, несмотря на все усилия, они не смогли пропихнуть ее в дыру. Они как раз трудились над своей задачей, когда появилась Калавера.

В этом случае последовало не наказание, а изоляция. Сестры Баладро постановили, что четыре женщины, напавшие на Марту, будут отправлены на ранчо Лос-Анхелес и заперты в амбаре, в то время как тех четверых, что атаковали Росу, заперли на висячий замок, каждую в своей комнате.

Капитан Бедойя решил, что запертых женщин нужно охранять по ночам с оружием и что один из его подчиненных, которому он доверял — Оторва Николас, — будет на всякий случай оставаться на ночь в казино "Дансон" в распоряжении сестер Баладро.

XIV
Что наделал Теофило

1

Теофило Пинто, муж Эулалии Баладро — человек меланхоличный, со скорбным лицом страдальца, который "всю жизнь честно работал не покладая рук, чтобы три раза разориться и закончить жизнь в тюрьме".

Объясняя свои действия, он говорит:

С хозяйственной точки зрения, ранчо Лос-Анхелес было обречено. Виноваты в этом мои невестки, потому что не дали мне обещанных денег. Они посулили мне открыть в банке счет на мое имя и положить на него пятнадцать тысяч песо, чтобы я мог снимать деньги по мере необходимости и тратить по своему усмотрению на разные нужды. Вы видели этот счет? Видели пятнадцать тысяч песо? Я тоже не видел.

Каждую субботу они присылали Тичо ровно с такой суммой, чтобы расплатиться с батраками. Если у меня случались непредвиденные расходы, мне приходилось платить свои деньги, а потом посылать им счет через того же Тичо, чтобы они вернули мне их.

Было все плохо, да в середине октября стало еще хуже. Однажды пришла суббота, наступил полдень, а Тичо так и не появился. Мы с батраками сели на краю оросительной трубы и смотрели на шоссе, на проходившие мимо автобусы, но ни один из них не остановился, чтобы выпустить Тичо с деньгами. На закате я не вынес стыда, пошел в дом, достал коробку, в которой Эулалия держала деньги на случай болезни, вернулся к батракам и отдал каждому по десять песо.

— Потерпите, ребята, — говорю. — В понедельник я заплачу все остальное.

Они ушли понурые, уже почти ночью, каждый с десятью песо.

Все воскресенье я ждал известий от своих невесток, но они не подавали признаков жизни. Я хотел поговорить с ними, объяснить, что происходит и что так дальше продолжаться не может, но они ведь так и не сказали мне, где живут.

В понедельник вернулись батраки и работали до полудня, но, увидев, что Тичо с деньгами так и нет, прекратили работать и ушли. Они приходили за жалованьем и во вторник, и в среду, но, поскольку я не мог им заплатить, они мне напакостили.

Я накрыл оросительную трубу четырнадцатью пластинами, чтобы вода не вытекала на дорогу. Так вот. Батраки, по-

теряв надежду получить свои деньги, вернулись ночью в среду и унесли все эти пластины.

На следующий день я проснулся, посмотрел в окно и первое, что увидел — ровную водную гладь вместо дороги. Мне не пришлось догадываться, кто это сделал: можно только умышленно приехать в такую даль, чтобы стащить четырнадцать пластин. Думаю, они еще и трактор повредили, потому что в четверг он встал посреди пашни и, как я ни бился, так и не заработал.

В отчаянии я пошел в дом.

— Очень мне хочется, — сказал я жене, — собрать чемоданы, выйти с тобой на шоссе, сесть в первый попавшийся автобус и уехать куда глаза глядят, лишь бы не видеть больше ни этого ранчо, ни твоих сестер.

Так и надо было сделать, да мы не сделали.

Эулалия не хотела обижать сестер, а я не настоял, все надеялся, что они отдадут мне долги. А еще хотел увидеть, как взойдет пшеница, которую я посеял.

В следующий понедельник мы обедали на кухне и вдруг слышим — какая-то машина сигналит так, будто просит помощи. Мы вышли на крыльцо и видим: синий автомобиль, в котором всегда ездили невестки, застрял в грязи на дороге. В нем было полно народу. Мне пришлось собирать камни и укладывать в лужу, чтобы Арканхела вышла из машины, не испачкав туфли. Когда она выбралась на твердую почву, я стал ей выговаривать за то, что не прислала мне в субботу жалованье, сказал, что батраки ушли. Она меня перебила:

— Подожди. Мне нужно сказать тебе что-то посерьезнее.

Мы с ней немного отошли, чтобы те, кто был в машине, нас не слышали. И тогда она мне сказала вот что:

— В машине приехали девушки, которые себя очень плохо вели. Мне нужно отделить их от остальных, чтобы не забивали другим головы всякими глупостями. Хочу оставить их здесь на несколько дней, пусть образумятся.

Тогда я заметил, что на заднем сиденье сидят четыре женщины и очень странно на меня смотрят. Они были напуганы.

Арканхела оставила мне такие наставления:

— Держи их под замком. Корми, чем хочешь. Если увидишь, что какая-нибудь из них собралась бежать, доставай карабин и стреляй.

2

Амбар на ранчо Лос-Анхелес — это длинное помещение с цементным полом, голыми корявыми стенами и бетонным по-

толком. Света внутри очень мало, он проходит через слуховое окно над деревянной дверью, запирающейся снаружи на щеколду и висячий замок. В слуховое окно вставлен железный крест, между его прутьями человеку не пролезть.

Приготовив амбар для четырех женщин, Теофило вытащил оттуда все, что могло помочь побегу — веревку, скамейку, лестницу, — и все, что могло служить оружием — кайло, табуретку, лопату. Внутри остались в изобилии кукурузные початки и горка соломы.

Теофило дал женщинам несколько циновок, которые они разложили на полу. Они привезли с собой покрывала, но все равно мерзли, потому что слуховое окно не закрывалось, а ноябрь стоял очень холодный (четыре раза случались заморозки). Все четыре женщины простудились, но через несколько дней выздоровели.

Неясно вот что: как два человека, так гордившиеся своей порядочностью, супруги Пинто, безропотно согласились на роль тюремщиков. Частично эту тайну объясняет чек на две тысячи песо, предъявленный Теофило к счету Арканхелы Баладро в Банке-де-Абахо города Педронеса третьего ноября. Начиная с этой даты нет никаких свидетельств о том, что Теофило пытался нанимать новых батраков. Большая часть земли, уже вспаханная, осталась незасеянной. Единственные сельскохозяйственные работы, которые были доведены до конца, выполнил Тичо, которому Баладро приказали бросить работу, больше не таскать мешки, а выходить каждое утро на ранчо и "делать, что скажут". Это он собрал початки кукурузы, сваленные в загоне, сложил в мешки и перенес в дом, это он, надев резиновые сапоги, брал в руки лопату и стоял целый день в воде, поливая пшеничные всходы. Теофило в это время был целиком занят починкой трактора и часами вращал ручку, не добиваясь ничего, кроме холостых выхлопов.

Четыре женщины прожили в амбаре три недели, в течение которых, по всей видимости, ни Эулалия, ни Теофило их не истязали. Жизнь пленниц была устроена так: рано утром Теофило открывал дверь и разрешал им ненадолго выйти в поле, чтобы справить нужду и, если надо, помыться водой из колодца. Потом запирал их снова. Примерно в девять Теофило открывал дверь, и входила Эулалия с едой. Пленницы ели лепешки, фасоль, соус чили и пили чай из апельсиновых листьев. Они не наедались, но и не голодали. Эулалия возвращалась за пустой посудой и сама ее мыла. Женщины весь день сидели взаперти. В шесть Теофило снова выпускал их в поле, после чего они возвращались в амбар, ужинали теми же блюдами и в том же количестве, и после того, как Эулалия

уносила посуду, Теофило запирал дверь на висячий замок уже до следующего утра.

Отношения между супругами Пинто и пленницами установились довольно мирные. Теофило сказал им:

— У нас с вами нету ни вражды, ни споров. Вы здесь пробудете несколько дней, потому что так приказала донья Арканхела. Еще она приказала вас никуда не отпускать. Оставайтесь спокойно в этом доме, где вас никто не обижает, где вы ни в чем не нуждаетесь, и все будет хорошо.

Одна из женщин набралась смелости и спросила, сколько их продержат взаперти, на что Теофило ответил:

— Это как захочет донья Арканхела.

3

Тичо встает до зари, и это ему нравится, он предпочитает проводить день в поле, а не таскать на складах мешки; в своем новом наряде он смахивает одновременно и на вышибалу, и на крестьянина — дырявая майка, шерстяной костюм, кожаные сандалии и широкополая шляпа. Он выезжает из Консепсьон-де-Руис первым автобусом. Когда он добирается до ранчо, уже светает. В это время все спят, кроме собаки, которая на него не лает. Тичо достает из-под навеса и надевает сапоги, идет с лопатой к оросительному крану и смотрит, какие препятствия встретила на своем пути вода и куда успела добраться за ночь.

В тот день и час, которые нас интересуют, Тичо стоял у конца трубы, рядом с шоссе. Можем представить себе, что он видит впереди:

От того места, где он стоит, параллельно уходят вдаль дорога и оросительная труба. Дорогу развезло, сплошная грязь и лужи; труба идет по краю поля, она заросла травой. Эти две линии делят ранчо пополам. Справа от Тичо засеянный и политый участок: черная земля с крошечными всходами зеленой пшеницы. Слева — заброшенная пашня, пепельно-черная почва, похожая на скальную породу. На другом конце трубы и дороги — колодец, рядом с ним — амбар, а рядом с амбаром — дом. Дом выкрашен в белый цвет, по фасаду два окна и крыльцо, амбар кирпичного цвета, его дверь заперта. Чуть левее дома навес, под ним — красный трактор.

Стоит ранее утро. На небе ни облачка. Холодно.

Из дома выходит человек, подходит к амбару и распахивает большую дверь. Одна за другой из амбара медленно выходят четыре фигуры, завернутые в какие-то тряпки. Останавливаются на секунду на солнце, потом идут к изгороди, поднимают юбки и садятся в ряд на корточки. Фигура, кото-

рая открывала дверь, двигается в сторону навеса, наклоняется над трактором, делает резкое движение, над выхлопной трубой появляется белое облачко. Слышен холостой хлопок, больше ничего. На пороге дома появляется вторая фигура и стоит на месте неподвижно.

Тичо принимается за дела, втыкает лопату, отковыривает комок земли, делает проход для воды, укрепляет край и идет дальше. Он не поднимает голову до тех пор, пока не раздается крик.

Когда он снова смотрит на ту же сцену, ситуация изменилась. Четыре женщины, ранее сидевшие на корточках, теперь бегут по заброшенной пашне. Тичо понимает, что они стараются пересечь ее наискось, чтобы выбежать на шоссе в самой дальней от него точке. Фигура, которая стояла на пороге, исчезла. Та, что была под навесом, двигается к крыльцу. Четыре фигуры бегут теперь по полю врассыпную. Бежать трудно, ноги подворачиваются, проваливаются между комьями, они бегут, но топчутся на месте. Две другие фигуры — на крыльце. Та, что входила в дом и снова вышла, передает той, что двигалась от навеса, какой-то предмет, который вторая фигура берет двумя руками.

Потом она выпрямляется и на мгновение замирает. Не видно ни огня, ни дыма. Звуки выстрелов застают Тичо врасплох, он испуганно вздрагивает.

XV
Н*евезение*

1

— Сеньор дон Теофило велел сказать, что эти четыре женщины, которых вы на него оставили, стали убегать, и он по вашему приказанию выстрелил в них из того карабина, который вы ему дали для охраны коров. Одна померла сразу. Вторая помирает. Две другие сдались, и мы их снова заперли. Вот такая новость. Еще дон Теофило говорит, что ждет ваших приказаний.

Такими словами, *mutatis mutandis*[1], меньше чем через час Тичо сообщил Арканхеле о случившемся. Мы можем себе представить, какие слова произнесла в ответ Арканхела. Она не признавалась ни тогда, ни потом, не признается и теперь,

1. С изменениями, с оговорками (*лат.*).

что употребляла слово “карабин” применительно к четырем женщинам, привезенным на ранчо Лос-Анхелес.

— Я ему сказала, чтобы заботился о них, обслуживал, не дал сбежать, но не говорила, чтобы он в них стрелял.

Сейчас она называет Теофило не иначе, как “этот недоумок, мой зять”.

Нужно заметить, что ни Лестница, отвозивший женщин на ранчо, ни Эулалия, которая вышла вместе с Теофило, когда автомобиль увяз в грязи, не слышали, чтобы Арканхела упоминала карабин.

Но результат от этого не меняется: Арканхела дала Теофило карабин, привезла женщин на ранчо, и Теофило стрелял в них, считая, что выполняет ее приказ.

После этой новости Арканхеле стало плохо, — заболела от злости, как объясняет она сама, — ей пришлось лечь, и Калавера поила ее в постели успокоительным настоем. По словам Калаверы, Арканхела тогда сказала:

— Сдается мне, Калаверита, мы влипли.

Пока Арканхела приходила в себя, Лестница повез Серафину и Тичо на ранчо. Раненая умерла до их приезда.

Никто не помнит, чтобы Серафина ругала Теофило за содеянное. Она ограничилась тем, что считала необходимым: обошла поле в сопровождении Тичо с лопатой и киркой на плече и выбрала нужное место. Это место находилось вдали от шоссе, у самой межи, кусты нопаля загораживали его от любопытных глаз (хотя смотреть было некому). Серафина велела Тичо выкопать здесь могилу.

Пока он работал, Серафина вернулась в дом. Она решила, что ни Теофило, ни его жена не способны “заботиться о женщинах”, поэтому велела зятю открыть амбар, посадила оставшихся в живых в машину и вернулась с ними в город. Заперев их по комнатам, она опять приехала на ранчо, чтобы присутствовать при захоронении.

Одежду убитых сложили и сожгли. Тичо, Лестница и Теофило, который сначала отказывался принимать в этом участие, перенесли завернутые в покрывала трупы из-под навеса в могилу. Когда Тичо и Лестница закопали могилу и, по возможности, скрыли следы, Серафина немного успокоилась. Темнело. Погода была холодная. Эулалия пригласила всех в дом поесть (мужчины проголодались), но Серафина не захотела, сказав, что пора возвращаться в город. Они пошли к машине и там попрощались: Серафина поцеловала сестру, Теофило открыл невестке дверцу и, как утверждают свидетели, спросил:

— Какие указания мне оставишь?

— Никаких, — ответила Серафина. — Когда Арканхела поправится, она решит, что с тобой делать.

Сказала, и они уехали. Теофило и Эулалия остались на ранчо с двумя преступлениями на совести, с двумя трупами, зарытыми рядом с межой, в пятидесяти шагах от дома, и с тяжелым чувством, что не угодили своим работодательницам.

2

В течение последних недель женщин в казино "Дансон" несколько раз делили на разные группы в зависимости от непредсказуемых капризов Арканхелы.

Четверых, избивших Росу, изолировали, как зачумленных. Какое-то время они занимали самую низшую ступень в иерархии публичного дома: жили взаперти, поодиночке, в самых темных комнатах. Калавера носила им два раза в день лепешки и фасоль в таком количестве, что они всегда оставались голодными. И наоборот, Марта и три женщины, которые не принимали участия в нападениях, могли свободно ходить по дому и даже имели право, проголодавшись, зайти на кухню и сделать себе бутерброд. Недоступной оставалась улица, куда троим из них выходить запрещалось. Из дома выходила только Марта, сопровождая Калаверу на рынок. Роса, по-прежнему больная, не могла двигаться и лежала в постели, и за ней довольно сносно ухаживали. Эти женщины и их хозяйки питались скромно, но прилично: лепешки, фасоль, суп-лапша для желающих, иногда, два-три раза в неделю, тушеное мясо, особенно если на ужин оставался капитан Бедойя (на завтрак Калавера всегда варила ему яйцо, остальные видели его уже сваренным всмятку на тарелке капитана). В девять вечера приезжал Оторва. Капитан приказал ему приезжать к Баладро в штатском, но штатской одежды Оторве не хватало, поэтому он часто являлся в военной рубашке, с выцветшим, но различимым номером части на воротнике. Оторву Калавера баловала. Она жарила ему на ужин яичницу с соусом чили-каскабель, подавала стопочку лепешек и кружку чая из апельсиновых листьев, чтобы он, как говорила Калавера, "не мерз". Считалось, что Оторва охраняет четырех запертых женщин. На деле он заворачивался в плащ и крепко спал, заняв половину лестницы и бросив рядом автоматическую винтовку.

Когда Теофило убил двух женщин, ситуация изменилась. Теперь самую низшую ступень заняли выжившие. Поскольку они стали свидетелями убийства, с ними обращались, как с преступницами. Их заперли в "темных комнатах", есть давали только то, что оставалось в кастрюлях после всех едоков,

то есть почти ничего, и никуда не выпускали. Их так успешно изолировали, что все остальные в течение нескольких месяцев не знали ни об их присутствии в доме, ни о том, что случилось на ранчо.

Подвергнув привезенных с ранчо женщин такому суровому наказанию и полной изоляции, Арканхела, наоборот, смягчила условия тем, кто избил Росу (хотя Роса по-прежнему лежала больная), и разрешила им днем выходить из комнат, есть досыта на кухне, общаться между собой и с другими обитателями дома. После ужина они возвращались в свои комнаты, и Калавера запирала их до следующего утра.

Похоже, что Калавера вызвала ненависть женщин именно тем, что запирала их на ночь, потому что до этого они вполне уживались, хотя ни у кого никогда не возникало сомнений: Калавера безраздельно и полностью на стороне Баладро и, следовательно, пленницам враг.

Похоже, не было ни ссор, ни провокаций. Неизвестно, чего хотели добиться четыре женщины. А случилось вот что. Однажды утром после завтрака эти четверо мыли на кухне посуду, когда вошла Калавера. По ее словам, едва переступив порог, она поняла, что ее поджидают; работницы же твердят, что ни о чем не договаривались. Калавера говорит, что не произнесла ни слова, работницы уверяют, что она их оскорбила, обратившись к ним со словами: “Ну что, чокнутые!”. Так или иначе, но прежде, чем Калавера успела отреагировать, Аурора Баутиста ударила ее кастрюлей по лицу, а другая (жертва не видела, кто именно) — черпаком по голове.

Похоже, что четыре женщины решили проделать с Калаверой то же, что другой четверке не удалось с Мартой: засунуть ее в заброшенное отхожее место и похоронить заживо. (Стоит отметить, что эта попытка имела больше шансов на успех, поскольку Калавера гораздо стройнее Марты и легко пролезала в дыру.)

К счастью для всех участниц, затея сорвалась. Женщины тащили на руках полубесчувственную Калаверу в сторону заброшенного нужника, когда на заднем дворе натолкнулись на Арканхелу — она, покормив кур, возвращалась в дом. Последующие события наглядно показывают, каким авторитетом пользовалась сводница даже в ту пору. Едва увидев ее, все четверо растерялись и беспрекословно выполнили все ее приказания. Арканхела даже не сочла нужным выпускать из рук миску. Она велела отнести Калаверу в ее комнату, положить на кровать и сказать Серафине, чтобы оставила свое шитье, поднялась из столовой и заперла женщин в их комнатах.

Вечером за наказанием следил капитан Бедойя. Оно заключалось в том, что четыре провинившиеся женщины избивали друг друга черпаком. Именно в этот раз, подчиняясь какому-то темному инстинкту, Аурора Баутиста несколько раз ударила Сокорро по губам и сломала ей зубы. Мария дель Кармен крикнула: “Ты ее убьешь!”, и капитан вмешался и отнял у Ауроры черпак. (На суде капитан упоминал об этом как об акте гуманности.)

3

В середине декабря капитан Бедойя должен был ехать в Мескалу, чтобы уладить одно дело, связанное со службой. Перед отъездом ему пришли в голову два соображения: первое — что за номер в гостинице не нужно платить больше, если спишь в нем не один; и второе — что обстановка в казино “Дансон” с каждым днем накаляется, и Серафине после долгих месяцев нервного напряжения нужен отдых. Капитан позвал ее с собой, и она согласилась.

Они отправились на лучшем автобусе. Капитан проявил галантность, уступив Серафине место у окна, и совершил благодеяние, которое не совершал никогда и ни для кого — вышел на остановке и купил Серафине фрукты в глазури, ее любимое лакомство, на собственные деньги. Капитан был в военной форме. Серафина повязала красную косынку, чтобы не растрепались волосы.

Капитан говорит, что, как только автобус тронулся, Серафина, похоже, забыла все беды, успокоилась, увлеченно смотрела в окно и часто вскрикивала: “Смотри, какой огромный утес!” или “Как люди живут в такой глуши?”. Все это, по мнению капитана, свидетельствовало о том, что Серафина мечтала бросить сводничество и заняться сельским хозяйством.

В восемь вечера они приехали в Мескалу. Капитан по-прежнему был очень любезен. Он отказался от мысли остановиться в гостинице рядом со станцией, где “дешево, но слишком шумно”. Они взяли такси (платил капитан) и приехали в центральную, относительно приличную гостиницу. Настроение у капитана не испортилось даже тогда, когда администратор назвал цену за номер. Капитан велел показать несколько номеров, чтобы Серафина могла выбрать. Им понравилась комната с балконом, с которого был виден маленький парк со скамейками и портик собора.

Серафина сняла платок, и капитан повел ее ужинать в знаменитую пивную.

На следующий день он провел в штабе почти всю первую половину дня. Серафина пошла на рынок и купила в подарок

сестре местных сладостей. Возвращаясь в гостиницу в полдень, капитан издалека увидел, как она, улыбаясь, машет ему с балкона рукой. Он говорит, что давным-давно не видел ее такой довольной.

После обеда они пошли в кино, потом снова расстались: капитан вернулся в штаб, чтобы дальше заниматься делами, а Серафина отправилась в гостиницу. Она так рассказывает о случившемся. Уже смеркалось, она шла по улице, название которой не помнит. Было людно. Вдруг она уловила на противоположной стороне улицы что-то, что ее насторожило, — силуэт, жест (она сама не знала, что именно). Она продолжала идти, пока не сообразила, что увидела в толпе Симона Корону. Ярость, таившаяся в ней все эти годы, вырвалась наружу и наполнила рот такой горечью, что ей пришлось остановиться и сплюнуть. Серафина говорит, что снова ощутила унижение той ночи в Акапулько, когда вошла, встревоженная, в магазин, увидела другую дверь и поняла, что Симон ее обманул. Говорит, что ее снова охватила нестерпимая жалость к себе: сколько добра она ему сделала, и какой неблагодарностью он ей отплатил! Серафина уверена, что если бы у нее в сумочке был пистолет, то она принялась бы палить по пешеходам на другой стороне улицы. Но пистолета не было.

Она говорит, что словно обезумела. Быстро перешла улицу, уворачиваясь от машин, пнула локтем какого-то толстяка, загородившего ей дорогу, пробежала несколько метров до угла, остановилась и поглядела во все стороны, но ненавистный человек бесследно исчез.

Скитаясь по улицам, Серафина потерялась, ей пришлось спросить дорогу. Во время этих скитаний у нее созрел план мести.

— Разве можно оставить такое оскорбление безнаказанным? Это несправедливо.

Капитан Бедойя говорит, что, вернувшись в гостиницу, нашел Серафину совсем другой. Она не выглядывала с балкона, как он ожидал, а сидела на стуле в углу, почти в темноте. И смотрела на него. Было ясно, что она его поджидает. Как только он вошел, Серафина сказала:

— В моей жизни есть кое-что, о чем ты не знаешь.

Мы можем представить себе, как капитан снимает китель, идет в туалет и, не закрыв дверь, справляет малую нужду, а в это время Серафина стоит посреди комнаты и рассказывает изменившимся от эмоций голосом историю своих отношений с Симоном Короной (о его существовании капитан не знал). Звучат слова “насмешка”, “неблагодарность”, “непростительно” и так далее. Заканчивает она так:

– Пистолет, который ты мне продал, был мне нужен именно для того, чтобы убить этого человека.

И тут происходит удивительная вещь: вместо того чтобы сказать Серафине, что она говорит глупости, предложить ей успокоиться и забыть эту историю, капитан Бедойя соглашается и обещает помочь отомстить.

Похоже, весь следующий день Серафина провела на улицах Мескалы в поисках Симона Короны. Она его не встретила – позднее выяснилось, что Симона в те дни в городе не было, Серафине он просто привиделся. Капитан с трудом уговорил ее вернуться в Консепсьон-де-Руис. Но она не забыла ни своих намерений, ни обещания капитана помочь, поэтому через несколько дней Серафина, капитан, Оторва Николас и Лестница поехали в Сальто-де-ла-Тукспана (смотри главу 1).

(На суде капитан Бедойя утверждал, что путешествие в Сальто-де-ла-Тукспана имело целью "как следует припугнуть" Симона Корону, но не убить, как можно было подумать по количеству выстрелов из боевого оружия, произведенных Серафиной и Оторвой Николасом в булочной. Заявление Оторвы Николаса совпадает с показаниями капитана: он говорит, что, будучи отменным стрелком, при желании без малейшего труда попал бы в тех двоих, что лежали на полу за прилавком. Серафина же, наоборот, на вопрос судьи "Считаете ли вы, что этот человек, Симон Корона, заслуживал смерти за то, что заставил вас ждать его на углу, не имея намерения вернуться?" ответила утвердительно, а затем призналась, что, стоя на пороге булочной, стреляла в людей, но пистолет ее "подвел".

XVI
Появляется полиция

1

– Вы подозреваете кого-нибудь в этом нападении? – спросил следователь Сальто-де-ла-Тукспана забинтованного Симона Корону, посетив его в отделении скорой помощи.

Симон, не задумываясь, ответил, что это была Серафина. Когда у него спросили адрес подозреваемой, Симон назвал адрес публичного дома на Молино, потому что не знал о существовании казино "Дансон". С этого момента следствие отправляется в бюрократический путь, превращаясь в бумаги, которые месяцами лежат в ящиках письменных столов, множатся, ходят по кругу, перенаправляются, попадают в разные кабинеты и снова и снова кладутся в ящики разных письмен-

ных столов. В данном случае не знаешь, чему поражаться больше: извилистому пути правосудия или тому, что оно свершилось. Бюрократическая процедура достигает своей кульминации, когда дело попадает в руки инспектора полиции Консепсьон-де-Руис Теодуло Куэто в виде документа, который гласит: "Прошу доставить в прокуратуру штата Мескала сеньору Серафину Баладро Хуарес..." и так далее.

Первое, что сделал инспектор, получив приказ, — поговорил в буфете гостиницы "Гомес" с капитаном Бедойей. Инспектор Куэто отрицает сам факт такого разговора. Зато капитан Бедойя так описывает их диалог:

Инспектор предупредил меня, что получил приказ арестовать Серафину, поэтому ей лучше связаться со своим адвокатом. Я сказал, что не понимаю, откуда взялся приказ арестовать Серафину, и еще меньше — зачем ей адвокат. Инспектор ответил, что в Сальто-де-ла-Тукспана случилась стрельба и фамилия Серафины зафиксирована в протоколах. Услышав это, я сказал:

— Инспектор, я клянусь вам честью офицера мексиканской армии, честью моей безгрешной матери, что Серафина никого не знает в Сальто-де-ла-Тукспана, никогда не бывала в этом городе, не имеет понятия, где он находится, и, может быть, даже не подозревает о его существовании.

Инспектор поблагодарил меня за откровенность и сказал, что уверен в невиновности Серафины. Но он обязан ее арестовать. Я тоже поблагодарил его за предупреждение. Инспектор добавил, что, согласно полученному приказу, должен будет на следующий день вскрыть печати на дверях казино "Дансон" и проверить здание. Он сказал, что не сомневается: в доме все будет в порядке. Я заверил его, что так и будет. Что он найдет все в полном порядке. После этого мы попрощались.

Они попрощались, и капитан Бедойя, как только освободился, поспешил в казино. Новость, естественно, вызвала смятение. Калавера рассказывает, что Арканела набросилась на Серафину:

— Из-за того, что ты такая эгоистка, одна месть в голове, — примерно такие слова сказала она сестре, — мы теперь все пойдем ко дну.

Серафина ответила:

— Я не виновата, что родилась такой пылкой.

Были мобилизованы все силы и отданы срочные распоряжения. Тичо замесил в столовой раствор и начал заделывать дыру. Вызвали Лестницу. Женщинам приказали собирать вещи и домашний скарб, чтобы ночевать уже на ранчо Лос-Анхелес. Серафина пыталась связаться с адвокатом Рендоном, кото-

рый с этого момента исчезает из нашей истории. В течение следующих пятнадцати дней сестры Баладро пытались связаться с ним более тридцати раз, но безуспешно. Они растерялись. В присутствии свидетелей Серафина предложила сестре:

— Поедем в Соединенные Штаты.

Но они поехали на ранчо. За вечер Лестница совершил четыре поездки. Оставшиеся одиннадцать женщин опять оказались вместе. Они положили циновки в амбаре и легли спать под надзором Калаверы, внешне достаточно мирно. Было холодно. Утром обнаружилось, что у Росы жар. Калавера диагностировала простуду и в качестве лекарства приготовила чай из орегано. Роса его выпила. Казалось, ей полегчало, но через три часа она умерла. Тичо закопал ее у самой межи, в могиле, которую впопыхах вырыл рядом с двумя другими.

2

На следующий день, 14 января, инспектор Куэто вскрыл печати на дверях дома на улице Независимости и вошел в него в сопровождении трех людей в форме и одного пристава. Похоже, они обошли дом, не заметив ничего необычного. Полицейские провели в доме не более пятнадцати минут. В составленном акте даже не упоминается, что найденные на кухне лепешки никак не могли пролежать там два года.

Вечером инспектор Куэто поехал на ранчо Лос-Анхелес. Вода из оросительной трубы снова разлилась, дорогу развезло, машина застряла. Пока трое полицейских и пристав ее выталкивали, инспектор прошел двести метров, отделявшие его от дома. Арканхела и Серафина стояли на крыльце, как будто его поджидали. Куэто говорит, что еще до того, как он успел поздороваться с сеньорами, Арканхела сказала:

— Я дам вам десять тысяч песо, если вы скажете, что не смогли найти мою сестру.

Неизвестно, что ответил инспектор. (Сестры Баладро отрицают, что предлагали или дали ему взятку.) Этой ночью инспектор написал рапорт начальству, в котором говорится, что он вскрыл печати на дверях казино “Дансон”, проверил дом внутри и съездил на ранчо Лос-Анхелес, “но нигде не нашел разыскиваемую персону”. Тон рапорта категоричный. Тот, кто его читает, не зная всей истории, может подумать, что на этом следствие закончилось.

Но было не так. На следующий день инспектор Куэто вернулся в казино “Дансон” в сопровождении тех же трех сотрудников в форме и пристава.

(Здесь уместно заметить, что мотивы, приведшие инспектора Куэто в казино повторно, так же непонятны, как и те, что заставили его рассказать капитану Бедойе в буфете гостиницы "Гомес" о планируемом аресте. Сам он объясняет свои действия следующим образом:

Сеньора Арканхела предложила мне такую огромную взятку, что я подумал, не лежит ли на совести сеньор Баладро более тяжкое преступление, чем стрельба в Сальто-де-ла-Тукспана, где никто не погиб и не был серьезно ранен. Поэтому я решил вернуться в казино "Дансон" и осмотреть его более тщательно.)

Во время второго визита инспектор Куэто и его люди обошли все комнаты, они поднимались и спускались по лестницам, входили и выходили из кабаре, осмотрели кухню, обследовали чулан и добрались, наконец, до заднего двора. Им наверняка попалось множество следов недавнего пребывания в доме людей, но они искали другое. На заднем дворе инспектор принялся ходить взад-вперед.

Вдруг, говорит он, я почувствовал, что земля у меня под ногами продавливается.

Он велел позвать полицейского и приказал:

— Бери лопату и копай. Я хочу знать, что там внизу.

На метровой глубине из земли показалось то, что осталось от руки Бланки.

3

После этой сенсационной находки наступает перерыв в несколько часов: инспектор Куэто просит у Педронеса подкрепление и ждет, не предпринимая никаких шагов. Потом тратит время на различные меры предосторожности: группа стрелков должна отрезать подход к шоссе с южной стороны ранчо; другая группа стрелков должна защитить подход к ранчо с северной стороны и так далее. Инспектор входит в дом первым. Он в широкополой шляпе и в бронежилете, в руке пистолет. Дом пуст. Взломав дверь амбара, полиция обнаруживает запертых женщин, которые жалуются, что не ели больше суток.

Одна из пленниц, Аурора Баутиста, упоминает случайно услышанное от Баладро слово: "Ногалес". После этого инспектор впервые действует быстро. Он приказывает отвезти найденных женщин в полицейский участок, а сам с двумя агентами мчится на машине в Педронес.

Они приезжают на автобусную станцию как раз вовремя, чтобы задержать уходящий в Ногалес автобус. Инспектор Куэто входит в него, останавливается и смотрит по сторонам. Две

женщины, на двадцать третьем и двадцать четвертом местах, похоже, спят, их лица накрыты шалями. Это сестры Баладро.

4

Когда сестер Баладро доставили в полицейский участок в Консепсьон-де-Руис, их провели по коридору мимо кабинета, где давали показания освобожденные из амбара работницы. Говорят, что, увидев хозяек под конвоем, некоторые из них вскочили со скамейки, бросились к двери и стали кричать: "чертовы ведьмы", "брехуньи" и тому подобное. Эти оскорбления, прозвучавшие в коридоре, были первыми, которые сестры Баладро услышали от своих работниц.

Капитан Бедойя должен был встретиться с Серафиной в Ногалесе, на автобусной станции. Не зная, что сестры арестованы, он переночевал в казарме, встал рано, провел смотр солдат, позавтракал в гостинице "Гомес" и отправился в Коммерческий банк План-де-Абахо, точно к открытию.

Капитан заполнял документ для снятия сбережений со счета, когда в банк явились два агента. Они подошли к капитану, и один из них сказал тихо, чтобы не услышали служащие:

— Капитан, вы арестованы.

Агент говорит, что, услышав его слова, капитан Бедойя и бровью не повел. Порвал бумагу, положил на место ручку и протянул обе руки, чтобы агент смог надеть на него наручники. Но наручников у агента не было, поэтому трое мужчин вышли из банка под руку, как закадычные друзья после радостной встречи.

Оторва Николас, уверенный, что ни в чем не виноват, был взят под стражу в казарме. Лестницу, тоже считавшего себя невиновным, арестовали двумя днями позже, когда он обсуждал дело Баладро с другими шоферами на ступеньках церкви Святого Франциска. Тичо никто не выдал, никто его не искал. Он сам явился с повинной, когда узнал, что Баладро арестованы. Ему с трудом удалось добиться от полицейских, чтобы его посадили в камеру. Эулалия и Теофило Пинто могли бы скрыться, потому что у полиции не было их фотографий, если бы не надумали пересечь границу (хотели "спастись"). Из-за отсутствия паспортов их задержали в Техасе и передали мексиканской полиции, которой супруги сообщили свои настоящие имена.

Тюрьма Консепсьон-де-Руис, где в обычное время не бывает других арестантов, кроме пьяниц, которые по утрам подметают улицу и идут по домам, теперь обзавелась девятнадцатью заключенными.

Через несколько дней прибыл и двадцатый: Симона Корону привезли в Консепсьон-де-Руис для дачи показаний. Он пробыл там всего один день, потому что другой заключенный (оставшийся неизвестным) пырнул его ножом (рана была не смертельная), и Симона пришлось срочно перевести в больницу.

5

Роль инспектора Куэто в задержании сестер Баладро — еще одна темная страница нашей истории. Возможно, его поведение объясняется так:

Инспектор Теодуло Куэто, имя которого присутствует в блокноте Арканхелы в разделе "Выдано" (смотри Приложение 5), пытался в первую очередь исполнить свой долг, но в то же время предоставить сестрам Баладро несколько возможностей скрыться: он беседует с капитаном Бедойей в буфете гостиницы "Гомес", приходит в казино, когда там заведомо никого нет, не задерживает при встрече женщину, которую обязан задержать. Возможно, он получил от Арканхелы десять тысяч песо, но не для того, чтобы закрыть дело совсем, а чтобы дать сестрам два дня отсрочки. Возможно, в какой-то момент он передумал — например, когда нашел руку Бланки, — и решил ускорить операцию и произвести арест. Чтобы скрыться, сестрам Баладро не хватило суток.

Нужно признать, что такая версия никак не объясняет тот факт, что во время второго визита в казино "Дансон" инспектор обнаружил труп Бланки — произошло это, видимо, по чистой случайности.

XVII
П*риговор судьи* П*еральты*

1

Узнав о том, что ему поручено вести судебный процесс Серафины Баладро, Арканхелы Баладро и других, судья Перальта должен был в первую очередь разделить девятнадцать заключенных на две группы. Те, кто в показаниях жаловались на плохое обращение, стали считаться жертвами, а те, кто ни на что не жаловался, — обвиняемыми.

Следующий шаг состоял в физическом отделении жертв от обвиняемых. Шесть женщин, отнесенных к первой категории, были выпущены из камер и переведены в специальную комнату

в здании суда с незарешеченными, выходящими во двор окнами и с настоящими кроватями, одолженными в нескольких христианских семействах. Судья разрешил этим женщинам выходить на улицу, напомнив, что они обязаны присутствовать на всех юридических процедурах. Он также освободил их от обязанности есть пищу, приготовленную женой тюремщика – по общему мнению, абсолютно несъедобную, – и группа сеньоров из Консепсьон-де-Руис во главе с мэром собрала деньги, чтобы хозяйка одного из трактиров ежедневно носила в здание суда завтрак и обед в судках на шесть персон. Общественность была очень озабочена состоянием здоровья этих женщин, утверждавших в своих показаниях, что они год не ели досыта.

– Подождите, пусть только наши влиятельные друзья узнают, что вы с нами делаете, и мы еще посмотрим, кто окажется прав, – сказала Арканхела после того, как судебный секретарь прочитал ей обвинения, зафиксированные в протоколах.

Прошло два дня. Влиятельные друзья не появились, и Баладро не могли связаться даже с адвокатом Рендоном. У них не было защитника. Когда об этом стало известно, три женщины, которые прежде не имели жалоб, попросили у судьи разрешения добавить к своим показаниям, что начали работать у сестер Баладро, потому что те обманули их, приглашая на другую работу: двое приехали в дом на Молино, поверив, что будут служанками, а третья думала, что приехала на спичечную фабрику; в то время они были несовершеннолетними – десяти, двенадцати и пятнадцати лет, соответственно, – их принудительно оставили в публичном доме и никогда ничего им не платили.

В тот день, когда женщины дали новые показания, их освободили из камер и в дальнейшем считали жертвами.

2

Сначала Баладро отказывались давать показания без консультации со своим адвокатом. Поскольку время шло, а адвокат Рендон так и не появился, им пришлось отвечать на предварительном допросе без юридической помощи.

Вопрос: Как вы объясняете присутствие трех трупов на заднем дворе вашего дома?

Ответ: Ничего про это не знаем. Откуда нам знать, кто их там закопал.

Или:

Вопрос: Несколько женщин, которые на вас работали, утверждают, что вы морили их голодом. Они говорят, что вы

давали им одну лепешку и пять стручков фасоли в день. Что вы на это скажете?

Ответ: Это ложь. Мы давали им все, что едят люди. Даже суп-лапшу.

На четвертый день после задержания во многих газетах появились комментарии, что с такими связями, как у Балладро в штате План-де-Абахо, осудить их не удастся. В ответ на эти комментарии судья Перальта наложил временный арест на все имущество сестер "с целью защиты средств возмещения ущерба, нанесенного жертвам".

Узнав эту новость, Арканхела упала в обморок.

— Они хотят отнять у нас наше имущество! — сказала она, придя в себя.

На страницах газет появилась фотография Арканхелы, вцепившейся в решетку так, будто она пытается ее выломать. "Виновная в шести смертях думает только о своем имуществе", — гласит надпись под фотографией.

Поскольку адвокат обвиняемых по-прежнему не подавал признаков жизни, судья Перальта назначил защитником адвоката Гедеона Сеспедеса.

После консультаций со своими подзащитными адвокат дал интервью журналистам:

— Не поймите меня превратно, — сказал он. — Я защищаю этих женщин, потому что это моя обязанность, потому что я назначен защитником. Но я не на их стороне. Наоборот, я считаю, что они заслуживают смертной казни, которая в штате План-де-Абахо, к сожалению, запрещена.

3

"...что ей не разрешали выходить, почти не кормили, а однажды, когда она и трое ее подруг сделали что-то, что не понравилось сеньорам, их вчетвером заперли, потом вошла Серафина и сказала допрашиваемой: 'Вот тебе палка, бей их. Если увижу, что плохо бьешь, то сама тебя отлуплю'. (Показывает кровоподтеки.)"

"...что видел, как сеньора Арканхела Баладро разворачивала на столе сверток. Это был карабин. Вышеупомянутая сеньора произнесла такие слова: 'Этот карабин я тебе оставляю, чтобы ты отбивался, если кто-нибудь захочет увести коров'" "...что та же сеньора Арканхела Баладро сказала ему в другой раз: 'Я тебе оставляю этих четырех женщин, следи за ними хорошенько. Если увидишь, что любая из них собралась бежать, пристрели ее из карабина, который я тебе дала для охраны коров'. Этим допрашиваемый хочет сказать, что стрелял всего лишь по приказу".

О вине капитана Бедойи:

“...что допрашиваемая вместе с другими женщинами стирала в корыте, когда на заднем дворе появился капитан Бедойя и направился вглубь, к ограде, расстегивая на ходу ширинку, чтобы помочиться, но вдруг остановился и уставился на бесформенный тюк, лежавший под лимонником. ‘Это что такое?’ — спросил он у них, они ответили: ‘Это Бланка’; капитан разозлился и сказал сеньоре Серафине: ‘Скажи Тичо, пусть сегодня же ночью возьмет ее, отнесет за город и бросит на помойке на съеденье собакам’”.

“...что она видела, как капитан Бедойя нарезал в кустах на заднем дворе розги и пробовал их на ладони, чтобы выбрать те, что похлеще...”

“...что когда она накрывала стол, то услышала, как капитан говорил сеньоре Серафине: ‘Эти твои женщины ни на что не годятся, кожа да кости. Чтобы их кто-нибудь захотел, тебе придется сперва вымачивать их в соусе, а потом подавать на шампурах’...”

“...что у нее нет ни малейших сомнений, что капитан Бедойя сожительствовал с Серафиной Баладро, иногда оставался на ночь, и, поскольку допрашиваемая несколько раз прислуживала за столом, она видела, как вышеупомянутый капитан после обеда снимал ремень...”

“...что каждое утро капитану на завтрак давали яйцо всмятку, они видели на кухне, как оно варится...”

Для судьи Перальты эти и другие показания послужили основанием выдвинуть против капитана Бедойи обвинение в соучастии и идейном руководстве всеми преступлениями.

Обвинения против Калаверы:

“...что когда они прибыли на ранчо Лос-Анхелес, одна женщина, Роса Н., сильно заболела, и допрашиваемая видела, как женщина, прозванная за все ее зло Калаверой, подошла к ней и сказала: ‘Я тебе сделаю чай из орегано’, потом пошла к жаровне, вскипятила воду и бросила в нее разные компоненты, названий которых допрашиваемая не знает; что видела, как вышеупомянутая Калавера налила отвар в кружку и напоила больную, и та через пару часов умерла и была зарыта в яме, которую выкопал некий субъект по прозвищу Тичо”.

“...она — Калавера — могла ходить на улицу, а мы — нет, она готовила еду, а нам не разрешали даже развести огонь...”

“...она — Калавера — дала Бланке выпить кока-колу, которая ее и убила...”

В деле нет упоминания о том, как четыре женщины собирались похоронить Калаверу живьем в заброшенном туалете.

Обвинения против Лестницы:

"...что когда их отправляли из Сан-Педро-де-лас-Корьентес в Консепсьон-де-Руис, допрашиваемая и еще одна женщина сели рядом с шофером по прозвищу Лестница. Он открыл дверцу с той стороны, где они сидели, и сказал капитану Бедойе: 'Вы здесь уместитесь, капитан, садитесь', капитан сел прямо на них и придавил так, что они чуть не задохнулись; что допрашиваемая сказала: 'У меня сейчас все кости треснут', но никто не обратил на нее внимания..."

Предыдущий абзац показывает, что Лестница нарушил закон штата План-де-Абахо о перевозках по двум пунктам: перевозка пассажиров в условиях, угрожающих их здоровью, и перевозка проституток по территории штата, в котором проституция запрещена. Показания Симона Короны (смотри Главу 2) стали основанием для того, чтобы Лестница стал подозреваемым и в перевозке трупов.

И так далее.

На пятый день слушаний Аурора Баутиста попросила у судьи разрешения изменить свои показания следующим образом: в том месте, где она сказала, что "подсчитывали каждый месяц и из того, что я зарабатывала, вычитали расходы, но за последний год ни счетов не вели, ни денег мне не давали, ни одного сентаво", теперь она хочет сказать: "подсчитывали каждый месяц, но никогда не давали мне ни одного сентаво..."

Там, где она говорит: "Когда я приехала работать в дом на Молино, мне было девятнадцать лет", теперь она хочет сказать: "Не помню точно, сколько мне было, но похоже, шестнадцать".

Кроме того, в протоколе говорится, что она просит добавить, "что 14 сентября я видела, как сестры Баладро спихнули с балкона двух женщин".

4

Первая заметка о деле сестер Баладро появилась на восьмой странице газеты "Соль-де-Абахо", в постоянной рубрике "Новости Консепсьон-де-Руис". Когда стало известно, что три найденных трупа принадлежали молодым женщинам и что нашли их во дворе бывшего публичного дома, новость перекочевала на первые полосы всех газет страны. На третий день огромная и внимательно следившая за происходящим аудитория узнала о трех новых трупах, найденных на ранчо Лос-Анхелес.

Консепсьон-де-Руис заполонили журналисты, фотографы и любопытные. На следственном эксперименте судья Перальта

насчитал сто девятнадцать человек, не имевших причин там находиться. Очная ставка между Серафиной Баладро и Ауророй Баутистой, во время которой женщины оскорбляли друг друга и называли вруньями, записывалась на двадцать три камеры. По просьбе газетных фотографов пострадавшие (в ту пору — девять человек) позировали в чулане, стоя на коленях с перекрещенными руками, с камнями на ладонях, похожими на те, что выбрал когда-то капитан Бедойя.

Большинство журналистов и публика ждали новых трупов. Это повлияло на восприятие всей истории. Например, показания Симона Короны о том, что в 1960 году он помог сестрам Баладро отвезти в горы труп, дали повод думать, что в течение многих лет сестры только тем и занимались, что убивали женщин, разбрасывали трупы по обочинам дороги и закапывали на задних дворах. Жертвы напрягали память и в газетах появились свидетельства, наподобие этого: "Она помнит одну женщину по имени Патрисия, которая работала несколько дней в 'Прекрасном Мехико', а потом бесследно исчезла"... и так далее. Власти Сан-Педро-де-лас-Корьентес приказали вскрыть пол в "Прекрасном Мехико", чтобы проверить, не зарыты ли под ним трупы, но ничего не нашли. В редакцию "Соль-де-Абахо" пришло более тридцати писем от матерей, потерявших следы своих дочерей и имевших основания подозревать, что они оказались в публичных домах. Они просили редакцию ответить, не было ли среди мертвых или оставшихся в живых женщины, похожей на ту, что изображена на прилагаемой фотографии.

Последнюю попытку найти новые трупы предпринял инспектор Куэто. Он забрал из тюрьмы под конвоем пятерых: капитана Бедойю, Лестницу, Теофило Пинто, Тичо и Оторву Николаса и привез в казино "Дансон". В кабаре он дал им лопаты и кирки и велел копать в центре зала, предупредив, что они будут копать до тех пор, пока не найдут труп. (Как он объяснил журналистам, отдавая такое приказание, он рассчитывал, что кто-нибудь из обвиняемых признается, где на самом деле зарыт труп, чтобы не бесконечно копать там, где его точно нет.) Поскольку никто из обвиняемых не признался, они копали три дня: сначала в кабаре (оставив яму, которую можно видеть и по сей день), потом на заднем дворе и, наконец, на ранчо в каком-то выбранном наугад месте.

5

Судья Перальта принял решение, что Серафина Баладро, Арканхела Баладро и другие повинны в совершении следующих преступлений: убийство первой степени, убийство по неос-

торожности, незаконное лишение свободы, физическое и моральное насилие, незаконное хранение и ношение оружия, угроза расправы с применением оружия, растление малолетних, сводничество, присвоение доходов другого лица, мошенничество, незаконное проживание в изъятой собственности, нарушение законов захоронения, нарушение государственных и федеральных законов о перевозках, сокрытие имущества.

В результате судья зачитал приговор: Серафина и Арканхела Баладро, признанные виновными во всех этих преступлениях, получили по тридцать пять лет тюрьмы; капитан Бедойя, как сообщник и идейный вдохновитель всего вышеперечисленного, был приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы, Калавера — к двадцати годам за убийство первой степени Росы Н. и убийство по неосторожности Бланки. Теофило Пинто получил двадцать лет тюрьмы за два убийства первой степени, а его жена Эулалия — пятнадцать за то, что сняла карабин со стены и передала мужу; Тичо приговорили к двенадцати годам за нарушение законов о захоронении и за сообщничество во всех преступлениях; Лестницу — к шести годам за нарушение законов о перевозках и сообщничество и так далее.

Судья Перальта постановил, что арестованное имущество сестер Баладро будет продано в количестве, необходимом для выплаты компенсаций, которые рассчитал сам лично. Например:

Расчет компенсации Бланке Н.

В порядке заработанного и невыплаченного жалованья (за 10 лет из расчета минимальной зарплаты, равной 300 песо в месяц)	36 000 песо
Штрафные проценты	18 000 песо
За гибель работницы	10 000 песо
	64 000 песо

Эта сумма была депонирована на судебный счет в пользу того, кто докажет законное право наследования. (За суммой никто не обратился.)

6

В тот день, когда судья Перальта вручил денежное возмещение убытков девяти выжившим женщинам, во дворе суда был установлен праздничный стол. Женщин сфотографировали

сначала во время получения чеков, потом за праздничным столом и, наконец, стоящими на коленях в церкви Консепсьон-де-Руис и воздающими хвалу Господу за то, что позволил им выйти из всех переделок живыми. Когда они закончили молиться, фотографы ушли. Женщины попрощались у ворот церкви и пошли каждая своей дорогой. Уже темнело. Больше о них ничего не известно.

XVIII
Эпилог

Симон Корона полностью поправился после полученного от кого-то удара ножом, отсидел срок в одной из тюрем штата Мескала, где вел себя примерно, освободился, вернулся в Сальто-де-ла-Тукспана, открыл булочную и живет счастливо. Из других освободившихся – Оторва Николас работает сапожником (этому ремеслу он научился в тюрьме), Тичо служит грузчиком сельскохозяйственной продукции на складе братьев Барахас, а Лестница вернулся к своему прежнему занятию, он теперь хозяин колонны машин в Сан-Педро-да-лас-Корьентес, которую купил, как говорят злые языки, на деньги, полученные от Арканхелы.

В тюрьме Теофило Пинто выиграл в конкьян[1] целое состояние, потом все проиграл. Эулалия уже освободилась и продает халву. Капитан Бедойя сидит в тюрьме Педронеса, он – староста камеры, его очень уважают и тюремщики, и заключенные. Сестры Баладро отбывают срок в женской тюрьме без надежды освободиться при жизни. Серафина организовала торговлю освежающими напитками по баснословным ценам, Арканхела продает еду, которую готовит Калавера. Обе занимаются ростовщичеством, и их капитал, по оценкам других заключенных, приблизился к ста тысячам песо.

Приложения

1. Жизнь Тичо, рассказанная им самим

Когда я был маленький, другие дети меня боялись. Родители отправили меня в школу, но учительница сказала, что я слишком большой и что я могу научить других плохому. Ме-

1. Карточная игра.

ня отправили грузить камни, мешки с песком и с цементом. Один раз я обнял друга, а когда отпустил, он упал на землю. Те, кто видел, как было дело, сказали, что я его убил. За это меня посадили в тюрьму. В тюрьме меня опять послали грузить камни. Как-то умер человек, который носил покойников в больнице, и доктор приехал в тюрьму искать кого-нибудь на его место. Директор тюрьмы велел позвать меня и сказал: "Иди с этим сеньором". Я десять лет носил покойников с места на место, а как-то утром доктор мне сказал: "Теперь можешь идти". И открыл дверь больницы. Я пошел по улице. До железной дороги и дальше по рельсам. Я шел по ночам, потому что светила луна. Днем спал в кустах. Когда видел какой-нибудь дом, то подходил к кухне (собаки на меня не лают), заглядывал внутрь и говорил женщинам: "Я голодный", они пугались и выносили мне поесть. Когда я приходил в город, то просил милостыню, но мне никто не подавал. Один раз я уснул на тротуаре возле рынка, а когда открыл глаза, на меня смотрела донья Арканхела. С ней были две девушки с корзинками. Донья Арканхела сказала:

— Ты здоровяк, страшилище, и выглядишь злодеем. Я дам тебе работу, тебе понравится.

Девушки засмеялись.

С этого дня я был вышибалой. Я должен был сидеть на стуле и делать, что придется, как только скажут.

2. *Показания Либертино*

Он говорит, что посещал "Прекрасный Мехико" так часто из утончённого любопытства. Он описывает нескольких занятных проституток, с которыми там познакомился. Одна четыре-пять раз за ночь стыдливо раздевалась и каждый раз рассказывала, что еще ни один мужчина не видел ее голой. Другая вступала с рассказчиком в сексуальную связь больше двадцати раз, но никогда его не узнавала. Третья всегда повторяла одну и ту же историю о том, что получила телеграмму о болезни матери, и ей нужно срочно отправить деньги и т. д.

Самые интересные впечатления — говорит Либертино — у меня остались от общения с сеньорой Арканхелой, и я всегда садился за ее столик. Она была философом. Верила, например, что после смерти наша душа некоторое время витает в воздухе, привязанная к тем воспоминаниям, которые мы оставили по себе в знакомых людях. Плохое воспоминание заставляет душу страдать, хорошее — радоваться. Когда все, кто знал умершего, забывают его или умирают, душа исчезает.

3. Рассказывает чемпион по дзю-до

Как член сборной Мехико я участвовал в панамериканском чемпионате по дзю-до, проходившем в Педронесе в 1958 году. (Он описывает предоставленные им особые условия, впечатления от города и легкость, с которой команда Мехико вылетела уже в первом круге. В эту ночь он пошел со своими товарищами в дом на Молино.) Когда девушки узнали, что мы — члены сборной Мехико по дзю-до, они столпились вокруг нашего стола и стали просить автографы. Хозяйка заведения (Серафина) вышла пожать нам руки, велела надеть нам на шеи венки из бумажных цветов и угостить выпи́вкой за счет заведения.

— Пью за вашу победу, мальчики, — сказала она.

У нас не хватило духу признаться, что мы уже вылетели. (Дальше он описывает само заведение, сравнивает публичные дома Мехико и Педронеса, и замечает, что здешние — скромнее и проще, чем в столице, рассказывает, как провел время с женщиной по имени Магдалена и, наконец, сожалеет, что не успел вторично посетить дом на Молино до его закрытия.)

4. Показания дона Густава Эрнандеса

Спросите меня: что может делать в борделе каждый субботний вечер человек, имеющий жену и дочерей, вполне довольный своей семьей? Не знаю, что вам ответить, но именно так я и жил. Какое-то помрачение. Каждую субботу, как пробьет на церкви девять, я закрывал галантерею и шел в "Прекрасный Мехико". Стоило мне войти внутрь, как все меня радовало: интерьер, женщины, музыка. Я и танцевал, и пил, и болтал, и ни одна женщина из тех, что работали там между пятьдесят седьмым и шестидесятым, мимо меня не прошмыгнула.

Возвращался домой на рассвете.

— Где ты был? — спрашивала жена.

— На собрании Католического общества.

Она не верила. Много лет подозревала, что у меня любовница. Она не знает, что я обманул ее с сорока тремя женщинами.

Донья Арканхела мне говорила:

— Не отказывайте себе ни в чем, дон Густаво. Если у вас нет при себе денег, просто распишитесь. Для меня вы — все равно что Банк Мексики.

В этих словах заключалась моя погибель. Однажды ко мне в галантерейный магазин пришел адвокат Рендон. В портфеле у него было моих расписок больше, чем на четырнадцать тысяч песо. Он хотел знать, когда я смогу расплатиться.

Донья Арканхела получила галантерейный магазин, зато пережитый страх вылечил меня от этой напасти, и мне больше никогда не хотелось в бордель. Сейчас я счастливо живу со своей семьей.

6. Блокнот Арканхелы

Блокнот Арканхелы нашли в казино "Дансон", в ее комнате. Он делится на три части. В первой содержатся еженедельные расчеты с работницами, уже описанные в Главе 9.

Вторая часть называется "Клиенты-должники". В ней можно видеть имена самых уважаемых людей Сан-Педро-делас-Корьентес, дату выдачи долговой расписки, начисленные проценты из расчета десять процентов в месяц, долговые поручительства и тому подобное. Все долги погашены.

Третья часть называется "Выдано". Здесь указано, сколько Арканхела заплатила властям, чтобы жить спокойно. Например, десять песо ежедневно – дежурному квартальному полицейскому, шестьдесят – мэру, шестьдесят – инспектору полиции и так далее.

Анн-Лу Стайнингер

Рассказы

Перевод с французского Богдана Григоренко

Река

На берегу реки Гераклит предавался раздумьям. Он часто приходил посидеть под своим любимым фиговым деревом у реки, когда жара становилась невыносимой. Прохладная вода умиротворяла его, и мысли текли размеренно. Тогда ему казалось, что он лучше понимает мир. Чаще всего он вскоре засыпал, если же нет — шел купаться.

В этот день спать ему не довелось. Только он расположился на своем месте, как вдруг из воды вышел человек и направился к нему с улыбкой на лице. “Черт побери!” — подумал Гераклит на своём родном греческом: этот человек был похож на него чертовски.

— Кто ты?

— Я — это ты, Гераклит.

— Как это я? Как так?

— Разве ты не сказал: “Никто не может дважды войти в одну и ту же реку?”

— Да, сказал.

— Ну вот! Разве ты вчера не купался?

— Купался. И что из того?

© Anne-Lou Steininger
© Богдан Григоренко. Перевод, 2016

— Не в этой ли реке?

— В этой самой.

— Если река одна и та же, значит, ты уже кто-то другой. А я — тот Гераклит, который купался в этой реке вчера. Теперь понимаешь? Но я не единственный: нас столько, сколько раз ты купался. Вот, знакомься!

У философа слегка загудело в голове от этого силлогизма и от полуденного жара; он посмотрел на реку — там с удовольствием, которое он хорошо помнил, барахтались, как лягушки, десятки, сотни Гераклитов, и они помахали ему рукой с дружеской насмешкой. Все так похожи на него и в то же время так непохожи! Такие беспечные, когда он так серьезен! Как будто с ними не могло случиться ничего дурного. Они играли и смеялись, как ребятишки, и дерзко рассматривали его! Но что такого забавного нашли во мне эти гнусные двойники?..

— Ну что? Тебе не верится, что ты купался так часто! — сказал Гераклит-насмешник.

Гераклит был очень обижен. Годы размышлений обратились в фарс, в глупую шутку! Он хотел парировать, сразить своего противника, как он умел это делать с помощью безупречной диалектики. Но тот хорошо знал эту историю и оспаривал все его аргументы. Ведь этому типу было от кого унаследовать знания, хоть он и был вчерашним Гераклитом. Компания купальщиков подошла послушать дискуссию и раззадоривала спорщиков, давясь от смеха и отпуская комментарии, так что Гераклит совсем уж вышел из себя, стал кидаться фигами и всех разогнал.

— Тебе не нравится каждый раз быть другим, а почему реке должно это нравиться?

Нужно было найти выход из этого логического тупика. Гераклит сегодняшний разделся, нырнул в реку и отдался ее течению. Слиться с рекой...

Он так и не вернулся, но говорят, люди в тех краях очень похожи на него. Это единственный известный случай философского клонирования.

Свобода

ТЮРЕМЩИК каждый день спрашивал у своего Узника:

— Если я дарую тебе свободу, что ты будешь с ней делать?

И Узник отвечал то одно, то другое. Сначала он будет отъедаться дней десять, а может, и больше, пока не станет тошно. Не забудет и о выпивке — прихватит несколько бутылочек

горькой и разопьет в компании случайных собутыльников, они будут болтать, петь и травить небылицы. Потом, конечно же, будет путешествовать – ему любопытно узнать мир. Пропитание найдет себе по дороге. А уж развлечения – тем более! Будет работать – помаленьку, – учиться, у него будет много детей – не обо всех он узнает, – и, наконец, найдет себе маленький, тихий уголок и заживет там, сам себе хозяин.

– Все они так говорят! – усмехался Тюремщик.

И уходил, громыхнув тяжелой дверью камеры.

Это была жестокая игра для Узника: желание обрести свободу овладело им. О чем он только не мечтал! И плакал ночи напролет. Но вот незадача! Свобода, которую он воображал, была подобна женскому убору, который украшают снова и снова драгоценностями, оборками, парчой, побрякушками, бриллиантами, блестками, ленточками, перьями, золотыми нитями, косичками, и неизвестно, чем еще, – этот наряд был таким пышным, что никто бы не осмелился его примерить.

Однажды утром Тюремщик сказал ему:

– Каждый день я тебя спрашиваю, что бы ты сделал со своей свободой, а ведь ты даже не знаешь, что это такое. Иди, я даю тебе один день, посмотри, как люди живут и что делают на свободе. Жду тебя завтра утром.

Узник ушел. И вернулся. Что он видел? Мы никогда не узнаем. Он не сказал ни слова, не стал говорить с Тюремщиком. Молчал весь день и не спал всю ночь. Он размышлял.

Пришло время вечного вопроса:

– Если я дарую тебе свободу, что ты будешь с ней делать?

– Ничего, – ответил наконец Узник и громко рассмеялся. – Ничего.

– Вот теперь ты свободен.

И они рассмеялись вместе.

А-*ля* Р*ай*

ПОСЛЕ смерти люди попадают в Рай. Каждый – в свой. Кто какой заслужил.

Они приходят, осматриваются, высказывают свое мнение. Спору нет – все отлично, и обстановка, и удобства. Всё просто превосходно. Затем они расходятся по отведенным им кварталам. Но кто-то уже разочарованно ворчит:

– Значит, это и есть Рай? Все-таки я рассчитывала на лучшее. На лучшее, чем там.

– А на что еще вы рассчитывали?

— Не знаю. На что-то другое.

— Если вы сами не знаете, то откуда нам знать!

И каждый раз приходится им объяснять:

— Мы ничего не выдумывали: ваш Рай подобен вам. Это современный Рай с фитнесом, витринами и танцульками, где много шума и пустой болтовни. Деньги? Сколько захотите. Машины, драгоценности, зрелища и столько еды, что можно лопнуть. Вы никогда и не мечтали о чем-то лучшем. Так что еще вы от нас хотите? Этот Рай скроен по вашим меркам и по вашему вкусу, как те великолепные костюмы, которые мы дарим вам по прибытии. Так чем же вы недовольны?

При этих словах Праведники вздыхают, но соблюдая осторожность, как будто они боятся, что пресловутые костюмы лопнут по швам.

— Это эксклюзив. И наша гордость. Костюмы "Сделано в Раю" шьют из лучшей ткани и, разумеется, идеально подгоняют по фигуре. Ты говоришь, не слишком ли? Тебе кажется, что те, кто их носит, чувствуют себя скованно? Да, но только поначалу, первые столетия. Просто ты еще не знаешь наш маленький производственный секрет. Подойди поближе — поймешь. Посмотри на воротник, рукава. Посмотри, как пояс юбки прилегает к талии, а каемка декольте — к груди. Видишь? Да-да, они пришиты к телу. Все швы проходят через кожу. Мы обязаны нашему Верховному Хирургу-стилисту этим чудесным способом сохранения вечной элегантности. Ты, наверное, уже о нем слышала? Но — пошли дальше. Вот здесь мы работаем с новенькими.

В огромном кресле дантиста из белой кожи лежала молодая женщина. То ли из кокетства, то ли из наивного желания выглядеть, как в Раю, она выбрала костюм Девы Марии. Длинное платье небесно-голубого цвета было уже на ней; на ее запястьях и шее каемка запекшейся крови и торчащие зеленые нитки обозначали место, где проходил шов. В этот момент портной пришивал вуаль, он аккуратно оттягивал и прокалывал иглой кожу головы и время от времени отступал назад, чтобы оценить результат своей работы. Новый стежок — и по лицу лжемадонны снова текла кровь. Но она лежала не шелохнувшись, ей было не больно: в Раю не существует страданий. Наконец этой женщине протянули зеркало, и она убедилась, что прекрасно выглядит.

Вот что отличает Рай от земной жизни — пошив одежды. А все остальное — это только продолжение земных грез.

Хуан Хосе Саэр

Рассказы

Перевод с испанского Александра Казачкова

Прием на Бейкер-стрит

Жану Дидье Вагнеру посвящается

ДОЖДЬ льет настолько плотный, что всего за несколько минут, пока автобус на Буэнос-Айрес катит по территории вокзала, его силуэт становится нечетким, поглощенный массами сероватой воды, грохот ее заглушает даже вибрацию двигателя, ставшую неразличимой с того момента, как машина дает задний ход и отъезжает от перрона, недолго маневрирует, беря курс на юг, и удаляется на малой скорости к выезду из терминала. Нула наблюдает, как автобус исчезает в направлении Портового проспекта, тридцать-сорок метров — и его уже не видно, если не считать двух красных точек задних огней. Грозная продолжительная молния на несколько секунд выхватывает автобус из небытия зеленоватым моментальным фотоснимком: призрачный образ, помещенный в рамку призрачного фрагмента города; и почти в тот же миг нескончаемый гром — следствие этой молнии или

© Herederos de Juan José Saer, 2001
© Александр Казачков. Перевод, 2016

одной из предыдущих (с такой быстротой следуют они одна за другой) — сотрясает огромные окна, перроны, весь каркас автовокзала, в котором все огни несколько мгновений мигают, но все же, словно чудом, продолжают гореть дальше. Рассчитывая, что ветер немного стихнет, а это произошло почти сразу, едва только хлынул дождь, водитель не трогался с места и выехал с десятиминутным опозданием, заставив Нулу ждать на перроне с услужливым видом, "на всякий случай", до самого отправления. И поскольку отъезд автобуса с управляющим по продажам фирмы "Друзья вина" на борту — факт свершившийся, и даже красные точки задних огней пропали в зеленовато-серых глубинах дождя, Нула поворачивается, проходит в большой холл вокзала, почти пустой в этот час (близится полночь), и неспешно направляется к главному входу.

Эти два дня выдались нелегкими, но в итоге Нула доволен. В смертельный зной, аномальный для конца марта, он поехал вчера встречать управляющего, прилетавшего утром, и, помимо того что прошлой ночью спал совсем мало, провел в обществе последнего все это время, пока не остался снова наедине с самим собой после отъезда автобуса, который теперь, скорее всего, уже катит по Портовому проспекту в направлении окружной дороги. Амбициозная программа, получившая название "Винная пора", с намеком на приход осени, хотя и оказалась несколько несвоевременной из-за столь жаркой погоды, была выполнена тщательным образом, шаг за шагом, причем штаб размещался в отеле "Игуасу", обязательном центре всех рекламных операций, проводимых в городе: рабочие встречи в первый день с представителями основных районов Литораля, завершившиеся ужином, и открытые для широкой публики мероприятия в течение прошедшего дня — семинар на тему "Вино и здоровье" плюс банкет в гостиничном салоне "Премьер" с участием видных представителей города: политиков, спортсменов, известных специалистов, звезд телевидения и т. д.; причем банкет еще не закончился, но Нуле посчастливилось уйти раньше — требовалось отвезти управляющего на автобус к половине двенадцатого, и сейчас, когда он пересекает холл под шум дождя, ему думается, что гроза, пожалуй, может послужить отличным предлогом, чтобы не возвращаться.

В жизни Нулы все происходит слишком рано, и, едва придя к обладанию чем-либо, он тотчас сознает, что ему этого уже не хочется, более того, он всегда стремился обладать чем-то, чего, по сути, не хотел. Истолкованная таким образом его короткая жизнь — ему вот-вот исполнится двадцать

восемь — являет собой смесь ответственности и бегства, одинаково тягостных и тайных, создающих впечатление, будто он живет одновременно в нескольких мирах, и сюда неплохо вписывается винное маклерство, которое позволяет зарабатывать на жизнь и вместе с тем наслаждаться множеством часов свободного времени, уединения и праздности. В девятнадцать лет он начал изучать медицину; в двадцать три перешел на философский факультет, а по достижении двадцати шести, женившись, имея на руках годовалого ребенка и ожидая появления второго, вынужден был пойти работать, и в итоге семинар по введению в энологию, проведенный в том же отеле "Игуасу", куда ему, как ни крути, придется вернуться, если дождь перестанет, привел его в виноторговлю. "Исправляется парень", — рассеянно заметил Томатис, когда кто-то однажды описал его эволюцию. Однако Нула, который зарабатывает кое-какие деньги, чтобы не зависеть от жены, и дорожит имеющимся свободным временем, не пришел бы к такому заключению, попроси его кто дать беспристрастную оценку своему бытию.

Шум дождя гулко отдается в полупустом, просторном холле. Мощные, бурные массы грохочущей воды согнали дремоту с тех немногих людей, кто теперь прогуливается, то и дело приближаясь к большим окнам, чтобы поглядеть на грозу, или привстает с металлических скамеек, где они полулежали, подложив под голову тюки и чемоданы в ожидании ночных или утренних автобусов, и, когда Нула подходит к главному входу, грохот нарастает, усиленный раскатами грома и театральным эффектом серо-зеленоватых вспышек молний. Недвижное, жгучее, иссохшее лето, начавшееся в ноябре и длившееся до этой ночи конца марта, после нескольких неудачных гроз близится к завершению. Нула подходит к главным дверям вокзала и, держась на расстоянии от порога, укрываясь от вихря капель, брызжущих на плитку у входа, останавливается и глядит на улицу, понимая, что еще не скоро сможет выйти и добраться до машины, припаркованной в паре кварталов отсюда, за площадью Испании.

Плотная сероватая вода не скапливается посреди проезжей части благодаря выпуклому асфальту, но по бокам, у бордюра, сбегает потоками к водостокам и во многих местах уже заливает тротуар. Одна-две машины проезжают медленно, осторожно, сверкающие и бесшумные, словно скользят по подводному миру. На той стороне улицы бар на углу видится таким далеким, и подле железных столов и стульев, сваленных у стены поспешно и в беспорядке, подальше от ветра, под раздвижным и тоже металлическим навесом, с которого по бокам

струится вода, кучка людей теснится на более-менее сухом пятачке, прячась от брызг, и смотрит на дождь, а, поскольку их наблюдательный пункт находится напротив, также и на портал вокзала, где стоит Нула. Внезапно, после минутного замешательства, словно решение принято после некоторых колебаний, три нечетких, мужских силуэта бросаются в его сторону, с разбегу перепрыгивают поток над бордюром, отталкиваясь от выпуклого асфальта, достигают противоположного тротуара, огибают бутылочные деревья, топчут их запоздалые, сбитые ветром цветы, белые, розовые, цвета слоновой кости, и, наконец, заранее радуясь, поднимаются на две-три ступеньки, ведущие к главному входу. По мере того как они приближаются, Нула замечает, что с них струится вода. Сольди, как самый молодой, влетает внутрь первым, хлопает Нулу по плечу и по инерции пробегает еще два-три метра, а затем возвращается, запыхавшись, давясь от смеха. Второй, блондинистый тип, заметно лысеющий, одет в белые брюки и желтую рубашку, его Нула видит впервые в жизни, и наконец, тяжело дыша, со значительным отставанием, — Карлос Томатис, он уже смирился с тем, что промок до нитки, и последние метры преодолевает шагом.

— Гадство гадское! — восклицает он, едва переступив порог. — Смотрите, во что превратилась моя сигара.

Но, вероятно, по причине бега, ставшего маленьким приключением в его малоподвижной жизни, а может, из-за того, что вымок и несколько взбодрился после возлияний, которые, наверное, позволил себе в одном из окрестных ресторанов, он выглядит скорее довольным, чем раздосадованным. В левой руке, между указательным и средним пальцем, он держит половину потухшей толстой сигары, почерневшей, рыхлой и такой раскисшей от воды, что на месте некогда горевшего кончика болтаются водянистые клочья листа. И, показывая Нуле махрящиеся остатки былой табачной роскоши, поясняет:

— "Ромео и Джульетта", мне ее подарил Пичон. Вы не знакомы? Турок Нула, Пичон Гарай: один продает мне вино, другой его выпивает.

Вновь представленные обмениваются рукопожатием, и Нула, чувствуя в своей руке влажную, липкую ладонь, замечает:

— В "Друзьях вина" мы продаем и сигары. Мы не можем допустить, чтобы на столе нувориша чего-то недоставало. Это правда была "Ромео и Джульетта"?

— Правда, — подтверждает Томатис. И, медленно стряхивая остатки сигары, принимает задумчивый вид и вслух рассуждает: — Так, наверное, обвисло у Ромео после свадебной ночи.

– Это была их единственная ночь, но они выжали из нее все соки, – говорит Сольди.

А Пичон добавляет:

– Бедные дети! Можно квалифицировать случай как гомерический и шекспировский одновременно, ведь именно так определяют Лаэрта в кроссвордах.

Качая головой и посмеиваясь, давая понять, что приходится терпеливо слушать всю эту чепуху, Нула произносит:

– Не в обиду господину, – он кивает на Пичона, – будет сказано, но должен вам сообщить, если вы еще не заметили: вид у вас, будто вы прямо с карнавала.

– Сам при галстуке, а нам пеняет, – говорит Сольди.

– Производственная необходимость, – поясняет Нула, понимая, что оправдываться необязательно, ведь Сольди, которого он знает со школьной скамьи и с которым время от времени встречается за чашкой кофе, полностью в курсе дела.

– Галстук и короткие рукавчики, – произносит Сольди, ласково и с притворным восхищением теребя белую кромку рукава, заканчивающегося чуть выше локтя.

Мужчины замолкают, слушая шум дождя, нескончаемые раскаты грома вновь сотрясают весь город. Вдали, хотя, возможно, в толще дождя только создается впечатление отдаленности, но звук доносится с тротуара напротив или из некоей дальней точки внутри самого терминала, кто-то приветствует грохот радостным воплем, протяжным индейским гиканьем “сапукай”, выражающим восторг, восхищение, воодушевление. После минутного созерцания оглушительно гремящего потопа Сольди предлагает переместиться в бар вокзала – переждать, пока ливень не прекратится. Станционные сооружения еще сохраняют тепло, накопившееся за прошедший день и даже, можно сказать, за все лето, и поэтому атмосфера в баре, в котором из-за дождя и ветра приходится держать окна закрытыми, кажется Нуле удушливой, но три его спутника, вошедшие с улицы насквозь промокшими – черная борода Сольди размякла и пропитана влагой, словно ее обладатель только что из душа, а синяя рубашка Томатиса прилипла к его массивному торсу, – по-видимому, довольны температурой. По правде говоря, доволен и Нула, но по другой причине: давно смирившись с тем, что придется посвятить два полных дня “Друзьям вина”, он, благодаря грозе и случайной встрече с Сольди и двумя его спутниками у входа в вокзал, предчувствует перспективу завершить вечер весьма приятно и уже не опасается, что после банкета ему придется идти выпивать с группой продавцов и клиентов в какой-нибудь бар с девочками в центре или

на окраине. Так что, едва они рассаживаются, как он решительно объявляет:

— Плачу́ я, — и делает знак официанту, который, сидя за столом у двери в надежде воспользоваться иллюзорным сквозняком, читает затасканный экземпляр газеты “Ла Рехион”.

Пока они ждут заказ — три пива и кофе для Сольди, — Сольди рассказывает, что он и два его спутника провели день на реке, сходили на катере до Ринкона-Норте, чтобы навестить дочь Вашингтона Норьеги, устроили пикник на острове в обеденное время и вернулись к вечеру; и что они доедали закуску в пивном дворике в соседнем квартале, когда грянула гроза; что они бросились бежать в направлении машины, но ливень оказался слишком сильным, чтобы добраться до нее, так что им не оставалось иного выхода, кроме как укрыться от дождя вместе с другими людьми, которые собрались по схожим причинам под металлическим навесом бара; и поскольку он, Сольди, благодаря вмешательству божественного провидения, как он дословно выразился, увидел Нулу, который ждал у входа в вокзал, он предложил своим спутникам вопреки разбушевавшейся стихии перебраться на другую сторону улицы. Нула кивает с намеренно преувеличенным выражением благодарности, хотя, по правде говоря, он уже слегка отвлекся от рассказа Сольди, пытаясь прислушаться к диалогу, который ведут Томатис и человек в желтой рубашке.

— А почему бы и нет? — вопрошает Томатис, отвергая, по-видимому, возражение собеседника, которого Нула не слышал. — Для типа, способного вставить пробку в бутылку шампанского так, как будто ее никто и не открывал, легче легкого войти в квартиру, от которой у него нет ключа. И не следует забывать, что он уже проник неизвестно каким образом еще в двадцать семь других квартир.

Пичон одобрительно смеется и, поскольку Нула не понимает, о чем идет речь, Сольди сообщает:

— Достоверный случай с серийным убийцей, происшедший несколько лет назад в Париже.

— Я планирую написать о подобном деле, имевшем место пятьдесят лет назад в Англии, — говорит Томатис, — отравление медсестры и шестнадцати младенцев. И если я напишу об этом, детективом будет не кто иной, как Шерлок Холмс, — я не могу снижать планку и не использовать для моего рассказа лучшие образчики, рожденные жанром. Причем по причине преклонного возраста Холмса это будет его последнее дело. Если я решусь взяться за это, то стану писать объемную повествовательную поэму, верлибром, с отдельными ритмическими пассажами и определенными финалами строф в форме

регулярного, возможно александрийского, стиха и консонантными рифмами. Таким образом, произведение займет в истории литературы место рядом с "Царем Эдипом", поскольку мы с Софоклом окажемся единственными двумя авторами, обратившимися в стихах к детективной тайне. Зато в том, что касается моего серийного убийцы, заявляю право на эксклюзивность: это будет, если я на днях возьмусь писать, единственное в мире повествование, в котором убийца устраняет одновременно семнадцать жертв.

— Есть еще случай Гарри Трумэна, который 6 августа 1945 года около восьми часов утра уничтожил за несколько секунд сто сорок тысяч человек в Хиросиме, — говорит Пичон.

— Попрошу не перебивать, — произносит Томатис. И после паузы, бросив притворно суровый взгляд, ни к кому конкретно не обращенный, продолжает: — История будет происходить в Лондоне, незадолго до Второй мировой войны. Холмс и Ватсон, постаревшие, давно отошли от дел, им, вероятно, уже за восемьдесят. Они ужинают в квартире Холмса на Бейкер-стрит, № 221-б, в компании инспектора Лестрейда, ушедшего из Скотланд-Ярда на пенсию не менее пятнадцати лет назад, и молодого инспектора, племянника Лестрейда, который состоит в штате полиции и уже давно уговаривает своего дядю познакомить его с легендарным сыщиком. Ко времени ужина прошло уже более пятидесяти лет с того дня, как врач, недавно приехавший из Афганистана, отправился выпить в бар "Критерион" и встретил там бывшего фельдшера Стэмфорда; тот, узнав, что Ватсон хотел бы снять удобные комнаты с кем-нибудь на пару, предложил познакомить его с Шерлоком Холмсом, который как раз искал себе компаньона для проживания в квартире на Бейкер-стрит, № 221-б; и, хотя некоторое время спустя, по причине женитьбы, Ватсон переехал в собственный дом и они порой подолгу не виделись, его с Холмсом связывала, что называется, крепкая дружба. С возрастом их встречи стали происходить реже, но телефон помогал поддерживать общение. Примерно за пятьдесят лет до того вечера, о котором я напишу, если возьмусь когда-либо за мое повествование, в предвечерний час 20 марта 1888 года, чтобы быть точным, какое-то время спустя после того, как он потерял Холмса из виду по причине своей женитьбы, Ватсон случайно проходил по Бейкер-стрит, не подозревая, пожалуй, что благодаря новой встрече они станут навеки неразлучны не в повседневной реальности, а в стилизованных сферах мифа, и решил нанести визит своему богемному другу, который, по его собственным словам, "плохо адаптировался в любом обществе и, погребенный среди своих старых книг, то предавался собст-

венным амбициям, то нюхал кокаин". В моем рассказе в стихах обязательно будут присутствовать эти явные и неявные константы повествовательного цикла — падучие звезды событийности на недвижном небосводе легенды.

Идея в том, что после нескольких попыток представить своего племянника, который еще с прошлой недели предлагал нанести визит именно в этот вечер, у Лестрейда в это же утро зазвонит телефон и Холмс подтвердит запланированную встречу, но поставит загадочное условие — пусть гость прихватит с собой пару наручников и табельный пистолет. В первую минуту можно подумать, что речь идет о старческой причуде Холмса, но Лестрейд, поразмыслив немного, придет к заключению, что у Холмса, видимо, имеются для этого какие-то основания. Ватсон, в свою очередь, и два других гостя должны прибыть ровно в семь часов на Бейкер-стрит, встретиться у входа и подняться по лестнице в сопровождении миссис Хадсон, консьержки-экономки-кухарки Холмса на протяжении нескольких десятков лет, которая, по причине того, что, например, ее внук служит в римском филиале одного английского банка, с некоторых пор взялась экспериментировать с итальянской кухней, снискав самое твердое неодобрение Холмса и Ватсона, каковые, однако, никоим образом не смеют этого показать. К этим возможным вторжениям старушки в область международной кухни мне хотелось бы также добавить описание погрешностей и путаницы, которые она могла допускать в силу преклонного возраста, ошибаясь в различных ингредиентах, пропорциях продуктов и времени приготовления, и так далее, и так далее. Только лишь напитки — single malt[1], порту, арманьяк, шабли в категории белых и шамболь-мюзиньи в разряде красных — будут безупречны, видимо благодаря тому, что Холмс заказывает их у одного и того же поставщика вин и спиртного, как минимум, последние тридцать пять лет. Я намерен проработать следующую ситуацию: хотелось бы сопоставить реакцию героев на блюда, ибо Лестрейд и его племянник будут восторгаться и *вителло тоннато*[2], и *пенне арабьятта*[3], и *инволтини*[4], горгонзолой, копченым сыром провола и тирамису, выражая Холмсу свое восхищение практически с каждым новым кусочком и поздравляя его с возможностью наслаждаться услугами столь чудесной кухарки, тогда как Холмс с Ватсо-

1. Односолодовый виски (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Холодная закуска из маринованной телятины (*итал.*).
3. Макаронные трубочки с острым соусом (*итал.*).
4. Рулетики с начинкой из мяса или овощей (*итал.*).

ном будут пытаться скрыть, в какое отчаяние повергают их кулинарные фантазии и технические просчеты пожилой женщины, которая заботится о своем квартиранте уже пятьдесят один год и не готова выслушивать ни малейших советов и тем более минимальной критики или замечаний о том, как ей осуществлять на практике свои функции. Но я пока не решил, включать ли данную ситуацию в текст, возможно, мне не удастся подобрать для нее соответствующие стихи, и потом, я уже наблюдал подобное в некоторых фильмах и думаю, что это комическое отступление сопряжено для меня с риском чересчур отклониться от главной истории.

Как раз к десерту или когда они перейдут в гостиную выкурить по трубке — молодой инспектор мог бы, вероятно, курить сигареты со светлым табаком, так, пожалуй, будет правдоподобнее, — и посмаковать single malt или арманьяк прошлого века, профессиональные навыки возобладают, и четыре расследователя или, если хотите, три расследователя и биограф смогут припомнить кое-какие из недавних криминальных дел, а затем перейти к обсуждению ужасного преступления, которое несколько дней назад взволновало не только Англию, но и, как выражаются те, кто допускает злоупотребление языком, весь цивилизованный мир: медсестра родильного дома, расположенного к западу, или к югу, или к северу от Лондона — в общем, в немногих часах езды от столицы по железной дороге, — отравила, видимо в приступе безумия, шестнадцать новорожденных младенцев и покончила с собой. Радио и газеты только об этом и говорят; в мировых анналах преступлений против частных лиц никогда не наблюдалось более чудовищного злодеяния. Правительство и даже королевский дом, как поговаривают, могут вмешаться в это дело.

Здесь появится ключевой персонаж всей истории, один из представителей высшей английской знати, принадлежащий к тем немногим старинным родáм, что могут, помимо Виндзоров, претендовать на трон. В этой точке повествования, подчиняясь требованиям интриги и тирании правдоподобия, я буду вынужден ввести некоторое количество информации по самой неинтересной и бессодержательной теме, к каковой, в силу тягостной обязанности, может обратиться писатель: английская аристократия. Перспектива эта настолько неутешительна, что могла бы заставить меня отказаться от замысла, но, думаю, мне удастся справиться с повествованием, не вдаваясь особенно во всякие детали, кроме одной — существеннейшей, ибо она явится основополагающим элементом интриги: два сына-подростка некоего лорда W. (назовем его так) могли бы с полным правом претендовать на анг-

лийский престол. Все эти подробности, в случае если мой рассказ в стихах будет написан, станут всплывать в ходе застольной беседы в гостиной на Бейкер-стрит.

Полагаю, что Холмс в течение какого-то времени будет сидеть в молчании, с чуть отсутствующим видом, с полузакрытыми глазами, словно не слушая беседы.

Или словно — и это надо бы выразить поизящнее, акцентируя ритм стиха к финалу строфы и подыскивая соответствующие слова, чтобы подчеркнуть поэтическую мысль, не нарушая чрезмерным лирическим порывом плавности повествования, — из привычной дремоты, какой является жизнь человека, Холмс, погружаясь в старость, впал в глубочайшее оцепенение. Если когда-нибудь я решусь написать этот злополучный рассказ, задуманный, сказать по правде, довольно-таки давно, то постараюсь, чтобы в течение некоторого времени главные события сюжета прошествовали перед невозмутимым лицом Шерлока Холмса — тонкие поджатые губы, орлиный нос, чей острый изгиб сделается к старости заметнее, взлохмаченные, скорее серые, чем белые, волосы, весьма обильные, несмотря на минувшие годы, гладкая кожа, испещренная едва приметными, но многочисленными морщинками, придающими ей вид несколько увядший, но еще не старческий. Потухшая трубка застынет на ладони левой руки, а в правой уютно поместится бокал арманьяка, согреваемый прильнувшими к стеклу пальцами. Через какое-то время его прищуренные веки разомкнутся, и взгляд, отвлекшийся от всего внешнего из-за глубокой погруженности в себя, столь знакомой доктору Ватсону, вновь обратившись к вещам мира сего, встретится с глазами молодого инспектора, и Холмс, вспомнив некую деталь последнего момента, извлечет часы из верхнего кармана домашнего халата темно-зеленого бархата и озабоченно, с некоторым затруднением посмотрит, который час, прежде чем заговорит.

— Инспектор, — скажет он значительно, — вам, считающему, вероятно не без основания, что ваш талант не был в достаточной мере оценен Скотланд-Ярдом, а ваше повышение несправедливо откладывалось в сравнении с многими из ваших коллег, этой ночью, может быть, представится возможность вновь продемонстрировать, чего вы действительно стóите, и получить достойное вознаграждение за ваши заслуги.

Услышав эти слова, молодой инспектор широко раскроет глаза от удивления, но немедленно, с осуждающим видом, в порыве негодования бросит полный упрека взгляд на Лестрейда, а тот, приподнявшись со своего места за счет ничтожных остатков проворства, на которые еще способны его старые суставы, примется бормотать путаные и бессвязные возражения.

— Прошу вас, инспектор, не смущайтесь, — скажет Холмс с улыбкой примирения. — Наш старый друг Лестрейд не совершил никакой бестактности, и, поверьте, хотя мои способности угасают день ото дня, я еще владею некоторыми ресурсами в дедуктивном плане и, хоть мое зрение неуклонно слабеет, я еще не совсем утратил способности к наблюдению. Первая деталь, обусловившая мои рассуждения, основана на следующем обстоятельстве: в вашем возрасте вам полагалось бы подняться намного выше в иерархии того учреждения, в котором вы состоите на службе, что, разумеется, могло бы объясняться нехваткой таланта или профессиональных способностей. Тем не менее сами дела, которые мы обсуждали за ужином и по которым вы работали, решив их блестящим образом, и за перипетиями некоторых из них я имел возможность следить в свое время по газетам, где ни разу не упоминалось ваше имя, доказывают, что ваше повышение по службе неоднократно откладывалось не в силу вашей некомпетентности, а из-за привычной несправедливости бюрократических решений. И именно ваш любезный визит в этот вечер еще более наводит меня на мысль о вашем обоснованном недовольстве сей недопустимой волокитой. В первую очередь, ваш интерес к знакомству с доктором Ватсоном и со мной и то обстоятельство, что мужчина в полном расцвете умственных и физических сил выразил желание провести тихий вечер со стариками, свидетельствует, с психологической точки зрения, о безучастности к делам настоящего и идеализации прошлого, что нередко присуще людям, не вполне удовлетворенным своей судьбой или положением. Не отрицаю, что подобная склонность может быть вызвана факторами, ничего общего не имеющими с профессиональной жизнью, но вторая деталь, гораздо более решающая, убедила меня в обратном. На этой неделе все газеты поместили объявление о том, что сегодня вечером — а именно в эти минуты — в одном из отелей в центре города проходит ежегодный бал Скотланд-Ярда, о факте и о дате проведения которого вы не могли не быть осведомлены. Обращаю ваше внимание на то, что к моменту, когда вы предложили, чтобы планируемый нами ужин состоялся сегодня вечером, дата проведения бала уже была определена и объявлена во всеуслышание, и это позволяет мне заключить, что вы сознательно предпочли запереться среди этих старых стен с тремя стариками, вместо того чтобы разделить блистательное празднество с цветом лондонской полиции. Это предпочтение с вашей стороны утвердило меня в мысли, что в связи с вашим профессиональным положением вы ощущаете некоторую горечь, мешающую вам чувствовать себя комфортно среди коллег.

— Славное деяние должно ознаменоваться разнообразнейшим выражением восхищения со стороны присутствующих, — говорит Томатис с довольной и в то же время слегка скептической улыбкой в отношении подлинной ценности такого триумфа дедукции. И затем, обращаясь к слушателям с нарочито ученым видом, продолжает: — Легендарного героя следует представить не через психологические детали его истинной личности, в случайных обстоятельствах, а в формальном наборе сложившихся черт, позволяющем тотчас его распознать и принять в нем любой способ мысли и действия, каким бы неправдоподобным он ни казался, при условии, что он вписывается в схему такого распознавания. Но в то же время — сами увидите, если мне удастся перенести это на бумагу, — мой Шерлок Холмс восприимчив и к случайному стечению обстоятельств.

Собеседники улыбаются, но все по-разному. Лицо упомянутого Пичона Гарая озаряет блуждающая улыбка, будто слова Томатиса вызвали у него не непосредственные эмоции, а смутные воспоминания. Сольди же, напротив, помешивает кофе, видимо, ожидая, пока тот слегка остынет, поднимает голову, и его внимательный, усмехающийся взгляд мгновенно встречается с ироническим взором Томатиса; а у самого Нулы, не упустившего ни единого слова из рассказа, на лице едва ли уже не играет рассеянная улыбка, которая так и не проявится четко, поскольку последнюю минуту, даже не понимая зачем, он наблюдает за официантом: принеся заказ, тот вновь садится у входной двери и продолжает чтение вечерней газеты. В силу некого беспредметного любопытства, каким, с другой стороны, любопытство почти всегда и бывает, Нула пытается угадать, с какого раздела официант возобновил чтение, и прикидывает, что по количеству страниц, зажатых в левой руке, — их больше, чем оставшихся в правой, на которые обращен взор склонившего голову человека, — речь, скорее всего, идет о новостях спорта. Официант слишком очевидно принадлежит к типу "старого креола", чтобы страницы светской хроники или культурной афиши, рассчитанные скорее на представителей среднего класса и буржуазии и непосредственно предшествующие спортивному разделу в макете газеты, неизменном с незапамятных времен, могли привлечь его внимание, хотя Нула и не исключает, что больше всего он, возможно, интересуется некрологами, а потом — телепрограммой на завтра, как наиболее подходящей его возможностям досуга. Что касается погоды, то благодаря продолжающему лить плотному и шумному дождю, который сопровождается продолжительными молниями и нескончаемым громом, нетрудно проверить, оказался ли прогноз газеты "Ла Рехион", устаревший уже несколько

часов назад, точным или ошибочным. Исходя из сдержанного вида и явного безразличия официанта к гремящей грозе, Нула отклоняет мысль о подобном археологическом любопытстве и выбирает спортивную страницу. И именно в эту минуту некое впечатление, занятное, хотя и хорошо знакомое от частого повторения, поглощает его полностью, как это уже не раз происходило за последнее время в самые различные моменты и в самых неожиданных местах — он может находиться дома или на улице, в городе или в поездке, один или в компании, в дневное время или ночное, утром или вечером, зимой или летом, в приятных или неприятных, серьезных или забавных обстоятельствах, — яркое, живое присутствие всего окружающего, словно выпуклость и плотность материи вдруг возросла, или будто каждая вещь, включенная в настоящее, внезапно обрела дополнительную долю реальности, явственно овладевает его чувствами и в силу некоего ассоциативного автоматизма вызывает в нем аналогичное подобие мысли, невербальное убеждение, каковое, если попытаться перевести его в слова, может быть сформулировано таким образом: *Мир есть это и ничто иное, он не кажется ни враждебным, ни радушным, скорее нейтральным. И теперешнее впечатление, без всякого внематериального дополнения или продолжения – это действительно и есть я. Пока длится этот мир чистой материи, извергнувший из себя всякую легенду, мир ни дружественный, ни враждебный, а скорее ясный и сияющий для чувств, я защищен от времени, от боли, от смерти, хотя мне и пришлось отдать взамен привычное, радость, упоение. Но это начинает проходить, проходит. Уже прошло. За несколько секунд, пока длилась его отвлеченность, охватившая в плане явлений последние слова из отступления Томатиса, какие-то движения ложечки Сольди в чашке с кофе и легкое, задумчивое покачивание головы официанта, вызванное некой очевидностью чтения, переживание проявилось и вновь ушло, и улыбка Нулы, едва наметившись на губах, становится откровеннее и шире – чуть ли не избыточной, – когда его взгляд обращается к Томатису, который после взвешенной и чисто риторической паузы решает продолжить.*

— Да, — говорит он. — Да. Именно так бы я и написал. Шерлок Холмс, после этого несколько педантичного доказательства, которое Ватсон, многократно в течение многих лет подобное наблюдавший, слушал с плохо скрываемым нетерпением и счел излишним, мог бы высказаться следующим образом, разумеется, в стихах, хотя я пока что резюмирую это устно в прозе, и получилось бы примерно так: ужасные события, весть о которых распространилась в последние дни, пробудили во мне вполне понятное любопытство, так что посредством прессы, с помощью моих архивов, а также благодаря содействию такого

современного благодетеля старости, как телефон, мне удалось собрать значительное количество фактов, позволивших получить наиболее полное представление о ситуации. Означенная медсестра, которой вменяется страшное преступление, отравила молоко и молочные смеси в родильном доме и выпила тот же яд, какой дала шестнадцати младенцам, то есть всем детям, родившимся в роддоме за последнюю неделю и еще не выписанным вместе с матерями из больницы. Она отравила детское питание рано утром на кухне, а затем покончила с собой, прежде чем смертоносный яд был роздан новорожденным различными способами, и в силу этих обстоятельств дело представляет собой курьезный случай в анналах криминальной истории не только из-за характерных, особенно ужасных деталей, но также и потому, что, хотя орудие преступления, по-видимому, было подготовлено заблаговременно, *жертвы были убиты через несколько часов после смерти самого преступника.* Относительно мотивов страшного преступления газетные обозреватели и криминальные специалисты в целом, как мне удалось заключить из их заявлений, вполне определенных, хотя и мало понятных людям непросвещенным, выдвинули три гипотезы. Согласно первой, гибель новорожденных младенцев объясняется недосмотром медсестры, которая, осознав свою ошибку и глубоко ошеломленная ее последствиями, решила наложить на себя руки. Но эта гипотеза немедленно рушится в силу того, на что я указал ранее, а именно: младенцы были отравлены, по меньшей мере, через два часа после самоубийства медсестры, а такого промежутка времени вполне хватило бы ей для исправления ошибки и предотвращения трагедии. Вторая гипотеза говорит в пользу преднамеренного поступка и самоубийства, а третья — о преступлении сестры и ее убийстве от руки кого-то, кто решил отомстить за малюток, придав деянию даже в глазах полиции все признаки самоубийства. Таковы гипотезы, сумбурно распространяемые в общественных кругах, но есть еще и четвертая, хотя она, чтобы мы могли принять ее как достоверную, зависит от реального совершения неких событий, *пока не произошедших.* Если, как я рассчитываю с сегодняшнего утра, эти события произойдут в том порядке, в каком я себе это представляю, они без необходимости дополнительных доказательств станут подтверждением последней гипотезы, которую, как вы уже догадались, я разработал сам. Я вам скажу, что это будут за события, но поскольку у нас впереди достаточно времени, воспользуемся им для подведения общего итога ситуации. Мы можем разделить дело на четыре разных аспекта: 1) родильный дом; 2) его главный благодетель; 3) медсестра; 4) шестнадцать новорожденных.

Родильный дом, в котором происходили события, — это недавно созданное учреждение: оно существует чуть более года и было открыто лично министром здравоохранения, так как речь идет о больнице, оборудованной новейшими достижениями науки и техники в данной сфере, а также о знаменательном политическом акте, состоявшемся в предвыборный период в округе, от которого министр выступал кандидатом на собственное переизбрание в палату общин. В день открытия в официальной ложе находился лорд W., наследственный, разумеется, член палаты лордов, явившийся одним из главных благодетелей нового родильного дома, поскольку тот был построен на землях, принадлежавших его семье и переданных в дар органам здравоохранения. Кроме того, лорд W. возглавил кампанию по сбору частных средств, в определенный момент широко разрекламированную, ведь, как я смог уточнить в моем личном архиве, ряд общенациональных и региональных газет поместили на первой полосе фотографию лорда, ставящего в муниципалитете округа, где планировалось строить здание, подпись под актом дарения земель.

Откровенно говоря, подобная смесь политической рекламы, вопросов здравоохранения и благотворительности мне не совсем по душе, — здесь мы с вами схожи во мнении, не правда ли, мой дорогой Ватсон? — но должен признаться, что пожертвование оказалось крупным, а строительство родильного дома явилось знаком подлинного прогресса в этом небольшом городке, надолго забытом властями и, в силу печального события, ставшем два-три дня назад всемирно известным. С другой стороны, участие лорда W. оказалось решающим для осуществления предприятия, и с моей стороны было бы несправедливо отрицать его заслугу. И хотя доктор Ватсон приписывал мне некогда полное отсутствие интереса к философии, досуг и затворничество последних лет позволили мне частенько обращаться к трудам одного небесталанного немецкого мыслителя, профессора Иммануила Канта — не знаю, приходилось ли вам слышать о нем, потому что речь идет о довольно безвестном персонаже, я сам услышал его имя в прошлом году впервые, — из сочинений которого мне приходит на память следующее размышление: *для натуры благородной скорее желательно стремление сторониться титулов и пренебрегать ими, а вовсе не принимать и не демонстрировать их.* Нам еще предстоит увидеть, благороден ли наш лорд на самом деле, но в любом случае он — главный представитель одного из древнейших родов Англии, могущего, как я уже упоминал, явиться альтернативой царствующей династии, что свидетельствует о его солидном политическом весе. Его род пользуется большим влиянием и имеет

ответвления по всей Европе, а имущество представляет собой одно из величайших состояний в мире, не только в виде земельных владений, разного рода собственности, произведений искусства, но и промышленных предприятий, а также инвестиций в торговый, банковский и биржевой капитал. В стране его влияние столь велико, что даже превосходит влияние представителей короны, поскольку не так подвержено бесцеремонности современного мира. Хорошо известно, что, хотя лорд неизменно занимает осмотрительную позицию, он является одним из лидеров палаты лордов и идейным ориентиром консервативной партии. В свои пятьдесят лет он находится на вершине общественной, политической и финансовой власти, и могу утверждать без малейшего преувеличения, что с учетом всех вышеперечисленных качеств плюс отличного здоровья, атлетической внешности и прекрасной семьи его положение на сегодняшний день является одним из самых завидных в мире.

Займемся теперь медсестрой. Эта девушка, если верить газетам, работала в родильном доме лишь последние семь месяцев и была рекомендована на эту должность неким безвестным членом семьи лорда W., вероятно, одной из племянниц, дочерью его старшей сестры, умершей в прошлом году после продолжительной болезни. Для большей уверенности я позвонил сегодня утром в отдел некрологов "Таймс", где мне подтвердили, что леди М. умерла от прогрессирующей опухоли в декабре прошлого года. Болезнь подобного рода требует постоянного ухода, так что услуги сиделки абсолютно необходимы. И именно женщина, чье имя занимает теперь первые полосы газет, заботилась о больной в течение долгих месяцев, предшествовавших кончине. И, видимо, исполняла она свои обязанности превосходно, поэтому семья умершей рекомендовала ее руководству родильного дома, которое не могло отказать тем, кто содействовал строительству учреждения, и нашло место для медсестры, оставшейся без работы в связи со смертью пациентки.

Вы сами видели ее фотографию в газетах: весьма привлекательная молодая особа, возможно, несколько наивная, но с решительным выражением лица, лет двадцати трех-двадцати четырех, несомненно скромного происхождения, однако с достаточно сильным характером, чтобы не испытывать неловкости в тех случаях, когда в силу профессиональных обязанностей или по иной причине ей приходилось иметь дело с представителями более высоких общественных классов. Судя по газетам, с тех пор как она приступила к работе в родильном доме, все смогли оценить ее деловые достоинства, пусть

даже кое-кто из коллег и упрекал ее за чрезмерную скрытность в частной жизни, каковую двое-трое охарактеризовали даже как "таинственную". Она никогда не уклонялась от исполнения трудных задач и неизменно соглашалась на самую тяжелую работу, но предпочтение отдавала ночным сменам, во время которых, благодаря немногочисленности дежурного персонала, ей было легче оберегать свой внутренний мир, в результате чего ни одному из ее коллег не удалось сойтись с ней близко. После смерти медсестры те, кто общался с ней чаще других, осознали, что почти ничего о ней не знают. Одна из коллег предположила, что та, по всей вероятности, тайно принимала спиртное, так как через месяц после начала работы в родильном доме у нее пару раз случалось недомогание, а в последнее время она изрядно растолстела. На деле, единственное, что можно было сказать о ней определенно, это то, что за неделю до описываемых событий она взяла бюллетень по болезни и отсутствовала на работе до ночи накануне преступления. На основании немногих указанных деталей один из врачей учреждения диагностировал, естественно задним числом и при заведомом отсутствии пациентки, невротическую депрессию в результате этиловой интоксикации, причем данная гипотеза, уверен, будет без труда опровергнута неминуемым вскрытием.

Теперь я должен кратко остановиться на новорожденных младенцах. В данной сельской местности родильный дом обслуживает достаточно обширный район, и роженицы поступают сюда из многих окрестных населенных пунктов. Этим объясняется относительно высокое число новорожденных, находившихся в ту ночь в учреждении: шестнадцать. Однако мое внимание активно привлекает некий весьма многозначительный факт (не знаю, отметили ли вы его также): в списке семей погибших младенцев приводится лишь пятнадцать фамилий. Я взял на себя труд сравнить все газеты, и результат оказался убедительным. Во всех опубликованных списках неизменно появляются пятнадцать фамилий, никак не шестнадцать. В первый момент мне подумалось, что у какой-то из матерей могла родиться двойня, но я сразу отмел подобную гипотезу, так как желтая пресса, извлекающая дивиденды из печальных фактов, вряд ли прошла бы мимо такой вдвойне прискорбной детали. Нет, объяснение следовало искать где-то еще, и после продолжительных раздумий решение показалось мне очевидным: шестнадцатый младенец попал в родильный дом негласно, и представители властей по вполне понятным причинам решили скрыть этот факт, чтобы не пострадала репутация учреждения.

Три слушателя, неподвижные и безмолвные, пребывают как бы на втором плане по отношению к собственному вниманию, занимающему центр сознания, впитывая одну за другой подробности рассказа, явную или скрытую интенцию слов и одновременно мобилизуя другие функции, которые ставятся ему на службу, — интеллект, память, интуицию, слуховое восприятие, улавливающее звучание слов, и зрительное наблюдение, извлекающее из мимики, взглядов и жестов повествователя тот дополнительный смысл, который возникает лишь при устном изложении истории. Когда от сильнейшего грома содрогается весь город и по отдельности каждый из сотрясаемых предметов, помещенных в каждой из комнат каждого из домов, из которых состоит город, Томатис делает мгновенную паузу, чтобы оценить грохот, и, изобразив гримасу восхищения, которую можно расценить как своего рода лирическое отступление, замирает на несколько мгновений в задумчивости, после чего продолжает.

— В представлении фактов, которое мы могли бы назвать аналитическим и которое он предпочтет для большей ясности изложения, Холмс уже приведет достаточно элементов, придающих правдоподобие его собственной гипотезе относительно произошедшего. В повествовательной поэме — если я когда-нибудь ее напишу — энергично будет подчеркнуто следующее: данную гипотезу Холмс разработал, не выходя из своей комнаты, и даже, можно сказать, не снимая своего домашнего халата темно-зеленого бархата, разве только перед отходом ко сну, и почти не вставая со своего любимого кресла, кроме случаев, когда требовалось сделать несколько шагов по комнате, чтобы свериться с личными архивами, развернуть на секретере вырезки из газет разного времени — некоторые даже многолетней давности — и заняться их сравнительным изучением, или заглянуть в один из трудов по истории английской аристократии, в трактат о различных видах ядовитых веществ, их происхождении и особенно их действии, или, скажем, в полный железнодорожный справочник, содержащий тарифы, расписание, основные стыковки поездов и тому подобное. После подробного вступления Холмс кратко изложит то, что он с данной минуты будет именовать “четвертой гипотезой”, причем эта формула, в свою очередь, если я ее напишу, станет заголовком моей повествовательной поэмы. И эта четвертая гипотеза Холмса будет примерно следующей: в течение тех месяцев, пока медсестра ухаживала за леди M., она, по-видимому, не раз имела возможность пересекаться с братом больной, спортивным и блистательным лордом W., о котором Холмсу удалось вычитать из светской хроники старых газет, что прежде, чем обзавестись семьей, он

вел бурную амурную жизнь. По мнению Холмса, подобный темперамент не должен исчезнуть в супружестве; он просто станет сдержаннее. Холмс тогда, согласно четвертой гипотезе, предположит наличие интимной связи между лордом W. и медсестрой. После смерти своей сестры лорд W. через племянницу, чтобы не подвергать себя опасности, порекомендует медсестру на должность в родильном доме и на протяжении первых недель по-прежнему будет с ней тайно встречаться, хотя в определенный момент между ними произойдет разрыв. Причем не по инициативе лорда W., который предпочел бы и дальше негласно наслаждаться прелестями двадцатитрехлетней девушки, а из-за медсестры, вероятно, расставшейся с лордом под каким-то предлогом, не сообщив ему о беременности и о желании родить ребенка, чего ее любовник никак не мог бы допустить в силу своего высокого политического и социального положения. Недомогание в первые недели после прибытия в больницу и тот факт, что она изрядно потолстела за последние месяцы, вызвали подозрения Холмса на этот счет, как, возможно, и подозрения лорда W. Порой беременность не очень трудно скрыть, и у медсестры, по мнению Холмса, вполне вероятно могло быть два разных замысла: первый – исчезнуть вместе с ребенком через несколько дней после его рождения, второй – потребовать от лорда W. компенсации, пригрозив скандалом, то есть, грубо говоря, шантажом. Холмс мог бы добавить с горькой усмешкой, в трех-четырех прочувствованных строфах, что мир уже никогда об этом не узнает, но, как бы то ни было, для лорда W. оба варианта оказались бы в равной степени опасны, так как отец двух законнорожденных сыновей, способных претендовать на английский престол, никогда бы не допустил, чтобы его внебрачный ребенок свободно разгуливал по свету. Таким образом, видимо, началась осада с целью заставить медсестру избавиться от ребенка. Поскольку делать аборт было слишком поздно, медсестра стала опасаться за свою собственную жизнь, так что, вероятно, по мнению Холмса, она, скорее всего, решила подстраховаться, оставив некое письмо, документ, с помощью которого, случись с ней что-то серьезное, можно было бы предать ситуацию огласке. В силу этого, как считает Холмс, медсестра смогла дожить до момента родов, однако отданные ей распоряжения не позволили бы защитить младенца по той простой причине, что весь мир, кроме нее самой и именитого члена палаты лордов, не подозревал бы о его существовании. Ведь именно за неделю до этого, отпросившись на несколько дней из больницы, она, по всей видимости, укрылась в укромном месте, где и родила ребенка. Как хороший профессионал, она, должно быть, все заранее подготовила и при появлении первых признаков родов

уединилась вдали от нескромных взглядов в соответственном месте, снабженном всем необходимым, и без посторонней помощи произвела дитя на свет. Холмс, — говорит Томатис, — в эту минуту умолкнет и задумается, сосредоточившись на том, что собирается сказать, и на лице его возникнет выражение глубокой озабоченности, близкой скорее к печали, чем к негодованию. И в этой точке повествования, если, разумеется, поэма будет написана, я представлю изменения, произошедшие за последние годы в личности Холмса, еще раз наглядно показывая, как мнимая незыблемость мифа трещит по швам и трансформируется под повседневным, ежеминутным разрушительным воздействием упорно наседающих обстоятельств. Политические и нравственные воззрения Холмса, отличавшиеся до Первой мировой войны категорическим консерватизмом, видоизменялись в том варианте, в каком они будут даны в моей повествовательной поэме, под влиянием ряда исторических событий, таких как русская революция, убийство Розы Люксембург, экономический кризис 1929 года, подъем фашизма и нацизма, война в Испании и неоспоримые социальные завоевания Народного фронта. Удалившись с публичной сцены и перейдя к однообразному бытию свободного от дел рантье и, как многие другие бесхитростные мелкие вкладчики, едва унеся ноги с биржи, располагая достаточным досугом для ознакомления с более независимыми суждениями, чем те, что появляются в газетах (Спиноза зарабатывал на жизнь оптикой, Шопенгауэр жил на ренту, а Ницше получил пожизненную пенсию от Базельского университета за замечательную десятилетнюю службу в качестве филолога, когда по состоянию здоровья ему пришлось отказаться от кафедры, так что ни один из трех не был обязан умерять свои идеи и формы выражения, чтобы не рассориться с теми, кто оплачивает рекламные объявления, как это происходит в газетных редакциях), Холмс постепенно проникся идеями социализма, даже анархо-синдикализма, к которым, согласно проницательному мнению доктора Ватсона, в силу оригинальности его образа жизни и, кстати, не поддающейся классификации личности, видимо, имел врожденную предрасположенность. Доктор мог бы рассказать, плавно покачивая головой и при этом улыбаясь, что Холмс как-то заявил ему: *Какой прок от защиты установленного порядка, кроме жалкого одобрения взяточников и пройдох, да еще сомнительного восторга заурядных душ?*

— Инспектор, — произнесет Холмс, обращаясь к инспектору в случае, как говорит Томатис, если поэма будет написана, — люди, утверждающие, будто ничто не ново под луной, не ведают, что человеческое сознание, освобождаясь от определяющих его исторических условий, становится новым

фактором, анализирующим и оценивающим происходящее каждый раз в ином свете, а потому именно наше неизменно обновляемое сознание делает каждое событие неповторимым. Медсестра, согласно плану, предполагала спрятать младенца среди других детей, чтобы он, так сказать, затерялся среди пятнадцати новорожденных роддома. Не было ничего проще; все дети находились в общей палате, из которой в четко установленные часы их забирали покормить и оставить лишь на какое-то время, по нескольку раз в день, с матерями, размещенными по три-четыре в разных палатах роддома. Дети никогда не находились все вместе в общей палате; кого-то всегда не хватало и, разумеется, поскольку никаких причин для опасений не было, никому не пришло бы в голову их пересчитывать. После преступления о наличии неизвестного младенца умолчали, чтобы, как я уже сказал, не нанести ущерба репутации учреждения, да к тому же пока не выяснилось достоверно, откуда он взялся. Как бы то ни было, после проведения вскрытия тела матери, запланированного, по-моему, на вечер завтрашнего дня, не останется никаких сомнений относительно происхождения ребенка.

Как это ни покажется ужасным, преступление лорда W., тем не менее, не оригинально; это злодеяние Ирода, и в обоих случаях избиение младенцев имело под собой схожие причины, поскольку одним своим появлением новорожденный свидетельствовал о том, что люди, собиравшиеся его уничтожить, присвоившие себе высокий сан и готовые отстаивать этот сан любой ценой, завладели им тайно, беззаконно и преступно и, кроме методов всяческого давления и пропаганды, у них не имелось иных оснований для его сохранения. Когда преступление, как в случае с Иродом, подкрепляется предлогом политическим, оно должно выставляться напоказ, чтобы подтвердить свою легитимность. Явленная мерзость — это частное деяние; совершив его, злоумышленник ставит на кон свое имя, род и собственную голову, над которой уже нависает тень эшафота. Однако, помимо заветного документа медсестры и пары иных деталей, ничто не могло бы подкрепить положений четвертой гипотезы. А именно: что лорд W., поняв, где укрыт внебрачный ребенок, и не добившись от медсестры, чтобы она на него указала, отравил ее, инсценировав преступление как самоубийство, а затем добавил яд в молоко и другие вещества, с которыми должны были соприкасаться младенцы, ведь яд был настолько сильный, а его действие — столь необычайным и мгновенным, что даже при наружном контакте он оказывался смертоносным, во всяком случае для новорожденных. Такова, дорогие друзья, моя собственная гипотеза, — произнесет Холмс, если,

как говорит Томатис, повествовательная поэма будет написана, и по завершении продолжительного рассказа вновь извлечет часы из верхнего кармана темно-зеленого домашнего халата и, слегка отведя руку в попытке преодолеть сильный астигматизм, не без труда попытается разобрать время.

В течение слишком долгого лета внимание туманится, а разум погружается в дремоту; лишь тело, несмотря на всеобщую вялость, похоже, самостоятельно предается скорее удовольствиям компенсации, таким как прохлада, ощущаемая на вкус или осязаемая, уравновешивающая жару, физическое усилие, которое, хотя и повышает потливость и утомление, позволяет приобрести по контрасту после отдыха ощущение легкости, или секс, доводящий напряжение и надежду до пароксизма, но при этом способный добиться на несколько секунд отмены Целого, чье бремя мы безотчетно всегда несем на плечах, или, пожалуй, в более скромном плане — наиприятнейшего мышечного и умственного расслабления. Но с первой осенней грозой, когда температура воздуха за считаные часы или даже минуты опускается на несколько градусов, звучит всеобщая тревога и, если чувства с восторгом незамедлительно воспринимают перемену, запотевшее стекло рассудка, избавившись от летних испарений, вновь становится ясным, прозрачным, всеохватным, ярким и живым. В таком состоянии и пребывают теперь в баре автобусного терминала, где начинает ощущаться первая свежесть дождя, грохочущего по всему городу, Сольди, Пичон и Нула, слушающие, почти не мигая, округлые фразы, которые Томатис произносит в своей ироничной манере, шевеля темными губами.

В его поэме, если она будет написана, Холмс скажет, что, когда доказательства ужасающего преступления отсутствуют, следует побудить предоставить их самого преступника. И вновь убрав часы в верхний карман домашнего халата темно-зеленого бархата, Холмс сообщит аудитории: примерно через семь минут моя гипотеза будет подтверждена или опровергнута в зависимости от оборота, который примут (или не примут) события. И Томатис продолжает: Холмс, разумеется в стихах, если повествовательная поэма будет написана, объяснит своим слушателям, которые будут внимать ему, смакуя single malt или арманьяк прошлого века, каким образом он действовал. Некто Дэнни Крыса, наиболее искусный вор из самых низов английского общества, весьма обязанный Холмсу, который помог ему отправиться на целый год в тюрьму — *Счастливейший год моей жизни*, заявит Дэнни с облегчением и благодарностью, — и спас таким образом от виселицы, поскольку Дэнни, стремившийся в своем ремесле к высшему совершенству, ко-

гда Скотланд-Ярд обвинил его в тройном убийстве, никак не мог доказать, что в то время, когда данное тройное убийство произошло в Лидсе, он обчищал бюргерский особняк в Корнуолле, — столь неоспоримым было его мастерство в искусстве стирать любые следы своего пребывания в каком-либо месте. Холмс, два-три раза прибегавший к его помощи до описываемых событий, знал, что единственную страсть Крысы составляет воровство, и сумел доказать — инспектор Лестрейд наверняка еще помнит об этом деле — его виновность в краже, чем и избавил от виселицы. Таким образом, Дэнни, скажет Холмс, не мог бы отказать ему ни в каком одолжении, и, поскольку он удалился в деревню и жил в двух шагах от того места, где́ произошли события, был в состоянии выполнить поручение Холмса наиболее быстро и эффективно. А задача, скажет Холмс в рассказе, который по замыслу Томатиса, окажись он написанным, будет отличаться тем, что наряду с "Царем Эдипом" станет в истории литературы единственной детективной историей, изложенной в стихах, заключалась в следующем: незаметно подбросить в квартиру медсестры подложную телеграмму, якобы посланную полтора месяца назад и составленную в таинственных выражениях, понятных исключительно автору четвертой гипотезы и лицу, которого данная гипотеза называет предполагаемым виновником, телеграмму, завуалированно намекающую, что разоблачительный "документ" находится в надежных руках, в квартире нижеподписавшегося, некоего Ш. Х., на Бейкер-стрит, № 221-б. Холмс скажет, что Крыса должен был оставить телеграмму так, словно она пролежала там несколько недель, спрятанная между страницами Нового завета, в главе 2 Евангелия от Матфея, и что, прежде чем уйти, он должен был отметить в этой главе хорошо заметным крестиком стих 16-й, и по всем этим деталям убийца поймет, что его намерения были заранее просчитаны медсестрой и что другой человек знает правду, в связи с чем у него не останется иного выхода, кроме как отправиться за письмом, в котором медсестра подробно описывает всю ситуацию. Убийце же неведомо, как считает Холмс, по словам Томатиса, что, явившись за несуществующей уликой, он принесет с собой два подлинных, неопровержимых, сокрушительных доказательства, достаточных, чтобы отправить его на виселицу. Первое, материального порядка, немедленно станет для него приговором; и, хотя второе окажется доказательством чисто интеллектуального свойства и ни одна коллегия присяжных, вероятно, его не примет, для Холмса оно станет ценнее всех материальных свидетельств, вместе взятых, поскольку телеграмма была составлена таким образом, в столь полном соответствии с чет-

вертой гипотезой, что один лишь убийца сможет понять ее истинный смысл и отважится по этой причине приехать в Лондон в поисках "документа", хотя, безусловно, он сошлется на то, что предпринял путешествие для консультации с великим детективом с целью разрешения дела, втайне убежденный, что способности Холмса к старости притупились и что он ничем не рискует, обращаясь к нему за консультацией, а даже напротив, при его неизменном желании покрасоваться, факт появления на людях в компании великого сыщика, о котором многие и не подозревали, что тот еще жив, подчеркнет в глазах общественности его мнимое стремление к реальному решению загадки.

Холмс отметит, что этим утром Дэнни Крыса оставил Новый завет на довольно приметном месте и, по словам Томатиса, лорд W. во второй или третий раз обыщет квартиру медсестры (в качестве главного благодетеля роддома и как видное лицо он сможет себе позволить все что угодно, дабы под любым предлогом входить и выходить повсюду, где ему вздумается) и наконец обнаружит телеграмму, ведь если Дэнни Крыса за что-то взялся, то дело пойдет только так, а не иначе. Возможно, он мог бы объявить о своем намерении нанять некоего великого лондонского детектива, не называя имен, но Томатис признается, что пока у него нет решения на этот счет. Еще Холмс скажет, что единственный вечерний поезд, делающий остановку в этом небольшом городке, отправляется из него в 18.30 и, рассчитывая, что до Лондона поезд идет три часа десять минут, он должен прибыть в 21.40. Время, необходимое, чтобы пройти по перрону и через вокзальный вестибюль, дойти до стоянки такси и дождаться своей очереди на посадку, составит, по расчетам Холмса, от восьми до одиннадцати минут, а путь от Чаринг-Кросс до Бейкер-стрит в эти вечерние часы в будни займет двадцать-двадцать две минуты, а значит, к трем часам десяти следует прибавить от тридцати до тридцати трех минут. Иными словами, если он сел в поезд, как я предполагаю, скажет Холмс, в случае если, как говорит Томатис, поэма будет написана, то должен быть здесь в десять десять – десять тринадцать. Я посмотрел на часы в десять часов шесть минут. Инспектор, какое время показывают ваши наручные часы? И, по словам Томатиса, инспектор хрипловатым голосом ответит: "Десять часов двенадцать минут, мистер Холмс". И, по словам Томатиса, после этой фразы в комнате воцарится, так сказать, полное безмолвие, безмолвие, подобное тому, какое может царить в угасшей вселенной. В течение тридцати-сорока секунд во всем Лондоне не будет слышно ни одного самого неуловимого звука. И внезапно послышится характерный гул двигателя

такси, торможение, урчание не выключенного мотора, которое обычно сопровождает временно остановившееся авто, а несколько мгновений спустя — хлопанье дверью, такси, вновь тронувшееся с места и удаляющееся по Бейкер-стрит на запад, шум шагов и, наконец, после пяти-, шестисекундной нерешительной паузы — звонок в дверь с улицы.

Пока они слышат, как миссис Хадсон открывает дверь, обменивается парой-тройкой фраз с посетителем и приглашает его подняться по лестнице, Холмс почти неслышным, по словам Томатиса, шепотом объяснит своим гостям, что яд, примененный для совершения чудовищной расправы, — это редчайший экстракт, уникальный по своему действию, добываемый из растения, которое встречается исключительно в бразильской сельве, экстракт производит одно-единственное племя, неведомое никому на свете, кроме специалистов по токсическим веществам. При этом, по словам Томатиса, общеизвестно, что лорд W., воплощая на практике знаменитый спортивный дух англичан, прошел вверх по Амазонке на пироге и сфотографировался с туземцами этого племени — разумеется, совершенно не упомянув о яде, — и что этот снимок появился во всех газетах по его возвращении из экспедиции. Холмс добавит, что, внимательно изучив другую фотографию лорда W., сделанную во время передачи земель для строительства роддома, он убедился в том, что на ней лорд W. подписывает документ левой рукой. Так что если, как полагает Холмс, лорд W. явится с намерением заполучить себе "документ" и затем его уничтожить, он, скорее всего, будет держать пузырек с ядом в левом кармане пиджака. В эту минуту постучат в дверь, — Холмс просил миссис Хадсон, если какой-нибудь человек явится к нему около десяти часов вечера, чтобы она указала ему путь до двери в гостиную и позволила подняться, не сопровождая его, — и Холмс подаст знак инспектору, чтобы он открыл. Стоя на пороге, лорд W. в замешательстве заглянет внутрь и увидит лишь трех стариков, взирающих на него, поскольку инспектор намеренно спрячется за открытой дверью. С выражением, которое через пару секунд сомнения появится у него на лице и, истолкованное в словах, будет означать примерно следующее: *После медсестры и шестнадцати младенцев три дряхлых старика по сути дела ничего не меняют*, лорд W. решится сделать несколько шагов к центру комнаты, но услышав, как дверь за его спиной закрывается, и обнаружив присутствие инспектора, и особенно увидев взгляд, каким инспектор за ним наблюдает, он смутно осознает, что происходит. Маска цивилизованного человека исчезнет с его лица, и вместо нее злобная гримаса дикого зверя, одержимого вожделением напора и превосходства, по-

пирающего, терзающего, убивающего, еще более исказит его и без того перекошенную физиономию. Отскочив назад, он запустит руку в левый карман пиджака и вытащит, крепко зажав, пузырек коричневого стекла в тот момент, когда инспектор при исполнении бросится на него. А тем временем, проворно распрямившись и вновь обретя твердый и властный глас поры своей зрелости — говорит Томатис ровным голосом в баре вокзала, — Холмс, если поэма будет написана, воскликнет:

— Инспектор, не дайте ему выпить это! Виселицу разгрузили бы от простолюдинов, принимай она исправно венценосных особ!

Безымянная биография

ПОРОЙ мы задумываемся о ядерных взрывах или об этой потрепанной планете, висящей в черном пространстве, ибо Господь велик. И нас пробирает дрожь, и хочется зайтись в крике, но мы тут же забываем об этом и вновь принимаемся воображать, сколько всего можно было бы сделать, получи мы в один прекрасный день лаконичное письмо из Калифорнии, извещающее, что неведомый родственник только что оставил нам в наследство миллион долларов. Зимой мы с нетерпением ждем лета, но когда, бездельничая, лениво загораем под январским солнцем, то вдруг ощущаем, что мысли крутятся вокруг втягивающегося отверстия, крошечного водоворота, неумолимо устремленного вниз или вовнутрь, по спирали. Затем приходят однообразные дни: работа, школа для детей, возможность повышения по службе или внезапный поворот в нашей жизни, что мы осторожно обсуждаем с нашими женами в постели перед сном. Или новый адрес, воспоминание, вечеринка, где первые рюмки вызывают у нас легкое возбуждение, и мы начинаем нести несуразности, слегка важничая, так как остальным они кажутся забавными. Тело наше меняется; когда мы принимаем душ по утрам, нам не до этого, ведь надо спешить в офис и вообще мы еще не совсем проснулись. Но порой, по возвращении с работы мы позволяем себе прилечь, так как вечером предстоит пойти с женой в кино или на ужин к друзьям, а после застываем надолго под теплой водой и затем внимательно разглядываем свое голое тело в зеркале ванной комнаты или платяного шкафа, в спальне, пока вытираемся. Как бы то ни было, мы еще вполне в форме. В день, когда происходит революция, мы не идем на работу и следим за событиями, слушая транзистор и обсуждая их. Мы отлично помним, чем вызвано наше негодование, особенно по поводу того

нового типа, молодого, который так нам не нравился из-за желтых, изъеденных зубов, и как в один прекрасный день он ни с того ни с сего исчез, даже не предупредив и не простившись с товарищами. Уж и не помним, как его звали. Если все будет хорошо, на следующий год поедем в Бразилию или в Пунта-дель-Эсте, в Уругвай. Если одолевает хандра, мы садимся в машину и кружим по городу в одиночестве. Если позволят, мы с удовольствием готовы даже миновать контрольный пост на дороге и заехать подальше в сельскую местность, однажды мы добрались до Эсперансы. Это было летним вечером, и люди сидели с пивом на тротуарах, в барах, устроенных вокруг площади. На обратном пути мы видели, как белеет под луной неподвижная пшеница, отливающая металлом. Мы спим прекрасно, без сновидений. В иные времена, до свадьбы, у нас случались приступы бессонницы, и тогда мы видели, как сквозь щели жалюзи пробиваются красно-зеленые отблески световой рекламы, мигающие на белой стене спальни. Иных проблем со здоровьем у нас, слава богу, никогда не было, то ли потому что не курим, то ли по чистой случайности. И вроде пока избавлены от тех страшных вещей, которые обычно случаются с другими. Когда наша жена забеременеет, мы в последний месяц забавляемся тем, что прикладываем ухо к ее животу и слушаем движения внутри, неясный шум существа, которое уже готовится вырваться на волю, выпасть в лоно чудесного многообразия, которое зовется миром. Инстинктивно мы с волнением и страхом закрываем глаза, ибо нам чудится, что с минуты на минуту мы отчетливо услышим грохот этого потрясающего явления.

Смена места жительства

ПАРУ лет назад я уехал из дома и сменил имя. Политика несколько содействовала принятию моего решения. Во время демонстрации в Буэнос-Айресе полиция взяла меня на заметку, и поскольку, несмотря на передовые идеи, я не мог рассчитывать на солидарную поддержку, так как не состоял ни в какой подпольной организации, то счел уместным сменить место жительства и на время исчезнуть. Итак, я сел в автобус и приехал в этот город, который летом жарится на берегу великой реки.

Ничто так не стимулирует размышления, как поездки. Долгой ночью непрерывного движения в грохочущем автобусе око путешественника не смыкается, бодрствует, бдительно следит за музыкой мира. По сути, именно в автобусе мне внезапно, словно в горячке, пришла в голову мысль не просто спасаться

бегством, а кардинально поменять идентичность. Я собирался начать новую жизнь под другим именем, с другой профессией, другой внешностью, другой судьбой. Пять-шесть гребков руками, — и я выйду из моря моего прошлого на девственный берег. Без семьи, без друзей, без работы, без piccolo mondo antico[1], в чьей утробе лишь прозябаешь, грядущее виделось мне ровным и светлым, а главное — хрупким и нежным, как новорожденное дитя. Я устроился в пансионе, подделал документы, изменил внешность и нашел себе место продавца книг с доставкой на дом. Газеты считали меня умершим. Писали, будто тайная полиция разобралась со мной. Однако из-за царившего террора на поверхность пробивались лишь туманные намеки.

Это случилось примерно два года назад. На второй или третий месяц моего нового бытия, заметив, что мои привычки не очень изменились, я решил системно менять свои склонности и обычаи. Я бросил курить; испытывая неизменное отвращение к фасоли и жирному мясу, принялся есть их ежедневно, пока они не стали моим любимым блюдом; решил писать левой рукой и внедрил радикально новые варианты в мои глубинные убеждения. Таким образом, через год моя личность полностью преобразилась. Я казался себе, что называется, другим человеком.

Как видно, я говорю “казался себе”, а не “стал”. Со временем я замечаю, что импульсом к изменениям явилась своего рода закоснелость моей жизни, которую я едва осознавал. Ощущение, будто я двигаюсь по кругу, никак не вперед, вечно чуть перегибаю или недотягиваю, не вписываюсь ни в какое определение, никогда не знаю точно, вижу ли я во сне или наяву, не знаю порой, что ответить на четкие альтернативы, предлагаемые другими. Годами мне чудилось, что это непригодность чисто индивидуальная, субъективная, что моя личная история повернулась таким образом, что я оказался в ней узником, почти лишенным возможности принимать решения, и что другие, на мой сторонний взгляд, не испытывали в этом мире ни малейшего неудобства. За два года, тем не менее, исчез мой прокуренный голос, мой столичный выговор. Но былая трясина, которая раскинулась и порой тяжело хлюпает где-то внизу, подавая признаки жизни, наводит на мысль о том, что, либо я выбрал неподходящую маску, либо все мы, люди, независимо от особенностей нашей судьбы никогда не окажемся на высоте положения или, вернее сказать, мироздания.

1. Маленький старинный мирок (*итал.*).

Gens nigra[1]

ТЕМНЫЕ существа, за которыми я ежедневно наблюдаю из окна моего офиса – а работаю я по административной части в государственной железнодорожной компании, – по всей видимости, регламентировали до миллиметра не только свою биологическую деятельность, но и воображаемую жизнь. Они словно не в силах выбраться из порочного круга привычек, безрассудных верований, фантазий. Про себя я окрестил их gens nigra, очевидно по причине общего внешнего вида, а также множества родственных черт, бросающихся в глаза, когда я сравниваю различные их повадки.

Прошлым летом, в полуденный час аперитива, который я проводил на террасе скромного пансиона на средиземноморском пляже, с моего шезлонга я любил следить взглядом за полетом чайки. Каждый день, в один и тот же час она трижды или четырежды облетала по периметру полукруг бухты, а затем садилась на одну и ту же скалу, откуда в медленном и теперь уже низком парении устраивала в окрестностях рейды за рыбой. Эти краткие и почти всегда успешные рейды были внезапны и разнообразны, вызванные каким-нибудь внешним стимулом, появлением добычи, например, или всплеском и сверканием воды, создававшим подобное впечатление. Их случайный характер становился еще очевиднее в сравнении с круговым облетом, который птица совершала по периметру бухты на постоянной высоте, продвигаясь благодаря столь равномерным взмахам крыльев, что создавалось впечатление, будто взмахи эти и есть основной мотив полета, точно речь идет о преднамеренном занятии. Она была подобна государыне, каждодневно облетающей свои владения, чтобы не столько показать свое могущество, сколько испытать внутреннее упоение и удостовериться, что каждый из образующих их элементов по-прежнему пребывает на своем месте.

Если в том крупном городе Западной Европы, где я живу (его название не суть важно), отдельные представители gens nigra и поступают схожим образом, мы не должны обманываться: речь идет отнюдь не о тождественных случаях. Gens nigra сложнее; вполне возможно, что жажда власти и упоение как самоцель временами искушают его представителей, но неизменно они приходят к этому мучительными путями.

Имеет смысл описать пейзаж, который я имею счастье созерцать каждый день из моего офиса. Хотя город считается од-

1. Темный народец (*лат.*).

ним из красивейших в Европе именно благодаря обилию гармоничных зданий и ансамблей, сохранившихся с прежних столетий, причем порою даже более древних, чем эпоха Средневековья, район, в котором находится мой офис, хоть и расположен в самом центре, являет собой островок прямых линий, двадцати-, тридцати- и даже сорокаэтажных башен. Здесь доминируют алюминий, стекло, бесконечная череда подлинных и фальш-окон, белых поверхностей, которые слепят либо играют занятным зеленовато-металлическим отливом, и все это размещено вокруг крупной железнодорожной станции (этим объясняется наличие моего офиса), высотного административного здания, торгового центра и тридцатиэтажной гостиницы класса люкс. С восточной стороны описываемый ансамбль резко упирается в проспект девятнадцатого века, а к западу заканчивается просторной круглой площадью, унылой, открытой всем ветрам; выглядит она старше средневековых кварталов, хотя и существует не более десятка лет. Ее фальшивые колоннады, встроенные в фасады зданий, дорические архитравы, затейливо вставленные как нарочитые цитаты из классики, обнаруживают истинную цель эстетики постмодерна: убедить замороченных аргументацией членов муниципального совета в необходимости выделять деньги на дорогие строительные объекты через уверения в том, что классическое и современное прекрасно уживаются вместе, и таким образом силой доводов избавить их от страха перед якобы буйным и категоричным авангардом.

Мой офис — идеальный наблюдательный пункт: из окна мне виден по ту сторону широкой улицы международный отель, чья тридцатиэтажная башня ослепительной белизны подавляет здания торгового центра, ресторанов и баров, которые на уровне первого этажа расстилаются по бокам от него по всей длине квартала. В этом всемирно известном белом небоскребе, где временно размещаются короли, кинозвезды и футболисты, группы японских туристов и крупные промышленники, обитает, хотя в это трудно поверить, пара воронов, столь же черных, сколь белоснежно приютившее их здание. Мне трудно определить точное место, где находится гнездо, но оно где-то высоко, ближе к крыше, там они появляются чаще всего — их иссиня-черное движение четко вырисовывается в вышине на белом застывшем фоне отеля. Столь черны они и огромны, с желтыми клювами, в неподражаемом полете маячащие среди геометрических выступов небоскреба, столь совершенны в своем роде, что являют собой скорее не настоящих воронов, а их высший проект, идеальный архетип, предварявший — еще до неоправданного и безумного повторения более-менее одинаковых осо-

бей на протяжении миллионов и миллионов лет — разнообразные попытки материи и неуловимые вариации, совершавшиеся, пока не была найдена окончательная форма. (Очевидно, в недрах так называемой природы в какой-то момент некий механизм начал давать сбои, и этот изъян служит единственным более или менее рациональным объяснением происходящего в ней вечного и бесполезного повторения одного и того же.)

Так вот, данная пара воронов, обосновавшаяся за спиной, я бы даже сказал — за хребтом мировых звезд шоу-бизнеса и авторов планетарных бестселлеров, совершает каждое утро, примерно в одно и то же время, с двенадцати до часу, словно по случайности совпадающее со временем аперитива, тот же круговой облет, что и чайка. Взмахивая крыльями в размеренном темпе и на постоянной скорости, они охватывают достаточно широкий периметр, включающий в себя с маниакальной точностью все пространство, занятое современной застройкой, административными корпусами, станционными сооружениями и привокзальными скверами, парками симметричной планировки, прямоугольными красноватыми теннисными кортами, — очертаниями постмодерна, напыщенными и безрадостными. Остальной город с его так называемыми архитектурными сокровищами рассеявшихся веков их, по всей видимости, не интересует. Возможно, светлые тона последних образцов архитектуры служат сенсорным стимулом, который посреди раскинувшегося кругом океана шифера и серых фасадов побуждает их каждодневно совершать разведывательную экспедицию. Или, может, они угадывают по положению солнца на небе, которое безразлично нам, существам горизонтального плана, что во вселенной происходит нечто значимое, и они по-своему, торжественным полетом это восславляют. Несомненно лишь то, что со строгой пунктуальностью не по обычному человеческому времени, а по непоколебимому времени космоса вороны пару раз совершают свой круговой облет. Даже если полет по периметру можно объяснить особым стимулирующим воздействием современных строений на органы чувств, еще требует истолкования неизменный час и — главное — ежедневное возобновление церемонии, ибо эти детали не имеют, по-видимому, ни малейшей утилитарной цели. Ведь для пропитания в распоряжении воронов есть несколько близлежащих парков, которые они исправно, шумно и даже напористо посещают в любое время дня. Таковы, среди прочих, таинственные линии поведения gens nigra, и орнитологическая наука, вероятно, имеет для их объяснения ряд неубедительных, но резонных аргументов.

Другие представители gens nigra не менее экстравагантны: скверик три на пять, крошечный в переносном и буквальном смысле слова, ибо это прямоугольный пятачок в пятнадцать квадратных метров, окаймленный изгородью аккуратно подстриженного кустарника, с зеленым ковром газона и кольцом роз в центре, принимает в гости несколько раз в день пару дроздов — он черно-смоляной, она с коричневатым оттенком. Они прилетают на трапезу с напускной буржуазной благовоспитанностью, но по результатам долгих наблюдений я вроде бы обнаружил в них легкую извращенность.

Местный кот цвета кромешной ночи, видный представитель gens nigra, без определенного места жительства, рожденный в одном из укромных уголков привокзальных скверов, несколько раз в день является сюда поохотиться на дроздов, но *исключительно когда их нет.* В отсутствие пернатых славный мурлыка демонстрирует все мастерство, все уловки, всю мимику и позы особи кошачьего рода, которая выслеживает, подстерегает и, наконец, без промаха набрасывается на свою добычу — пресмыкающуюся, четвероногую или крылатую. После чего, в легкой меланхолии от тщетности лицедейства, он ретируется, с тем же мнимым безучастием, с каким явился, напоминая о доказательстве, бытующем среди теологов, согласно которому, если дьявол для нашего устрашения наигранно преувеличивает собственную свирепость, это свидетельство того, что его поведение — недвусмысленный признак бессилия. Неделями кот раз за разом совершает свою иллюзорную вылазку, когда в зеленом прямоугольнике нет ни одного живого существа. Но едва он удаляется, как через пять-десять секунд, неведомо откуда взявшаяся пара дроздов, словно ничего не заметив, грациозно и безучастно приземляется на поредевший и поблекший от зимы газон. Так и снуют они с давних пор, но мне кажется, что за внешне случайным ходом событий для представителей gens nigra, равно как и для всякого человека, пространство и время, желание и предмет, оплошность и надежда, презрение и жестокость имеют одинаковую проблемную сущность. Сущность всего, что в силу каприза либо равнодушия ведет нас к гибели или к спасению.

За завтраком

В 1943-м Гольдштейна в возрасте двадцати одного года заключили в концлагерь по тройной причине: он был евреем, коммунистом и участником Сопротивления. Его не убили, ведь известно, что нацистские лагеря в прин-

ципе были трудовыми и немцы собирались выиграть войну благодаря труду самых крепких из своих врагов. Непригодных — больных, малолетних, стариков — убивали незамедлительно, но молодежь заставляли работать. В каком-то смысле нацистские лагеря по способу организации труда узников олицетворяют собой, по мнению Гольдштейна, avant la lettre[1] образец того, к чему мог привести на последнем этапе разлад рынка труда. Поэтому Гольдштейн убежден, что жизнь ему спас именно его статус дешевой рабочей силы.

Нацисты чуть было не расстреляли его за попытку к бегству, но тут как раз подоспели союзники (не обнаружившие ни одного немецкого солдата во всем лагере). Так что в это утро, когда Гольдштейн завтракает в баре "Тобас" на углу улиц Кордова и Пуэйрредон, ему семьдесят шесть лет, и он по-прежнему захаживает в книжную лавку, скорее развлечься, чем для чего еще, ведь уже лет пять, как он оставил магазин работникам, которые платят ему ежемесячную ренту. Жена умерла три года назад. Старшая дочь, вынужденная покинуть страну после путча 76 года, вышла замуж за каталонца и поселилась в Барселоне. Младшая — психоаналитик, в будни у нее мало времени, так что повидаться и поужинать вместе им удается разве что как-нибудь вечером или в воскресенье. Но в любом случае, по причине некоторых политических расхождений отношения с младшей дочерью сложнее, чем со старшей. По четвергам вечером у него заседание в Комиссии по правам человека, а по пятницам — еженедельная партия в покер. Поэтому дневное время с раннего утра, когда он просыпается, до вечера занять труднее всего.

После утренней раскачки в преддверии приближающихся бесконечных часов завтрак, который длится достаточно долго, так как включает в себя чтение газеты, — это период активной деятельности, особенно внутренней. Ведь памяти и интеллекту, оживающим после сна и теплого душа, который помогает телу расслабиться, успокаивая донимающую старика весь день нудную боль в костях и мышцах, легче сосредоточиться для четкого восприятия мыслей и образов. Вот уже лет двенадцать, как завтрак всегда одинаков: подслащенный кофе с молоком, апельсиновый сок, два круассана, а позже, когда газета в основном прочитана, — чашечка крепкого, горького эспрессо и стакан воды. Столик почти всегда один и тот же: направо от входа, последний у большого окна, смотрящего на Пуэйрредон. Каждое утро, войдя внутрь,

1. Здесь: предвосхищающий (*франц.*).

Гольдштейн приветствует хозяина, стоящего за кассой, и направляется к своему месту, садится в углу лицом к входу, под выключенным телевизором.

— Дон Гольдштейн, вы, как всегда, в бой с утра пораньше? — обращается к нему официант, парень из Катамарки, не дожидаясь заказа и ставя на стол круассаны и желтый сок, пока хозяин за стойкой готовит кофе. Примерно через полчаса лишь по едва уловимому знаку Гольдштейна в направлении кассы чашечка старательно сваренного эспрессо в сопровождении стакана воды совершит посадку на его столе. Сейчас же, разворачивая газету, он отвечает официанту с рассеянным оживлением и легким акцентом старых евреев-ассимилянтов из района Онсе и Бальванеры:

— Что поделаешь, дружок, не валяться же в постели.

Прохладный свежевыжатый сок, кислый и в то же время сладкий, с первого глотка дает ему небольшой заряд оптимизма, и поскольку энергетический эффект витаминов еще не успел проявиться, это, видимо, свидетельствует о том, что удовольствие само по себе — стимул в жизни. Обмакивание в кофе круассанов, впитывающих его мало-помалу, затрудняет чтение газеты. Это побуждает поглощать их скорее, не из жадности, а дабы высвободить руки, чтобы легче было управляться с огромными газетными листами, которые то сворачиваются, то разворачиваются, непослушные, с громким шелестом. Наконец удается совладать с ними и погрузиться в новости отечественной и международной политики, сосредоточиться на страницах экономики и культуры, мельком просмотреть спортивный раздел, прогноз погоды и закончить комиксами и телепрограммой. Затем Гольдштейн возвращается назад и внимательно читает аналитические статьи обозревателей, кое-кого из них он знает лично, поскольку те нередко заходят в книжную лавку, письма читателей и передовицы. Временами отхлебывает глоток кофе с молоком или сока, допивает их, а напоследок, когда остается лишь несколько минут чтения, подает знак, чтобы принесли чашечку кофе и воду.

Эта церемония, повторяющаяся каждое утро вот уже столько лет, на деле преамбула к последующим минутам раздумья. Возможно, назвать такое состояние раздумьем — поэтическая вольность, ведь раздумье предполагает некую осознанную волю к обдумыванию определенных тем. У нашего героя речь идет лишь о независимых ассоциативных механизмах: каждое утро после завтрака они почти машинально овладевают его существом и какое-то время занимают его полностью. Для стороннего наблюдателя это тихий, опрятный, скромно одетый старик, подобно многим обитателям города вкушающий свой

завтрак в одном из кафе Буэнос-Айреса. Однако по сути каждое утро, в течение нескольких минут, в силу непроизвольной ассоциации, с пунктуальным повторением которой он за столько лет уже смирился, в ясной зоне его сознания сходятся все кровавые бойни века. Он ведет им счет и, по мере того как происходят новые, добавляет к своему списку. Таким образом, едва он воскрешает их в памяти и перечисляет, как на ум невольно приходят строки Данте:

> ...venia si lunga tratta
> di gente, ch'io non avrei mai creduto,
> che morte tanta n'avesse disfatta[1].

Действительно, долгая череда людей, и верилось с трудом, что смерть столь многих истребила: этот сонм призраков не включал в себя тех, кто умер на полях сражений либо в результате несчастного случая, болезни или самоубийства, или даже был казнен за совершенные преступления. Нет, он вел учет лишь тех, кого уничтожили не в силу их опасности, реальной или мнимой, а потому, что убийцы по некой причине, каковую они одни считали обоснованной, решили, будто те недостойны жизни: например, армяне для турок (1 000 000) или евреи (6 000 000), цыгане (600 000), душевнобольные (число неизвестно) для нацистов. Тутси (800 000) для хуту в Руанде. Для американцев — жители Хиросимы и Нагасаки (300 000), противники Сухарто в Индонезии (500 000) или иракцы во время войны в Персидском заливе (170 000). Для Сталина, воспринимавшего всю совокупность Внешнего как угрозу, — несколько миллионов фантомов, которые, по мнению тирана, подстерегали его. И затем локальные бойни, в ходе которых за вечер, за неделю несколько десятков, сотен или тысяч человек погибали от рук палачей, каковые по необъяснимым причинам, где не прослеживался разумный интерес, не терпели их присутствия в этом мире: индейцы, негры, боснийцы, сербы, христиане, мусульмане, старики, женщины (в США серийный убийца лишил жизни порядка шестидесяти, все были блондинки, определенного веса, с определенным силуэтом и прической, в возрасте от двадцати до тридцати лет). Если вдуматься, все это были серийные преступления, ведь, с точки зрения убийц, у жертв всегда было нечто общее, и именно за это их убивали: для турок армяне все были армянами и только армянами, и их

1. А вслед за ним столь долгая спешила / Чреда людей, что верилось с трудом, / Ужели смерть столь многих истребила. Пер. с итал. М. Лозинского.

истребляли именно за это; равно и серийный убийца-американец убивал блондинок и только блондинок, причем убивал их лишь за то, что они блондинки.

Хотя Гольдштейн и называл себя атеистом-материалистом, чем нередко гордился, он все же считал, что боги вряд ли выходят невредимыми из этого карнавала, дефилировавшего в его голове каждое утро за завтраком. И что в большинстве случаев, где бы ни оказывались их приверженцы — в стане жертв или палачей, зачастую меняя роль в зависимости от обстоятельств, боги страдали от пагубных последствий нескончаемой резни. Многие исчезали или при смене почитателей меняли знак, утрачивая идентичность либо важнейшие атрибуты. У других обнаруживались потаенные стороны, на которые раньше никто не обращал внимания. Вероятно, часто они с ужасом обращались в бегство, что было едва ли не предпочтительнее, ведь то безразличие, с каким они оставляли своих верующих на произвол безжалостных извергов, было, по правде сказать, омерзительным. В других случаях, когда убийцы ссылались на них, ища повода для кровавой расправы, они либо извращали их суть, либо срывали с них маску, — иного объяснения здесь быть не могло. С другой стороны, с каждой исчезающей группой — неким племенем из Мату-Гросу, скажем, сгинувшим по вине крупных компаний, — уйма богов, замысливших, породивших и обустроивших целую вселенную, дабы принести ее в дар людям, вычеркивалась навеки вместе с созданной ими вселенной и населявшими ее существами. И если выжившие, после того что произошло с огромным большинством из той группы, к которой они принадлежали, по-прежнему поклонялись богам, допустившим, чтобы подобное случилось, они не только оскверняли память ушедших, но и выставляли на посмешище себя, низводя тем самым до смехотворного ничтожества и своих богов.

"Да не будет вечности, а если она есть, пусть хоть будет без ассоциаций!" — принялся втайне повторять Гольдштейн в первые месяцы, когда эта невольная бессознательная ассоциация, чьей точной причины (первейшей предпосылки ассоциации) он установить не мог, овладевала им каждое утро за завтраком. И не покидала, пока он не выходил на улицу, чтобы окунуться в сумятицу настоящего, влекомый гулом бытия. Умственная ассоциация как ад — это словосочетание звучало для Гольдштейна в первые месяцы заглавием непреложного трактата. Самые нелепые расчеты будоражили его мысль, и он рассматривал все эти преступления не с позиций сочувствия или этики, а по числу жертв относительно продолжительности расправ во времени, словно речь шла об алгебраической задаче. Но столько

месяцев, столько лет длилось это неотвязное наваждение, этот одиозный утренний театр, что он постепенно к нему привык, пока не растратил сопутствующее уныние и не смирился с мыслью, поняв: "первопричина ассоциации — это моя жизнь". Первоначальная тоска сменилась странным чувством, не прошедшим до сих пор и всякий раз завершающим утренний эпизод: ощущение, будто он жив, а мимо шествует бесконечная череда призраков. Факт кажется неправдоподобным, надуманным, скоротечным, и из-за этой эфемерности на долю секунды целая вселенная застывает на краю бездны.

Два года, проведенные в концлагере, если и виделись тогда невыносимым кошмаром, вскоре после освобождения стали казаться Гольдштейну, как ни парадоксально, благоприятным случаем в его жизни. Довод здесь следующий: в 21 год юношу отличало слишком оптимистичное видение мира. Не приобрети он к концу войны этого опыта, оптимистические предрассудки и теперь искажали бы его восприятие действительности. Злодеяния, пытки, расправы характеризовали человеческий род лучше искусства, науки, институций. Гольдштейн (которого иные считали эксцентричным в суждениях, если не слегка сумасбродным) заявлял оторопевшим собеседникам, что как человеку концлагерь принес ему телесные и душевные муки, но как мыслитель он получил за те два года диплом с отличием по антропологии.

Допив кофе и свернув газету, Гольдштейн оставляет на столе деньги за завтрак с чаевыми и, вежливо произнеся общее "До завтра!", выходит на залитый солнцем шумный угол двух проспектов. Для случайных посетителей, оглядывающих его с мимолетным любопытством, этот бодрый, опрятный, хорошо сохранившийся старик, вероятно, выглядит моложе своих лет. Судя по энергичному и довольному виду, в жизни у него, наверное, все сложилось весьма неплохо.

Толмач

ТЕПЕРЬ я брожу по берегу моря, по песку, подобному пламени, такой он гладкий и желтый. Стоит мне остановиться и оглянуться назад, как я вижу вышитую крестиком кайму моих шагов, она извилисто петляет по пляжу и заканчивается прямо у моих ног. Светлая, прерывистая кромка белой пены отделяет желтую протяженность пляжа от небесной лазури моря. Достаточно окинуть взглядом горизонт, и чудится, будто вновь корабли мучителей стремятся к берегу с моря, вначале черные точки, затем — изящные ажурные фи-

лиграни и, наконец, округлые корпуса под парусами, сельва мачт и канатов, непреклонно скользящая вперед и последовательно отражающая лихорадочную активность скопления людей. Увидев их, я зажмурился, ибо их каменные торсы сверкали, а гул металла и суровых голосов оглушил меня на мгновенье. Я устыдился наших незатейливых, убогих городов и понял, сколь ничтожны золото и изумруды Аталибы[1] (их измельчали ударами молота, словно орехи, в поисках золотых крупинок), нескончаемые коридоры, где пол вымощен серебром и им же обшиты стены, наши громадные каменные календари, имперская кайма, вновь и вновь оторачивающая фасады, одеяния придворных, утварь. Я увидел, как с моря изливается потоком роскошь и изобилие. Мучители коснулись крестом лба малолетнего ребенка, каким я тогда был, дали мне новое имя — Фелипильо — и затем неспешно выучили своему языку. Постепенно я стал его различать, и слова надвигались на меня, Фелипильо, из-за горизонта, где все они набивались, громоздились одно на другое и вновь, точно корабли, становились черными точками, филигранями черного чугуна и, наконец, сельвой крестов, знаков, мачт и канатов, отделявшихся от кипящего сгустка, подобно муравьям, в ужасе бегущим из муравейника. Тогда я из нагого существа, пред чьим взором сверкнули металлом доспехи, до чьего слуха впервые донесся гул парусов, превратился в Фелипильо, человека с раздвоенным, как у гадюк, языком. Из моих уст исходит то восхваление, то горький яд, то древнее слово, каким мать звала меня на закате, среди костров и дыма и запаха пищи, плывущего по улицам багряного города, то эти звуки, отдающиеся во мне, как в высохшем бездонном колодце. Между слов, вырываемых голосом из родной крови, и слов заученных, поедаемых жадным ртом с чужого стола, жизнь моя непрестанно балансирует, вычерчивая параболу, стирающую порой разделительную линию. Я точно пересекаю некую область, в которой перемежаются день и ночь, будто петух, поющий в неурочный час, будто шут, сочинявший для Аталибы, средь смеха придворной свиты, песнь, творимую не из слов, а из одного только шума.

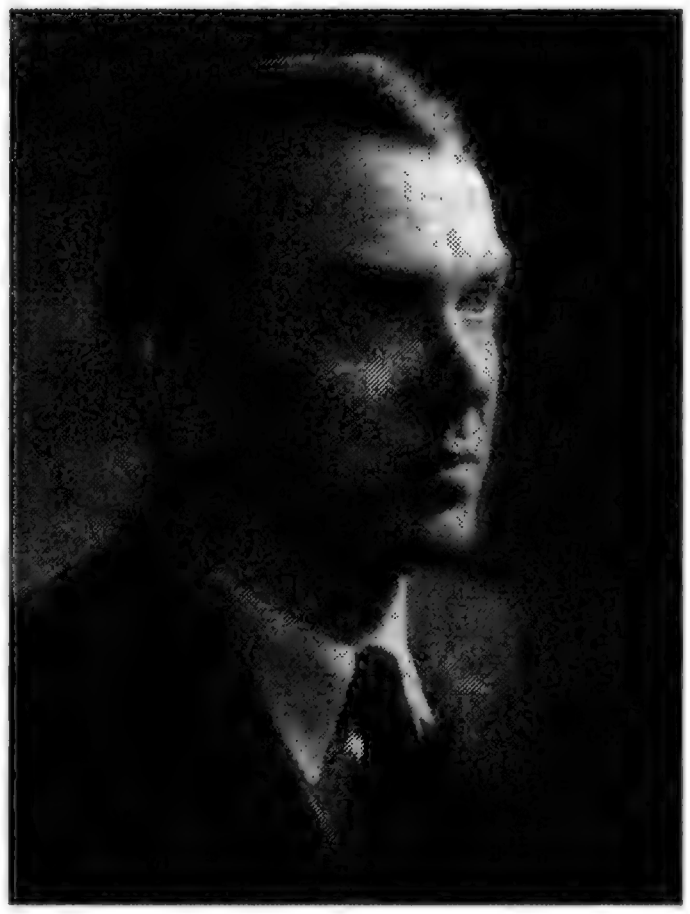
Когда мучители судили Аталибу, я служил толмачом. Слова проходили через меня, как глас божества проходит через жреца, прежде чем донестись до народа. Я стал линией белизны, нестойкой, метущейся, отделяющей два грозных войска, как пенная кайма отделяет желтый песок от моря. Тело мое сделалось ткацким станком, лихорадочно ткавшим участь толпы

1. Искаженный вариант имени Атауальпы, правителя в Стране инков.

раздвоенной иглой моего языка. Слова вылетали, подобно стрелам, и вонзались в меня с гулким эхом. Верно ли я понимал сказанное? Верно ли возвращал полученное? Когда взгляд мой в ходе суда вонзался в синеватые соски жены Аталибы, соски, которые благодаря отсутствию руки Аталибы, пожалуй, дозволили бы моим вожделеющим пальцам нанести им визит, — не искажало ли смятение смысл слов, гулко звучавших в недвижном зале? В одном я уверен: мой язык уподобился двойному блюду, на чьей упругой глади удобно расположились ложь и сговор. И я услышал грохот двух армий, будто сошлись два моря — море крови и черная вода моря иноземного. И теперь, на закате, я бреду по пляжу — старый человек, согбенный под бескрайним сводом вражеских голосов, который раскинулся над моими развалинами, поглощенными сельвой. Я не сошел в могилу с теми, кто умер, когда я огласил приговор, подобный струе воды, которая всасывается, полощет горло и затем выплевывается, но я и не живу жестокой жизнью мучителей, чьи голоса доносит ветер по ночам, когда я устраиваюсь на ночлег в сельве.

Когда мучители принялись строить свой город, они возвели толстую глинобитную стену и выкрасили ее белым. Но часть стены обрушилась, и ее бросили. Так и стоит белая стена посреди голого поля, и в полдень свет искрится на белой поверхности, изъеденной ненастьем. Иногда я сажусь на землю и смотрю на нее часами. И думаю, что язык мучителей для меня — словно эта стена, плотная, бесполезная, бессмысленная, ослепляющая, когда свет отражается от ее высохшей, щербатой поверхности. Впору царапать ее, сбивая пальцы в кровь, или биться об эту стену, за которой нет ни одного дома, чтобы войти и укрыться в его тени. Я всего лишь старый индеец, бродящий в безмолвии по сельве, среди развалин, и не слышен уже на закате голос матери, которая зовет меня домой, среди костров и дыма и запаха пищи, плывущего по улицам багряного города, уступами уходящего к небу.

Грэм Грин



По ком звонит звонок

Пьеса

Перевод с английского Виктора Голышева

Действующие лица:

Х
Мастерман
Полковник Фенвик
Сержант
Сосед
Инспектор
Человек из Королевского общества защиты животных

Действие первое

Поднимается занавес; очень чистая, очень опрятная однокомнатная квартира; все вещи на своих местах, хотя, как убедимся вскоре, некоторые места скрыты от глаз. Мужчина, на пятом десятке, сидит в неудобном кресле и кусает ногти. Откусив, рассматривает ноготь. В центре комнаты на длинном столе со скатертью, доходящей до пола, остатки завтрака: две чашки, две

© Graham Greene 1985
© Виктор Голышев. Перевод, 2016

тарелки и коробка хлопьев. На задней стене слегка покосившаяся картина. Алый телефон на столе демонстративно бездействует до последнего акта. Мужчина, которого для простоты назовем Х, время от времени отвлекается от ногтей и поглядывает на картину. Встает, чтобы посмотреть на неё поближе. Берется за раму, но не выравнивает её, а накреняет еще сильнее, удовлетворенно буркнув. Может быть, потому, что за ней скрыта кнопка в стене. Принимается за очередной ноготь. Затем его внимание привлекает стол. Он берет коробку и читает вслух, явно недовольный стилем описания.

Х. Старый Свет и Новый Свет объединили усилия, дабы разработать эту лакомую новинку — хлопья "Медовый хруст" с соблазнительным ароматом, который раззадорит ваши вкусовые бугорки... (*Звонок в дверь – мягкий меланхолический мотивчик. Х смотрит на дверь в правой стене, затем продолжает читать.*) Мед из нектара альпийских цветов... (*Звонок снова исполняет свою музыку. Х с коробкой в руке идет и открывает дверь. На пороге стоит человек в сильно поношенном сером костюме. Он снимает шляпу с абсолютно лысой головы. На нем очки без оправы, в руке потрепанный дипломат.*)

Человек. Извините за беспокойство, сэр. Вижу, вы завтракали.

Х. А, нет — просто читал. Что вы хотите?

Ч. Я представляю "Поход против детского полио".

Х. Полио?

Ч. Миелита.

Х. А. Достойное дело, не сомневаюсь. Но что?..

Ч. Рад, что вы так считаете, сэр. Могу я зайти на минутку и объяснить наши задачи?

Х. Я не ребенок, и у меня нет полиомиелита. Впрочем, заходите. Заходите. Рад поговорить с человеком. Я один. Я не привык быть один. (*Присматривается к гостю.*) Вижу, на улице дождь.

Ч. Мы работаем при любой погоде, в дождь и в вёдро. Ради маленьких страдальцев.

Х. Вы извините меня, но, судя по вашей одежде, вам, похоже, очень мало платят. Даже туфли ваши нуждаются в ремонте.

Ч. Да, сэр. Мы стараемся сократить накладные расходы. Чтобы больше досталось нашим малышам.

Х. Я так понимаю, вы хотите денег от меня?

Ч. Не для себя, сэр. Для этих бедных детишек. Вот, например (*открывает дипломат*), фото, способное растрогать самое черствое сердце. Шестилетний мальчик, сэр. Подумайте. Шестилетний.

Х (*смотрит на фотографию*). Кажется, ему весьма уютно в креслице на колесах.

Ч. Куплено нашим фондом, сэр. Силами щедрых доноров, таких, как вы.

Х. Я еще ничего не дал.

Ч. Ваши соседи снизу были очень добры. (*Достает из кармана неопрятный листок.*) Взгляните. Три по пять фунтов и десятка. Десятка — от дамы девяноста лет. Она сама мне так сказала.

Х (*глядя на список*). Ага, так старую каргу зовут Барби. Не знал. Раз пожаловалась, что мы тут шумим.

Ч. В соседнем подъезде джентльмен по фамилии Харгривс пожертвовал четыре серебряных ложки. Наличных не было.

Х (*резко*). Удостоверение есть?

Ч (*роется в дипломате*). Оно у меня тут, сэр. Нет, это водительские права. Вот, сэр.

Х (*разглядывая карточку*). Но здесь у вас шевелюра не хуже моей.

Ч. Да, сэр. Чуть-чуть хуже. Но два месяца назад сильнейшая сыпь... Нервного происхождения, сказал врач. Так сказать, от меланхолии. В связи с печальным характером моей работы. С детьми, поверженными раньше, чем успели насладиться спортом.

Х. И отлично. Всю жизнь ненавидел спорт. Что у вас сделалось с волосами?

Ч. Врачи мне сказали, что надо обрить голову. Из-за сыпи.

Х. Вы основательно поработали.

Ч. Я решил, сэр, раз уж взялся за это — иди до конца.

Х. Действительно. Даже конец порозовел. То есть макушка. (*Обходит его кругом, рассматривая голову.*) Что мои соседи сказали о фотографии? Почему вы не сделали актуальную?

Ч. Мы экономим даже на мелочах. Кроме того, у меня редко спрашивают документы. Обычно хватает фото маленького бедняжки. К тому же наш директор всегда говорил, что мое лицо — само документ.

Х. Документ? Надеюсь, в хорошем смысле. Давайте, располагайтесь. Расскажите еще о себе. О сыпи. Волосы у вас выпадали клоками или постепенно, волосок за волоском?

Ч (*стесняясь*). Не хочу отнимать у вас время, сэр. На свою скромную персону. Вы читали, когда я пришел. Сам не люблю, когда меня отрывают от чтения.

Х. То есть — дайте денег и отпустите? Так?

Ч. Приветствуется любое пожертвование свыше фунта. За это вы бесплатно получаете наш ежемесячный журнал.

(*Ищет в дипломате.*) Позвольте дать вам образец. Вы увидите — тут много симпатичных фотографий.

Х (*листая журнал*). Как вольготно им живется в этих креслицах с колесами.

Ч. Прикованы к ним на всю жизнь. Бедные малыши. Откройте страницу двадцать пятую, сэр. Вот вам прелестный ребенок. И как славно улыбается она принцессе Анне.

Х. Принцесса не отвечает ей тем же.

Ч. Всего четыре годика. И никакого счастья впереди у девочки. Ни женитьбы, ни детей, ни счастливого будущего.

Х. Ни лошадей принцессиных. У вас отзывчивое сердце, я вижу, но женитьба — это не обязательно счастливое будущее, правда? У меня самого было порядком невест, но мы всегда предпочитали на этом и остановиться. Обручение расторгнуть гораздо дешевле, чем брак. Несколько слезинок, может быть, но никаких адвокатов. Не хотите ли чаю?

Ч. Вы очень любезны, сэр — в самом деле. Чай бодрит.

Х. Чего-нибудь поесть? Этого, например. (*Берет коробку хлопьев.*) "Старый Свет и Новый Свет объединили усилия, дабы разработать эту лакомую новинку — хлопья 'Медовый хруст' с соблазнительным ароматом, который раззадорит ваши вкусовые бугорки".

Ч. Не отказался бы, сэр. Не успел позавтракать — сразу в "Поход". Вы меня поймете: всё ради "Похода".

Х. "Мед из нектара альпийских цветов".

Ч. Подумать только.

Х. "Цельная пшеница с необозримых прерий Среднего Запада".

Ч. Звучит соблазнительно.

Х. "Коричневый сахар легендарных Карибских островов, славных пиратами и ромом. Сладкие, хрусткие..."

Ч. Прямо поэзия, правда, сэр?

Х. Вскипятите чайник, пока ищу чай. Заодно помойте чашки.

Ч. недоуменно озирается.

Ч. Я не вижу двери.

Х. Какой двери?

Ч. Двери в кухню.

Х. А, это очень компактная квартирка. Просто нажмите кнопку на той стене. (*Показывает на кнопку в стене слева. Ч. нажимает ее, стена отъезжает, открывая кухоньку с электроплитой и раковиной.*)

Ч. Весьма остроумно, сэр.

Х. Они называются “Омни-студио”. Есть место для всего, и всё на своем месте.

Ч. Выпьете чашечку, сэр?

Х. Нет-нет. Я уже пил. (*Подходит к маленькому буфету у двери в правой стене и достает жестянку.*) Вот чай.

Ч. ставит чайник на плиту и принимается мыть чашки. Х листает его журнал.

Ч. Дамы плачут иногда, глядя на это.

Х. Но нет ведь худа без добра, правда? Им не приходится работать, как вам. При любой погоде. В дождь и в вёдро. А потом, кто знает? Глядишь, открылась дверь, и тут принцесса Анна.

Ч. Верно, сэр. Но у нас здоровье.

Х. Здоровье не постоянный фактор. Каждое лето я страдаю сенной лихорадкой. Она начинается в день Дерби, достигает ужасного пика к скачкам в Аскоте и затихает к Гудвудским скачкам.

Ч. Можно не выходить из дому.

Х. Моя невеста — это ее квартира — из жадности не покупает телевизор. Так вы действительно извлекли двадцать пять фунтов из моих соседей? Не говоря о четырех серебряных ложках. Вы исключительный человек. Мне улыбки не удавалось от них добиться. (*Резко.*) Квитанцию им дали, конечно?

Ч. Конечно, сэр. Я всегда оставляю квитанцию. А головной офис пошлет им благодарственное письмо за подписью самой госпожи Фальконбридж.

Х. Я должен знать эту фамилию?

Ч. Наш президент, сэр. Или правильнее — “наша президент”. Она личный друг принцессы Анны.

Х. Я, пожалуй, мог бы дать вам пять фунтов. (*В буфете, откуда доставал чай, открывает жестянку и вынимает из нее фунтовые бумажки. Потом закрывает буфет.*)

Ч. О, спасибо, сэр.

Х. Беда только, что это не мои деньги. Моей невесты. У самого меня нет. Я нетрудоспособен.

Ч. Горько это слышать, сэр. Может быть, такая должность, как моя, вам приглянется...

Х. Я сказал: нетрудоспособен, а не трудоустроен. В нетрудоспособности есть, по крайней мере, какое-то достоинство. Ну что, моя невеста согласилась бы отдать вам пять фунтов?

Ч. Уверен, когда услышит о нашей задаче, увидит эти снимки...

Х. Беда в том, что она очень подозрительна по натуре, в отличие от меня. Она потребует удостоверение. Захочет видеть актуальную фотографию. Да если бы она увидела, что вы тут завариваете чай...

Ч. Надеюсь, она не была бы в претензии?

Х. Не надейтесь. Она необычайно сварлива. (*Пауза.*) У нее маленькие красивые ушки. Это единственное, что у нее есть красивого.

Ч. Ушки?

Х. Но они чертовски хорошо слышат. Услышит, как я целуюсь с девушкой в другом конце города. Берегитесь женщин с маленькими ушками — это очень мощные электронные устройства. Как маленькие транзисторы в карманном компьютере. Она все время считает. Как вас зовут, кстати?

Ч. Мастерман, сэр.

Х. Можно звать вас Мастерманом?

Мастерман. Конечно, сэр.

Х. А имя? На случай, если укрепится наша дружба.

Мастерман. Что ж, сэр. Крещен я Амброзом. Но предпочитаю, когда друзья меня зовут Чипс. (*Чайник закипел. Он заваривает чай.*)

Х. Неприятность в том, Мастерман, что я себя буду чувствовать виноватым, если дам вам пять фунтов хозяйственных денег. И ничего от себя. (*Пауза.*) Серебряных ложек нет, а стальные — и те ее собственность. Садитесь, садитесь. Чувствуйте себя как дома. Раззадорьте вкусовые бугорки соблазнительным "Медовым хрустом".

Мастерман садится и наливает чай. Пауза. Х кусает ногти и смотрит на ноги Мастермана.

Ваши туфли в плачевном состоянии. Пальчонки скоро вырвутся из своей тюрьмы.

Мастерман. У меня дома есть другая пара. Но я держу их для особых случаев.

Х. Какого же рода эти особые?

Мастерман. Ну, иногда мы устраиваем в больнице скромные вечеринки для маленьких бедняжек. Шоколадные эклеры, конфеты, оранжад...

Х. Буду рад внести со своей стороны "Медовый хруст".

Мастерман. И в Рождество... ах, как трогательно видеть маленьких страдальцев в креслицах под праздничным деревом.

Х. И на вас ваши лучшие туфли?

Мастерман. Да, сэр.

Х. И как знать? Вдруг заглянет принцесса Анна?

Мастерман. Это́ всегда возможно, сэр.

Х. И нескладно будет, если она войдет, а вы в этих туфлях.

Мастерман. Это было бы, как говорится, мне не к лицу.

Х. Какой у вас размер, Мастерман?

Мастерман. Сорок третий, сэр, но влезаю и в сорок второй с половиной без особого стеснения.

Х. А что, если ваши рабочие туфли развалятся?

Мастерман. Обуюсь в парадные, наверное.

Х. У меня идея, Мастерман. Лично у меня нет денег для вашего фонда и ложек нет, только пять фунтов моей невесты. Но, по крайней мере, могу вам дать мои туфли.

Мастерман. Нет, нет, сэр. Как вы будете без них?

Х. Надену ваши.

Мастерман. Но вы же сами сказали... в плачевном состоянии.

Х. Может, моя невеста их оплачет и купит мне новую пару. Давайте. Долой их. (*Снимает туфли.*) Ну-ка, примерьте. Посмотрим, каково вашим пальчикам в новом доме.

Мастерман примеряет туфли.

Мастерман. Как в перчатке. Нет, сэр, вы слишком добры. (*Вынимает список.*) Позвольте внести вас в мой список. Пара туфель. Как ваше имя, сэр?

Х. Пишите просто Аноним.

Мастерман. А пять фунтов жертвует?..

Х. Мою невесту зовут Фелисити Хардвич.

Мастерман записывает.

Мастерман. Можно фамилию по буквам?

Х. Х-А-Р-Д-В-И-Ч. А теперь давайте мне ваши туфли — мне надо выйти, отправить письмо.

Мастерман. Боюсь, они немного промокли из-за дождя.

Х. Не страшно. Ну вот, мы договорились о моем взносе, теперь, может, медовых хрустиков?

Мастерман. Не откажусь. Они в самом деле искусительные.

Х. Правильное слово — соблазнительные. А вот пиджак ваш... правый локоть нуждается в починке и рукава обмахрились. Не удивлюсь, если и в кармане дыра.

Мастерман. В левом — да.

Х. А если деньги для маленьких страдальцев в неё провалятся?

Мастерман. Нет, что вы, сэр. Я никогда так не рискую. Они сразу отправляются в дипломат. Тем более, это, как правило, бумажные купюры.

Х. А для особых случаев у вас есть другой костюм? Скажем, на случай, если заглянет принцесса Анна?

Мастерман. Это — единственный, сэр. Второго я не могу себе позволить. Даже от Бёртона.

Х. Мне совестно, Мастерман. У меня дома два новых костюма от Симпсона.

Мастерман. Ах, нет, сэр... Я не могу принять... Вы и так чересчур щедры.

Х (*снимает пиджак*). Я жертвую его не вам. Я жертвую его "Походу против детского полио". В нем вы будете работать гораздо лучше.

Мастерман. Думал ли я, сэр, звоня в вашу дверь...

Обмениваются пиджаками.

Х. Отлично сидит. Чуть широковат в плечах.

Мастерман. Давно я не надевал такой хороший пиджак. Сегодня красный день моего календаря — встреча с вами, сэр. Могу я домыть посуду, пока не ушел?

Х. Нет, нет, Мастерман. Я никогда не мою. Моя невеста сочла бы это странным.

Мастерман. Как же повезло вашей девушке.

Х. Думаете? Не уверен, что она бы с вами согласилась. Впрочем, кому что нравится.

Мастерман. Не каждой выпадает жить с таким щедрым джентльменом, как вы. Не возражаете, если я поправлю картину? Она меня нервирует.

Х. Вижу, вы опрятная душа. (*Резко.*) Не трогайте кнопку, иначе на вас свалится кровать.

Мастерман. Кровать?

Х. Я не сказал вам, что это — Омни-студио? Всё на своих местах.

Мастерман. Я немного удивлялся — даже дивана нет.

Х. Разумно замечено. Невесте нужен хотя бы диван.

Мастерман. Естественно, сэр. (*Оглядывает голую комнату.*) И даме нужно где-то разместить свои вещички.

Х. Под кроватью ящики. Хотите посмотреть? (*Подносит руку к кнопке.*) Пожалуй, нет. У дам свои секреты.

Мастерман. Да, сэр. Не мне в них заглядывать.

Пауза.

Х. Знаете, мне любопытно, Мастерман. Вы мне понравились с первого взгляда. И туфлям моим вы явно понравились. И пиджаку вы понравились. Чем вы занимались до того, как стали шкандыбать по квартирам?

Мастерман. Работал, сэр, там и сям. Тяжело трудился за маленькие деньги.

Х. На воздухе или в помещении?

Мастерман. В помещении, сэр.

Х. Сидячая работа?

Мастерман. Отчасти.

Х. Женаты?

Мастерман. Не успел — вечно не хватало времени.

Х. У вас, наверное, где-то своя комнатка вроде этой.

Мастерман. Не такая, сэр. Не такая современная. Без кухоньки. Только газовая плита. Кровать, конечно. Не такое славное гнездышко, как у вас.

Х. Ванная?

Мастерман. Ну, что вы. В баню хожу раз в неделю.

Х. Не желаете принять приятную горяченькую ванну? На улице холод и сырость. И работа пойдет гораздо энергичней после горячей ванны.

Мастерман (*озираясь*). Как говорится, это соблазнительное предложение, но я не вижу тут ванны, сэр.

Х. Но она есть. Положитесь на "Омни-студио, лимитед". Всё на своих местах, и для всего есть место. (*Он поднимает край скатерти, выдвигает пластиковую ванну и ставит её над сливом в полу. Идет на кухню, надевает резиновый шланг на кран, а другой конец – на кран ванны. Потом в качестве демонстрации напускает в ванну немного воды.*)

Мастерман. Ну и ну, что еще они придумают. И где найдут место для туалета, извините за натурализм?

Х. Я покажу, если вам надо.

Мастерман. Нет, нет, сэр. Никакой необходимости. Чисто из любопытства.

Х. Мастерман, так как насчет ванны?

Мастерман. Нет, сэр, правда. Злоупотреблять вашей любезностью? Не смею. К тому же до вечера мне надо много концов проделать.

Х. Просто любопытства ради, попробуйте, хороша ли вода.

Воды только на дне. Мастерман наклоняется, чтобы пощупать воду — на заду у него заплата.

Мастерман. Теплая, сэр, в самый раз.

Х. О! Мастерман, ваши брюки...

Мастерман. Что с брюками?

Х. Принцесса там, не принцесса — вы не можете в таком виде.

Мастерман. В каком смысле, сэр? Что не так?

Х. Заплата!

Мастерман. А-а. Чуть зацепился. Перелезал через живую изгородь.

Х. Что вас понесло на живую изгородь?

Мастерман. Люблю погулять за городом в воскресенье.

Х. Но такая заплата не гармонирует с моим пиджаком.

Мастерман. Хотите сказать, компрометирует его?

Х. Мастерман, выход только один. Я отдаю вам мои брюки.

Мастерман. Нет-нет-нет, сэр. Я и подумать об этом не смею.

Но Х уже спускает брюки.

Х. Перестаньте, друг мой. Не стесняйтесь. Я это делаю не для вас. Я это делаю для бедных парализованных деток.

Мастерман. Но мои трусы. На этой неделе не смог вырваться в прачечную. И они тоже немного заплатанные.

Х. Не страшно. Их никто не видит. Внешность — вот что важно.

Мастерман. Истинно так.

Х. Как давно вы занимаетесь вашим благородным делом?

Мастерман. В ноябре будет два года.

Х. При любой погоде, вы сказали?

Мастерман. При любой погоде, сэр.

Х. В снег, и в бурю, и в пекло. Знаете, ваша преданность делу трогает меня не меньше, чем эти детишки в инвалидных креслах. Вам было бы гораздо легче в таком кресле на колесах. Может быть, с мотором. Вы не завидуете иногда удобству их жизни? Когда они собираются вокруг елки с лампочками в теплой больнице, вы, Мастерман, может быть, тащитесь по снегу от двери к двери и просите денег.

Мастерман неохотно снимает брюки. Он стоит лицом к Х, потому что трусы на заду порваны. Обмениваются брюками. Долгая неловкая пауза.

Х. Ну вот, вы другой человек.

Мастерман. Именно так себя и чувствую, сэр. Если бы четверть часа назад мне сказали...

Х. Я сам себя чувствую другим человеком. Но со мной перемена случилась раньше. (*Смотрит на часы.*) Три четвер-

ти часа назад, если быть точным. (*Пауза.*) Скажу вам, Мастерман, перед вашим приходом я пережил минуты глубокого отчаяния.

МАСТЕРМАН. Что-нибудь из-за невесты?

Х. Да.

МАСТЕРМАН. Тяжелая ссора?

Х. Окончательная ссора, Мастерман.

МАСТЕРМАН. Поверьте, сэр, размолвку с любимой нельзя принимать так близко к сердцу. Милые бранятся — только тешатся.

Х. Потехой не назвал бы. Она была страшной сукой. Очень толстая и косая. Уродок легче всего заполучить и трудней всего от них отделаться. Особенно, если они трудоустроены, а ты нетрудоспособен. Это рождает в них невыносимое чувство превосходства.

МАСТЕРМАН. Помните старую пословицу, сэр: рыбы пруд пруди... Лишь бы удочка не сломалась... Если я чем-то могу помочь...

Х. Мастерман, вы уже помогли. Когда зазвонил звонок, ведал ли я, что за дверью мой добрый ангел? Уверены, что не хотите принять ванну?

МАСТЕРМАН. Я лучше воздержусь, сэр, если позволите. У меня свои маленькие привычки. Баня по четвергам.

Х. Вы меня не стесняйтесь. Мне надо пойти на почту, отправить письмо.

МАСТЕРМАН. Нет, сэр, правда, спасибо.

Х идет к четвертой стене и смотрит в воображаемое окно.

Х. Вот и солнце выглянуло. Дождь перестал. Вы принесли солнце, Мастерман. Я выйду на пять минут всего. Побудьте здесь, пока не вернусь. Хочу еще побыть с вами — с вами веселее. И угощайтесь медовым хрустом.

МАСТЕРМАН. Мне, правда, надо идти — работа, сэр.

Х. Но я еще не дал вам пять фунтов моей невесты. Дам, когда вернусь. (*Снимает с Мастермана очки и надевает на себя.*) А, простые стекла?

МАСТЕРМАН (*пристыженно*). Ну... понимаете...

Х. Значит, мне годятся так же, как и вам.

МАСТЕРМАН. Я пользуюсь ими для работы. Видите ли, сэр, когда одежда немного поношенная, как у меня, очки придают, ну, солидность. Своего рода удостоверение.

Х. Опять удостоверение. Противное слово.

МАСТЕРМАН. Я попросил бы вас вернуть, если не возражаете. Я привык к ним.

Х. Но они вам больше не нужны. Теперь на мне недостает солидности.

МАСТЕРМАН. Сэр, прошу вас.

Х идет к двери.

Х. Мастерман, вы мне не доверяете. Слушайте, я скажу вам, что я сделаю. Погода разгулялась, светит солнышко, и до моего возвращения оставляю вам мою шевелюру. (*Быстро снимает парик с лысой головы и нахлобучивает на лысого Мастермана. Хватает его дипломат и выскакивает за дверь.*) Au revoir, Чипс.

Мастерман ощупывает волосы в тягостном недоумении. Пауза.

МАСТЕРМАН. Эй!

За этим возгласом — звук захлопнутой двери.

(*Себе, громко.*) Черт, тебя обштопали, Чипс. Обштопал жалкий любитель. (*Идет к двери, открывает, выглядывает в коридор.*) Сгорели двадцать пять фунтов. И четыре серебряных ложки. (*Возвращается в комнату, не закрыв до конца дверь. Расстроенный, садится в кресло и начинает кусать ногти, как прежде Х. По ходу дела размышляет вслух.*) Хватку потерял, Чипс. Что бы Ерш сказал, если бы сейчас меня увидел? И Рыжик. Эх, Рыжик. Со смеху бы помер — если бы еще был жив. Двадцать пять хрустов и четыре серебряных ложки. И фотокарточки, Рыжик. Что я буду делать без этих карточек? И без ксивы с росписью Ерша на счастье? Рыжуха, помоги мне, где ты там есть, подумай обо мне, помолись за меня, Рыжуха. (*Долгая пауза.*) Черт, ты всегда у нас был умным. У тебя всегда был ответ. Он ту пятерку вынул из буфета. Там должны быть еще. (*Старательно ищет в буфете, ничего не находит. С отвращением бросает на пол непочатую коробку хлопьев.*) Они что, питаются этой дрянью? А! (*Вспоминает про накренившуюся картину и снимает её со стены. Под ней – ничего.*) Рыжуха, старый друг. (*Пауза.*) Рыжуха, я дурак набитый. Ты прав. Кровать. Под матрасом. Эти раззявы до сих пор не придумали ничего лучше. (*Ищет взглядом кнопку, находит, нажимает ее, и эта часть стены начинает медленно опускаться. Когда она доходит до пола, мы видим тело*

очень толстой молодой женщины в ночной рубашке. У нее длинные светлые волосы, и она косая. Из психологических, а также экономических соображений надо использовать карикатурный манекен.) (*Парализован зрелищем.*) Мать честная! Дохлянка! Рыжий!

Звонок в дверь — тот же меланхолический мотивчик. Мастерман пытается поднять кровать на место, но из-за трупа это ему не по силам. Второй звонок. В отчаянии он нажимает кнопку, и под третий звонок кровать медленно убирается и со щелчком встает на место. Мастерман поворачивается лицом к двери, вызывающе прижимая спиной убранную кровать. Веселый мужской голос снаружи: "Есть кто-нибудь?", и дверь отворяется.

Медленный занавес.

Действие второе

Возвращаемся к концу первого действия. Мастерман прижимается спиной к стене, скрывающей кровать. Звенит последний звонок, и веселый голос из-за двери спрашивает: "Есть кто-нибудь?" Дверь открывается, и входит пожилой человек в мягкой шляпе и элегантном дождевике. На сгибе руки у него висит зонт, в другой руке портфель. Он останавливается в дверях. У него седые усы и военная выправка.

Незнакомец. Доброе утро. Дверь была открыта. Мисс Хардвич дома?

Мастерман от испуга не сразу отвечает.

Мисс Фелисити Хардвич.

Мастерман. Она вышла отправить письмо.

Незнакомец снимает шляпу.

Незнакомец. Разрешите войти? (*Ответа не дожидается, входит.*) Если не возражаете, подожду ее.

Мастерман. Она может задержаться. Ей надо еще за покупками.

Незнакомец. Вы тут сами давно, случаем?

Мастерман. А вам что?

Незнакомец. Не примите за обиду. Вы, конечно, жених мисс Хардвич. Пожилая дама под вами сказала, что вы

можете быть здесь. Мисс Барби ее фамилия. Забавная фамилия для дамы. Разрешите присесть? Я довольно быстро шел. (*Садится в кресло у стола. Мастерман по-прежнему подпирает стену.*) Года сказываются. Сказываются года. Разрешите представиться. Полковник Фенвик. (*Достает из жилетного кармана карточку и протягивает Мастерману. Тот отошел от стены. Фенвик поднимает коробку с хлопьями.*)

Фенвик. "Медовый хруст"! Мои любимые. Я собираю крышечки. За двадцать крышечек вы получаете коробку скрэббла по почте, но я нацелился на тридцать. Модель танка "Центурион" в наборе "Собери сам".

Мастерман. Тут сказано, что вы инспектор. Следак?

Фенвик. Следак?

Мастерман. Полицейский.

Фенвик. Боже упаси. Хотя охочусь за человеком. (*Вертит в руках коробку.*) Не знаете, мисс Хардвич собирает крышки? Если нет, может быть, позволит взять мне эту. Это будет двадцать пятая. Конечно, "Центурион" как танк — скорее историческая реликвия. Как "Спитфайр". Но для нас эти названия много значили. Я сам был на африканском фронте. В группе дальней разведки пустыни. Мы чуть не сцапали Роммеля.

Мастерман (*подозрительно и нервно*). А что это значит — "инспектор"?

Фенвик. Я работаю в "Походе против детского полио". Человек не может просто сидеть на пенсии.

Мастерман. Так за кем это вы охотитесь?

Фенвик. За одним мерзавцем. Конечно — мелкая дичь после Роммеля.

Мастерман. Что он натворил?

Фенвик. Хуже убийства, я скажу.

Мастерман. Хуже убийства?

Фенвик. Ходит с фальшивым документом и собирает деньги якобы на "Поход против детского полио". Но я иду по горячим следам.

Мастерман (*изумленно*). И говорите, это хуже убийства?

Фенвик. Много, много хуже. Обман доверия. Кража у несчастных детей, которым мы стараемся помочь. Люди очень отзывчивы. Пожилая дама внизу, мисс Барби, сказала мне, что дала ему пятьдесят фунтов — от себя оторвала.

Мастерман. Пятьдесят фунтов!

Фенвик. Попробую добиться от Комитета, чтобы ей возместили. Отличный отряд. Энергичные, изобретательные, смелые — не хуже наших молодцов в Западной пустыне. Среди наших патронов — принцесса Анна.

Мастерман. Но все-таки, сэр. Хуже убийства?

Фенвик. Конечно. Убийство, в конце концов, всего лишь форма умерщвления. За мною лично числятся две смерти.

Мастерман. Это было на войне.

Фенвик. Друг мой, а когда мы не на войне? Даже холодная война должна сопровождаться жертвами, если вести ее эффективно. К сожалению, это редко бывает.

Мастерман. Но этот бедолага, за которым вы охотитесь, — может, ему деньги нужны.

Фенвик. Так пусть убьет за них, как джентльмен. Я могу признать насильственное преступление, даже преступление страсти, но лгать, показывать фальшивый документ — это никуда не годится.

Мастерман. Вы поставили меня в тупик, сэр.

Фенвик. Конечно, мне жаль, что эти ребятки в парламенте — в большинстве профсоюзники, между прочим, — отменили смертную казнь. Смертная казнь делает убийство стоящим делом. Убивая, рискуешь жизнью.

Мастерман. Нет — если убивают бедную невинную девушку.

Фенвик. Не надо быть сентиментальным, друг мой. Невинные девушки — редкость. А убитые невинные девушки — тем более редкость. Тем более что они принадлежат к сильному полу. Знаете чудное стихотворение Киплинга: “Потому что женщины рода намного опасней мужчин”. Я, конечно, целиком за раскрепощение женщин. Как думаете, мисс Хардвич не будет в претензии, если закурю?

Мастерман. Не будет. Там, где она сейчас, дым ей не помешает. То есть у “Маркса и Спенсера”.

Фенвик вынимает портсигар.

Фенвик. Составите мне компанию?

Мастерман. Бросил. Эти страшилки о вреде курения меня и впрямь напугали.

Фенвик. А мне только добавили удовольствия. Всегда покупаю сигареты с наибольшим содержанием смол. Это вызов своего рода. Я или она. Война насмерть. (*Пауза.*) Кстати, у вас превосходная шевелюра. Увы! Моя на макушке капитулировала. Как вы ее поддерживаете?

Мастерман. Однажды я ее чуть не лишился.

Фенвик. Делали имплантацию? Читал я рекламу... но идея меня отвратила — что у меня на черепе будут прорастать такие маленькие саженцы. Наверно, их поливать надо каждый день.

Мастерман. У меня просто отросли.

Фенвик. Мои, думаю, были жертвой войны. В пустыне у тебя масса песка в голове. Иной раз полночи чешешься. Говорили, что на мили кругом ничего не слышалось, кроме этого звука.

Мастерман. У меня однажды была сыпь. Но нервного происхождения.

Фенвик. Э, война — чудесное средство от нервов.

Мастерман. Не хотите ли чаю? Пока ждете.

Фенвик. Нет, нет, благодарю. Мой обычай — виски в шесть.

Мастерман. Медового хруста?

Фенвик. Нет-нет. Я этого не ем. Только крышки собираю.

Мастерман. А с хлопьями что делаете?

Фенвик. Отдаю их моим пернатым друзьям.

Мастерман. Они им по вкусу?

Фенвик. Сметают в секунду. Я их сыплю в купальню для птиц. У меня садик в Уимблдоне, и там купальня. Вот чего мне в пустыне не хватало. Птиц. Такая обида. Мог бы там наблюдать за их жизнью в бинокль. Вот что еще на войне замечательно. Убиваешь, и притом остается свободное время наблюдать. И болтать с товарищами, пока ждешь. Как мы сейчас болтаем. Дожидаясь мисс Хардвич.

Мастерман. Как вы Роммеля дожидались.

Фенвик. Так точно.

Мастерман. А в Уимблдоне удается видеть интересных птиц?

Фенвик. У меня хороший старый армейский бинокль. И однажды мне удалось определить издали длиннохвостую синицу. Думаю, из наблюдения за птицами у меня и родилась мысль стать добровольцем-инспектором “Похода”. И вот я перед вами... Снова в поиске.

Мастерман. По горячим следам.

Фенвик. Конечно, у меня нет полномочий на арест, но этого мерзавца я без колебаний задушил бы голыми руками. Как в добрые старые дни. (*Показывает руками, скрючивая пальцы. Мастерман опасливо наблюдает за этой демонстрацией.*) К несчастью, я сейчас страдаю подагрой, и большие пальцы могут подвести. Когда душишь, самая трудная работа достается большим пальцам. У нас

был курс — бесшумного убийства, понимаете? Навыки остаются навечно, как езда на велосипеде. Конечно, когда бесшумности не требуется, большой урон можешь нанести обычным коленом. Очень болезненно, хоть и не убьешь. И эффект может быть длительным. К несчастью, у меня и в правом колене теперь подагра. Принимаю бутазолидин — но в критической ситуации мерзавец легко может удрать. Столько чудесных способов убийства — я помню все, но теперь от них мало толку. Я старик, осталось полагаться только на полицейский свисток. (*Шарит в карманах.*) Для самой-то интересной работы приходится констебля вызывать. (*Пауза.*) Господи. Я его не взял. Наверное, в пижаме оставил.

МАСТЕРМАН. Вы его в пижаме носите?

ФЕНВИК. Я с ним не расстаюсь. И надо же — забыть его, когда он так нужен, когда я чую свежий след. (*Гасит сигарету.*)

МАСТЕРМАН. Чуете? (*Обнюхивает себя и опасливо оглядывается на спрятанную кровать.*)

ФЕНВИК. Сколько, вы говорите, тут находитесь?

МАСТЕРМАН. С полчаса.

ФЕНВИК. Никто не заходил? Лысый урод в обтрепанном костюме, в очках и с дипломатом? Якобы продает наш журнал. Туфли почти развалились. Я протелефонировал в полицию словесный портрет. Далеко не мог уйти. Мисс Барби описала его на редкость хорошо для дамы ее возраста. Говорит, сразу поняла: что-то тут не то.

МАСТЕРМАН. Почему же отвалила ему пятьдесят хрустов?

ФЕНВИК. Хрустов?

МАСТЕРМАН. В смысле, фунтов.

ФЕНВИК. А, взял ее на жалость. Знаете, как работают эти типы. Слезу выжмут. Сказал, что фонд его уволит за слабые результаты.

МАСТЕРМАН. Бесстыжее вранье.

ФЕНВИК. Вранье, конечно. Такой ни перед чем не остановится. Она сказала, что слышала скрытые нотки угрозы в его жалобах.

МАСТЕРМАН. Зарезать надо было старую перечницу.

ФЕНВИК. Конечно, зарезать, если бы в мозгах было две извилины. Я бы *уважал* его за это. Она говорит, он стал подниматься по лестнице в этом направлении.

МАСТЕРМАН. Минут двадцать назад кто-то действительно звонил в дверь.

ФЕНВИК. Что?

МАСТЕРМАН. Но я принимал ванну.

Фенвик. Он вошел?

Мастерман. Он только дверь открыл, и я велел ему уйти.

Фенвик. Но вы видели его?

Мастерман. Глаза были в мыле. Толком не разглядел.

Фенвик. А не мог он войти и прошмыгнуть в другую комнату? Когда я пришел, у вас тоже было не заперто.

Мастерман. Тут нет другой комнаты. Вот это все, что есть.

Фенвик. Но вы сказали, что принимали ванну.

Мастерман. Вон она. Под столом. (*Поднимает скатерть.*) Просто отодвинуть стол.

Фенвик. Остроумно.

Мастерман. Это студио-омнибус.

Фенвик. Но кухня, полагаю, должна быть? Он мог там притаиться.

Мастерман сдвигает стену и показывает кухню. Потом закрывает.

До чего изобретательные ребята эти конструкторы. Знал в Каире одного такого артиста. Придумал посылать по почте жидкий огонь. По виду обыкновенный конверт. С асбестовой подкладкой, конечно. Открываешь конверт, и глазом не успел моргнуть, как весь охвачен пламенем. Представляете картину, как письмецо пришло в штаб Роммеля? Идея была хорошая, но много практических препятствий. Из Каира Роммелю нельзя писать. Ну, а где вы кровать держите? Нет, не говорите. Я люблю сам разобраться. Стена с кроватью, наверное, так же действует, как кухонная.

К ужасу Мастермана начинает ходить по комнате, простукивая стены.

Ха-ха, старого воробья на мякине не проведешь. Здесь глухо. Наверняка спрятался на кровати, когда вы принимали ванну. Догадался, что я за ним гонюсь. (*Фенвик ведет ладонью по стене. К облегчению Мастермана это не та стена.*)Надо вызвать саперов, они его мигом откопают.

Мастерман. Но как он мог туда забраться, если я его не видел?

Фенвик. Может, вы спину намыливали в это время. Мисс Барби сказала, что он противный хитрый тип. Лиса. Любых фокусов можно ждать.

МАСТЕРМАН. Я бы не стал доверять старой перечнице. Она сама довольно противная. И в пятьдесят фунтов нельзя верить. Дала, небось, десятку, если вообще дала.

ФЕНВИК. Ну, вот она. Идите сюда, дорогуша. Покажите, как действует кровать.

МАСТЕРМАН. Она застряла. Она часто застревает.

ФЕНВИК (*стучит не по той стене*). Давайте зубило и молоток у меня из сумки. Я ее вам открою. (*Приложил ухо к стене.*) Кажется, слышу его дыхание. Зубило. Живее.

МАСТЕРМАН. Там никого нет. Это сплошная стена.

Фенвик стучит по стене, и на этот раз слышится ответный стук.

ФЕНВИК. Вот. Слышите его? Думаю, перепуган до смерти. Застрял в стене, как таракан. (*Снова стучит. Стук в ответ.*) Слышите его?

МАСТЕРМАН. Это просто соседи. Вы стучите — они отвечают. Включите телевизор — они включат громче. В квартире всегда человек человеку волк.

ФЕНВИК (*приложив ухо к стене*). Дыхание прекратилось. Возможно, паразит умирает. От удушья. Тащите зубило. Не то улизнет от правосудия.

МАСТЕРМАН. Если он умирает...

ФЕНВИК. Мы не можем оставить мертвое тело в стене у мисс Хардвич. Оно привлечет крыс. Надо извлечь до ее возвращения.

Мастерман приносит зубило и молоток — лишь бы полковник чем-нибудь занялся, а сам он мог незаметно скрыться.

Несите хлебный нож — на случай, если он еще жив.

МАСТЕРМАН (*из кухоньки*). Хлебного нет.

ФЕНВИК (*отдирая панель от стены*). Должен быть. Вы не едите тосты на завтрак?

МАСТЕРМАН. Мисс Хардвич ест только “Медовый хруст”.

ФЕНВИК. Господи Иисусе. (*Открылась штукатурка на стене.*)

МАСТЕРМАН. Мясной нож сойдет?

ФЕНВИК. Да, это классика, но рана не такая интересная.

Мастерман приносит разделочный нож.

МАСТЕРМАН. Пока вы вскрываете стену, я сбегаю за полицией.

ФЕНВИК. Ничего подобного. С какой стати уступать им все удовольствие? Стойте рядом со мной с ножом, и, если

тело выпадет, — ножом ему резко в горло под кадык. Если окажется живым.

Мастерман. А если выпадет ничком?

Фенвик. Молодец. Хороший вопрос. Тогда ножом — между лопатками, но чуть левее середины. (*Фенвик принимается обрабатывать стену. Падают куски штукатурки. С той стороны – исступленный стук.*) Запыхался. Не в форме. (*Садится, отирает лоб.*) Каждый день делаю пробежку. Но этого недостаточно. Конечно, по сравнению с тем, что приходилось делать в Западной пустыне... По крайней мере, ясно, что он еще жив.

Мастерман. Давайте сбегаю за полицией. Это их работа.

Фенвик. Ни с места. Никогда не обращаюсь к гражданской службе без надобности. Всегда ношу фляжку с виски. (*Делает глоток.*) Не пьяница, учтите. Точно в шесть часов. За исключением крайних случаев. Сейчас крайний. Ради этого только и стоит жить.

Мастерман. Ради виски?

Фенвик. Нет, конечно. Ради крайних случаев. (*Отирает лоб.*) За работу. Вытащу педераста. Хотя бы для того, чтоб похоронить. (*Выковыривает кирпич. Из дыры стремительно высовывается рука и хватает его за запястье.*)

Голос. Ты что творишь с моей стеной?

Фенвик. Ага, попался, черт возьми. Помогите вытащить его.

Мастерман. Отверстие слишком маленькое.

Фенвик. Тогда рубите ему пальцы. На мое запястье плюньте. Раз не можем вытащить — изувечим.

Голос. Мона, звони в полицию, быстро. Он опасен.

Фенвик. Бесполезно блефовать, любезный. Вылезай лучше.

Голос. Да кто ты, черт тебя возьми?

Фенвик. Я буду держать тебя, пока не прибудет полиция.

Голос. Это я тебя держу, а не ты меня.

Фенвик. Ты кто? Фамилия, звание, номер. Что ты делаешь в квартире мисс Хардвич?

Голос. Я не в квартире мисс Хардвич. Я у себя в квартире. Ты разрушил мою стену.

Фенвик. Напротив. Это стена мисс Хардвич.

Мастерман направляется к двери с намерением улизнуть.

Ни с места! Помогите мне с этим педерастом.

Голос. Не смей сквернословить при моей жене.

Фенвик. Дьявол, у него еще сучка в постели!

Мелодично звенит дверной звонок. Полковник рывком высвободил руку. Открывается дверь и входит полицейский сержант в форме. Он втаскивает обтрепанного, в очках X с дипломатом.

Сержант. Джентльмены, кто-нибудь из вас может опознать этого человека?

Занавес

Действие третье

Немая сцена. Полковник Фенвик стоит перед дырой в стене. Мастерман стоит перед картиной и кнопкой, освобождающей кровать. X стоит позади Сержанта, карикатурно понурясь от стыда. Пауза. Все смотрят друг на друга. Полковник достает из бумажника визитную карточку и подает полицейскому.

Фенвик. Молодцом, сержант. Вот моя карточка. Полковник Фенвик. Это я звонил в участок. Отличная работа. Я уже сам напал на след мерзавца.

Сержант. Помогло ваше отличное описание, сэр. Нашли его в полумиле отсюда. Пил кофе, ел хлопья, довольный, как колобок. Лысый, поношенный костюм, дырявые туфли, дипломат с четверт... простите, сэр, двадцатью пятью фунтами и четырьмя серебряными ложками. Спросил у него документы. Фото с лицом не совпадает. Привел сюда, шел, как овечка. Я решил завершить это дело прямо здесь, а потом доставить его в полицию. Опознан пожилой дамой мисс Барби. Видела, что он поднимался в эту квартиру. Владелица ее — мисс Фелисити Хардвич. Два опознания всегда лучше одного. Дама близорука. На перекрестном допросе может поплыть.

Фенвик. Сержант, мисс Хардвич пошла в магазин. Этот джентльмен — ее жених. Он сказал мне, что принимал ванну, когда тот позвонил в дверь. Не разглядел как следует — мешало мыло в глазах.

Сержант. Ванну, сэр? Дверь ванной была открыта?

Фенвик. Двери нет. Ванна стоит под столом. Это студия-омнибус. Очень компактная. От такой бы сам не отказался.

Сержант. Что случилось со стеной? Как будто взрыв.

Фенвик. Просто недоразумение.

Голос (*из-за стены*). Недоразумение, мать твою.

Сержант. Кто это?

Фенвик. Видимо, кто-то из соседей мисс Хардвич.

Сержант (*Мастерману*). Тем не менее посмотрите на него. Возможно, вы заметили, что лысый... или туфли его, или очки, или дипломат.

Мастерман (*с неохотой*). Туфли как будто знакомые.

Сержант. А лысина? Он был без шляпы, когда я его задержал.

Мастерман. Не хочу причинять неприятности бедняге.

Фенвик. Такие не заслуживают жалости. Обман доверия. Фальшивые документы. Кража у детей. Это хуже убийства.

Х. Можно мне сказать?

Мастерман (*Фенвику*). Если не возражаете, сэр, я пойду поищу мисс Хардвич.

Сержант. Попрошу вас пока остаться здесь. Хочу взять у вас показания.

Х. Джентльмены, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу облегчить свою совесть. Хочу рассказать вам всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Бог.

Сержант вынимает блокнот.

Сержант. Только не торопитесь. Я не владею стенографией. Во-первых, фамилия.

Х. Меня зовут Амброз Мастерман.

Мастерман порывается протестовать, но передумывает.

Сержант (*пишет*). Амброз Мастерман. Возраст?

Х мешкает.

Мастерман? (*Сержант подходит к нему и долго вглядывается. Срывает с него очки.*) А-а-а, так это старина Чипс? Ну, ты изменился, Чипс.

Х. Годы — они дают себя знать, сержант. И лишения. Я испытал много лишений.

Фенвик. Вы знаете этого человека?

Сержант. Как же — лет пять назад был у нас постоянным клиентом. То в тюрьму, то на волю. Он и его друг Рыжий. Никаких серьезных дел. Так, мошенничество. Рыжий был транс... транс... в общем, одевался женщиной. Как там старина Рыжий, а, Чипс?

Х. Хотел бы я знать. Отправился туда, наверное, куда мы все отправимся.

Сержант. Думается, больше, чем на два года, ты ни разу не залетал? А, Чипс?

Х. Ни разу, Бог миловал.

Фенвик. Надеюсь, теперь получит пожизненное. Людей вешали за кражу носового платка. Вот эти мелкие рецидивисты — главная угроза государству.

Сержант. Нет, сэр. За ним никакого насилия не числится.

Фенвик. Мал муравей, да горы копает. Вы подумайте о расходах, Сержант, — адвокаты и прочее. И все из нашего подоходного налога. Можно поучиться у мексиканцев — как они с ними обходятся. Заключенный пытается бежать. Его застрелят. Закон боя. Без вопросов.

Сержант (*шокирован*). Это — убийство, сэр.

Фенвик. Сержант, люди склонны раздувать дело, когда рассуждают об убийстве.

Сержант. Чипс нам обходился недорого, сэр. Даже адвоката не требовал. Всегда защищал себя сам. Большой артист в этом отношении. Начинал с того, что родился круглым сиротой, потом брак распался — и нервное расстройство. Даже из судьи слезу мог выжать.

Фенвик. Сплошное вранье. Будь я судьей — никакой пощады таким типам. За решетку. За решетку пожизненно.

Сержант. В конце концов, сэр, если подумать — что он совершил? Речь о каком-то четверта... двадцати пяти фунтах и четырех серебряных ложках. Это все равно что пара фунтов десять лет назад. Несчастному надо ведь на что-то жить.

Мастерман пробирается к двери. Впервые зазвонил телефон. Все смотрят на Мастермана. Трубку берет Фенвик, передает Мастерману.

Мастерман (*в трубку*). Алло. Алло. Вы ошиблись номером. (*Хмуро объясняет.*) Звонили в Королевское общество по защите животных.

Голос (*из двери*). Сержант, задержите этого человека.

Это Сосед, грузный мужчина в рубашке.

Сержант. Он и так задержан.

Сосед. Да не его. Вон того. (*Показывает на полковника.*) Он проломил мою стену.

Фенвик. Это не твоя стена. Это стена мисс Хардвич.

Сосед. Он угрожал убить меня.

Фенвик. Вздор. Я тебя даже не знаю.

Сосед. Он непристойно выражался о моей жене.

Фенвик. Да я даже не знаю, что у тебя есть жена.

Сержант. Спокойно. Спокойно, уважаемый. С этим мы разберемся позже. Сейчас у нас дело поважнее. Вы раньше видели этого человека? (*Показывает на Х.*)

Сосед. Его? Да. По-моему, видел.

Сержант. Он просил у вас денег?

Сосед. Я видел только, как он прошел мимо двери. Я с незнакомыми не разговариваю.

Сержант. Что он делал?

Сосед (*показывая на Мастермана*). Закрыл дверь этого педераста.

Сержант. Теперь вы сами прибегли к нецензурному языку. В присутствии представителя закона. Так не годится.

Сосед. Какому еще нецензурному? Это характеристика. (*Показывая на Мастермана.*) Он и есть педераст. Живет за счет женщин.

Фенвик. Эти две вещи несовместны, друг мой.

Сосед. Мисс Хардвич не красавица, но заслуживает лучшего, чем этот вот. Пусть толстая, пусть косая, пусть кривоногая, но...

Фенвик. Не отклонились ли мы от темы, сержант?

Сосед. Тратит ее деньги на других баб, стоит ей отвернуться. И всегда на толстых. У него прямо страсть к толстым.

Мастерман. В жизни не знал толстых женщин. Времени не было на толстых. И на худых тоже.

Сосед. Врешь, собака. У меня что, глаз нет? У жены моей глаз нет? Кто назвал мисс Хардвич толстой? А эта, неделю назад всего? Мисс Хардвич в магазин, эта тут как тут. Толстая, как поросая свинья. Да если бы моя жена не отощала от опоясывающего лишая, я бы сам тебя опасался. А сейчас ее, бедную женщину, оскорбляет нецензурщиной этот. Полковник якобы.

Фенвик. Я твою жену на улице не узнаю, если вєтречу.

Сосед. Полковник Задери-нос. Генеральскую жену сразу бы узнал.

Фенвик. Поясняю: не узнал бы потому, что никогда ее не видел. Не сомневаюсь, что она хорошая женщина.

Сосед. Хорошая женщина, правильно. Хотя после лишая от нее один скелет остался. А твою жену она и знать не захочет.

Фенвик. У меня нет жены. Сержант, это абсурд. Нам преступление надо расследовать.

Сосед. Правильно. Стену мне сломал.

Фенвик. Украл у детей деньги. Фальшивые документы...

Сосед. У самого тебя фальшивые, как иудин поцелуй. Полковником представляется!

Фенвик (*впервые уязвлен*). Не знаю, что *ты* делал на войне, мой друг. А я сражался с Роммелем в Западной пустыне.

Сосед. Я зажигалки тушил на крышах, пока ты отсиживался в армии. С Роммелем он сражался! На жопе сидя.

Х. Можно мне вставить слово?

Звонит телефон. Мастерман берет трубку.

Мастерман. Алло. Нет, мадам, это не Общество защиты животных. Нет, ни черта не могу сделать для вашей болонки. Наверно, она сама напросилась.

Общее волнение.

Сержант. Прошу вас, джентльмены. Давайте разбираться с делами по очереди, в порядке важности.

Мастерман. Сержант, вы не имеете права задерживать меня здесь.

Сержант. Долг каждого человека — помогать полиции в расследовании. И вообще, почему вам так не терпится уйти?

Х. Вы намерены или не намерены снять с меня показания? Сержант, говорю вам, я все признаю. После этого бедлама я больше всего хочу относительного покоя в тюремной камере.

Мастерман. Я вам не нужен. Я хочу уйти и поискать мисс Хардвич. Я хочу сказать ей, что случилось с ее стеной. Она должна это знать.

Сержант. Всему свое время. Всему свое время. Я хочу взять у вас показания, когда арестованный даст свои. Мистер... боюсь, я не знаю вашего имени, сэр.

Сосед. Никто не знает его имени. Он просто жених мисс Хардвич. Жених, вас спрашивают!

Х. Я во всем признаюсь! Я обманом выманивал деньги. Я подделал удостоверение. Я...

Сержант. Как пишется “удостоверение”? С нашей последней встречи ты заговорил витиевато, Чипс.

Х. Я посещал вечернюю школу. Напишите “бумаги”, если так проще.

Сержант. Сколько лет теперь тебе, Чипс? Нам надо все записать по порядку. Амброз Мастерман, известный под кличкой Чипс. Возраст?..

Х. Сорок один с половиной.

Сержант. Что значит “с половиной”?

Х. Сорок один год плюс сто восемнадцать два с половиной дня. Мать моя не отличалась точностью.

Сержант. Последнее место работы?

Х. Не помню.

Сержант (*пишет*). Значит, безработный.

Х. Нет. Нетрудоспособный. Это большая разница.

Фенвик. В комнате ужасно пахнет кухней.

Сосед. Это твоя заслуга. Ты стену проломил к чертям или кто? Моя старуха готовит жаркое. (*Принюхивается к дыре.*) Черт, пригорит ведь! МОНА! (*Заглядывает в дыру.*) Следи за жарким. Сгорит. Хватит торчать там, слушать, чего тебя не касается. (*Повернувшись.*) Толстые, тощие — верить им нельзя. Эти кошки от любопытства не дохнут.

Сержант (*Мастерману*). Сэр, вы сказали, что узнаете туфли этого человека?

Мастерман. Говорю, мне мыло в глазах мешало. Не могу сказать уверенно. Не утверждаю.

Сержант (*к Х*). Ну, и без него достаточно свидетелей, Чипс. Мисс Барби и джентльмен с ложками. А нам пока лучше в участок. Там возьму у вас показания.

Х. Тогда чего мы ждем? Я пойду смирно. Сказал вам. Я хочу облегчить совесть.

Сержант. Ты и впрямь не зря поучился в вечерней школе.

Фенвик. Не верьте ему. Как только его выпустят, он опять примется за старое.

Х. Я хочу искупить свои прегрешения. Перед Обществом и принцессой Анной.

Сержант (*быстро*). Принцессой Анной? Она здесь при чем?

Сосед. А как же моя стена?

Сержант. Меня не касается. Это — к гражданским властям.

Сосед. В жопу гражданские. Может, он ограбить меня хотел — почем вы знаете?

Сержант. Едва ли полковник станет...

Сосед. Это он говорит, что полковник.

Фенвик. Друг мой...

Сосед. И вообще, что из этого? Армия учит воровать. Половина грабителей банков — в прошлом полковники. Кражи, убийства, грабежи...

Фенвик. Не знаю, чем вы там занимались, пока ждали налета...

Сосед. Дротиками. Вот чем. Дротики метали, когда не было налета. А вот чем вы занимались во время затишья? Думаю, не сидели в песке. Слышал я истории про Каир. Бабы, ослицы...

Фенвик. Да что мне красть из твоей квартиры?

Сосед. Вы посмотрите на эту парочку, сержант. Они же в сговоре. Убить меня пытались. "Ножом ему в горло, под кадык". Я своими ушами слышал. На стол посмотрите, сержант. Видите нож? (*Пауза.*) Рана не такая "интересная", как от хлебного ножа, — это его слова. "Интересная!" — слыхали?

Сержант берет нож.

Сержант (*Фенвику*). Что вы им делали, сэр? Это — наступательное оружие. В глазах закона. Владение наступательным оружием...

Фенвик. Наступательное оружие! Это просто кухонный нож.

Сержант. Верно. Но закон делает акцент на ноже, а не на кухне.

Фенвик. Как вы, черт возьми, разделаете курицу без наступательного оружия?

Сержант. Важно здесь — намерение, сэр.

Сосед (*его осенило*). Намерение? Вот именно, сержант. Похищение и надругательство. Над моей Моной.

Фенвик. Не сомневаюсь, что ваша жена достойнейшая женщина. Но я не имел удовольствия...

Сосед. Удовольствия? Вы слышали его, сержант? Будь ты полковник-располковник, но знай: удовольствие она хранит для мужа.

Фенвик. Сержант, давайте все-таки вернемся к фактам. Вы поймали негодяя...

Сосед. Двух негодяев — его и вон того (*показывает на Мастермана*). Сломали стену, угрожали меня зарезать — какие шансы у бедной Моны против этой парочки? От одного от этого у ней сделается истерика. У ней склонность к истерикам.

Фенвик. По запаху судя, она вполне счастлива, стряпая жаркое.

Х. Сержант, вы предъявите мне обвинение или не предъявите?

Сержант. Чипс, пора бы тебе усвоить, что обвинение может быть предъявлено только в участке.

Сосед (*Сержанту*). И полкана этого с дружком забирайте в участок. У вас же улики. Глаза у вас есть? Эта дыра в стене. Вы ее видите илй нет?

Сержант. Оттуда, где я стою, это стена мисс Хардвич.

Х (*нараспев, словно литанию*). Прошу вас заметить, что я выманивал деньги мошенническим путем, предъявлял фальшивый документ и желаю очиститься от содеянного в тихой тюремной камере, предпочтительно одиночной.

Сержант. Ага, вечерняя школа. Она тебя сделала другим человеком, Чипс. (*Полковнику.*) Дыра, сэр. Да, полагаю, она требует объяснения.

Фенвик. Я искал кровать. Я думал, этот человек (*показывает на Х*) мог спрятаться в кровати.

Сосед (*показывая на Мастермана*). А он? Он тебе помогал, нет разве? Кровать искал! Не знал, где он держит кровать, — видали? Ведь он частенько ей пользуется. Притом в самое непотребное время дня. Мона, когда моет после завтрака, кое-чего наслушалась.

Сержант. Наслушалась чего?

Сосед. Криков, от которых кровь стынет. Один раз постучала в дверь, думала — убийство, а услышала только хихиканье. Я вас спрашиваю. В десять часов утра, когда все порядочные люди на работе...

Сержант. Где кровать?

Мастерман (*неохотно*). В стене, но механизм заело.

Сосед. Я покажу, сержант. У нас самих такая же штука. (*Идет к той стене, где кровать.*)

Мастерман (*встав между ним и стеной*). В моей квартире вы трогать ничего не будете.

Сосед. Это не твоя квартира. Это квартира мисс Хардвич. Ты только жилец — и это еще вежливое название для того, кто ты есть.

Мастерман. Только мисс Хардвич имеет право...

Сержант. Не понимаю, при чем здесь кровать. Чипс здесь. Он ни в какой не в кровати. У нас обыкновенное мошенничество и подделка документов.

Сосед. Нет — попытка ограбления, разрушение моей стены и попытка изнасилования моей Моны.

Сержант. Но кровать здесь?..

Сосед. Это его алиби, так что ли? Полковника чертова алиби. Якобы кровать хотел найти... Да он не в той стене искал даже. Вот она в какой стене (*показывает*).

Сержант. Сэр, зачем вы ломали эту стену?

Фенвик. Глухой звук.

Сержант (*Мастерману*). Почему вы неправильно указали ему стену?

Мастерман. Я не хотел, чтобы он орудовал с кроватью мисс Хардвич.

Сержант. Однако, он у нее в квартире поорудовал.

Мастерман. Это — другое. Кровать женщины — это вроде святыни.

Сосед сердито фыркает.

Сосед. Святыня! Что ты делал в ней час назад? Молился?

Мастерман. Я? Что вы хотите сказать? Не был я ни в какой кровати.

Сосед. Да еще в такое непотребное время. Пол-одиннадцатого утра по моим часам. Жена морковь нарезала для жаркого. Чуть не порезалась, когда твоя девка завизжала. Похабство. Я хотел в дверь постучать, но Мона сказала: “Только хихиканье услышишь”.

Сержант. Так вы поэтому принимали ванну, а? Ну, закон не интересуется тем, что происходит приватно между соотношающимися взрослыми.

Сосед. По-вашему, это приватно? Когда они отрываются, как пара кошек, — и ты это на кухне должен слушать.

Сержант. Можете подать гражданский иск. На строителей. Это не уголовное дело.

Общее волнение.

Давайте уточним детали. (*Мастерману.*) Когда вошел этот человек, вы были в ванне. У вас мыло в глазах. Вы видели туфли, но не готовы утверждать, что это (*показывает*) они. Мисс Хардвич была еще здесь? (*Пауза.*) Она его видела?

Мастерман. Нет, она пошла в магазин. Я же сказал вам. В “Маркс и Спенсер”. Я хочу пойти ее найти. Она должна знать, что тут происходит. Это ее квартира. Она не могла уйти далеко.

Сержант. Я хочу, чтобы вы все оставались здесь. Мы можем подождать ее возвращения.

Х. Но я полностью признался. Вам больше ничего не нужно.

Сержант. Брось, Чипс. Ты же знаешь: сколько раз твой друг Рыжий признавался в полиции, а потом все отрицал в суде. Даже разодетый в пух и прах. Говорил, что наладился на костюмированный бал.

Сосед. Хотите знать мое мнение — никуда она не ушла, мисс Хардвич. Здесь прячется.

Сержант. Почему вы думаете, что она здесь?

Сосед. Я же сказал вам — нет? — я видел, как этот (*показывая на Х*) уходил. Когда пошел проверить, что там у Моны с жарким. Мы немного заспорили, и тут я слышу шаги. Я подумал, это мисс Хардвич идет в магазин, и хотел сказать ей пару ласковых. Визжит, как не знаю кто, в полодиннадцатого утра. Но это была не она. Это явился Полковник Задери-нос, а потом начался грохот и ругань. Да здесь она где-то. Ей показаться стыдно. Большая толстая женщина — и так себя не уважать. Втроем этим занялись, я подумал, а теперь еще Мону хотят. Извращенцы. В общем, мисс Хардвич теперь знает, что я о ней думаю. Где бы она ни пряталась.

Сержант. Где она прячется?

Сосед. В кухне, скорей всего. (*Сосед подходит к стене и приводит в действие дверь. Сержант и полковник заглядывают в кухню.*)

Сержант. Тут кошке не спрятаться.

Сосед. Посмотрим в ванне. (*Сосед вытягивает ванну из-под стола. Сержант заглядывает в нее, а Мастерман тем временем двигается к выходу.*)

Сержант (*Фенвику*). Минутку, сэр. (*Сержант сует руку в ванну и облизывает пальцы.*)

Сержант. Тут никого. (*Мастерману.*) Вы не принимали ванну. Вода не мыльная.

Сосед. Кругом собачье вранье.

Сержант. Эй, вы! Я сказал вам, останьтесь. (*Хватает Мастермана за руку.*)

Сосед. Попробуем кровать.

Мастерман. Ее там не может быть. Она бы задохнулась. Говорю вам — пошла в магазин.

Сосед. Черта с два задохнулась. Ты же знаешь, там *вентиляция*. (*Подходит к нужной стене и нажимает кнопку.*)

Со скрежетом выпадает кровать с телом мисс Хардвич. Оцепенение. Сержант, Полковник и Сосед подходят к кровати. Мастерман движется к Х.

Х. Ой-ой-ой. Какой ужас. Она задохнулась.

Сосед. Больше смахивает на убийство. Говорю же, кровати вентилируются.

Сержант. Предполагается убийство. Следов насилия нет.

Фенвик. Нет, есть, сержант. Посмотрите на шею. Я бы сказал, очень умелый удар карате. Я бы сам не сделал лучше... Тридцать лет назад.

Сержант снова осматривает тело, потом идет к телефону и набирает номер.

Сержант. Говорит сержант Рассел. Это ты, Боб? Скажи старшему инспектору... Срёт? Мне какое дело. У меня здесь убийство. Что значит "где"? Здесь. В этих новых омни-студиях на Белчем-плейс. Четвертый этаж. Средняя дверь. Пусть пришлют врача, санитарную карету, все дела. Постучи в дверь, дурак, постучи ему. Я знаю инспектора. Читает там "Гардиан", и всё. (*Кладет трубку.*) Никто ничего не слышал?

Сосед. Крик. Это было не хихиканье. Вот когда он ее уделал.

Мастерман. Не я, Сержант. Он (*показывает на Х*). *Он* ее жених. Не я. (*Вспомнив, что на нем парик, снимает его. И нахлобучивает на Х.*)

Фенвик. Стыдиться нечего, дружок. Четкий чистый удар. Она не мучилась.

Сержант в недоумении переводит взгляд с Х на Мастермана.

Сержант. По голосу — вроде Чипс

Мастерман. Я и есть Чипс. Сержант, я просто взялся за старое. Деньги под ложным предлогом. Поддельные документы. Ничего серьезного, сержант. *Он* ее жених — *он* убийца (*показывая на Х*).

Х. Вижу, вы в недоумении, сержант. Моя вина, исключительно. Думаю, пора в этом сознаться — я чуть-чуть солгал. Мое дурацкое чувство юмора. Вечно доставляет мне неприятности.

Сержант. У кое-кого серьезные неприятности.

Х. Да. Бедная Фелисити. Подумать только — все время лежала тут, пока я шутил с ее убийцей. Понимаете, утром мне надо было выйти раньше обычного. Фелисити крепко спала, а когда я вернулся, её уже не было. Был

он. Сказал, что она пошла в магазин. Сказал, что угостила его чаем и "Медовым хрустом" и обещала пять фунтов — явное вранье. Она была не из таких женщин. Проверьте отпечатки пальцев, сержант, — на чашке и на ложке. Убедитесь, что они не мои, а его. Потом он завел свою песню про несчастных детей, больных полиомиелитом, ну и я устроил ему маленький розыгрыш. Он меня хотел надуть, а я надул его. Заставил обменяться одеждой, сказал, что жертвую свою его организации, и даже чемоданчик его взял. Конечно, вернул бы ему со всем содержимым, но тут вы меня нашли. Я пил кофе, надеясь перехватить Фелисити на обратном пути. Хотел рассказать ей про мой маленький розыгрыш. Но подумать только: все это время она лежала здесь, убитая. Наверняка обнаружите его отпечатки на кровати и по всей комнате.

Фенвик. Большая неосторожность.

Сержант. Почему вы сразу не рассказали, когда я вас привел сюда?

Х. Мне жалко было этого несчастного жулика. Такой неумелый мошенник. Конечно, я рассказал бы все в участке, сержант. Но я хотел дать ему возможность скрыться. Если бы я знал, что он убил бедную Фелисити...

Мастерман. Все это — бесстыдная ложь. Не верьте ему, сержант. Вы же знаете, я никогда не прибегал к насилию. Это не в моем характере. Вы же меня знаете.

Сержант. Я все знаю. И про тебя такому не поверил бы. Но все когда-нибудь начинают. Может, тебя этому в вечерней школе научили.

Мастерман. Сержант, это он. Не я. Я сроду не ходил в вечернюю школу.

Сержант. Черт, я совсем запутался.

Фенвик. Сержант, я хочу вот что предложить. Совершено два преступления. Одно — убийство, другое намного хуже убийства. Когда определите, кто убийца, я берусь заплатить адвокату за его защиту.

Сосед направляется к двери.

Сержант. Куда вы?

Сосед. Хочу сказать Моне, что у соседей убийство. Она имеет право знать.

Сержант. Никто отсюда не уходит. Никто. Никто ничего не трогает. Когда доктор осмотрит покойную — время смерти, образец спермы, дактилоскописты попудрят

всё, до чего дотрагивались, фотографы сфотографируют труп, — тогда, может, что-то прояснится. Очень на это надеюсь, потому что сейчас — сплошная путаница.

Мастерман что-то бормочет под нос.

Что ты там говоришь, Чипс? Если ты Чипс.

Мастерман. Я просто с Рыжим говорил.

Сержант дико озирается.

Сержант. С Рыжим? С Рыжим? Где тут, к черту, Рыжий?

Мастерман. Он там, где теперь мисс Харрис.

Сержант. Харрис?

Х. Хардвич.

Звонит телефон. Подходит Х как хозяин дома и хочет взять трубку. Трубку берет Фенвик — передает Мастерману — Сержант выхватывает ее и передает Х.

Х. Алло?

Сержант. Оберните платком. Я же сказал: ни до чего не дотрагиваться.

Х. Нет, мадам. К сожалению, должен сообщить, что офисы Королевского общества защиты животных от жестокого обращения закрыты на неопределенный период времени. Общество обанкротилось.

Сержант устало садится за стол. Рассеянно берет чашку и рассматривает.

Х. Сержант, вы уничтожите отпечатки пальцев.

Сержант, очнувшись от задумчивости, роняет чашку, и она разбивается.

Сержант. Черт, черт, черт. Черт бы все побрал.

Полковник Фенвик смотрит на труп.

Х. Хотите получше разглядеть, полковник?

Фенвик. Полицейские врачи ничего не смыслят в карате. Для них синяк — это синяк, и всё. Я хочу, чтобы мои показания были точными. Нельзя свет включить? (*Находит кнопку.*) Ага!

В дверь опять звонят. Сержант на коленях собирает платком осколки чашки. Полковник нажимает кнопку, приняв ее за выключатель, — кровать прячется в стену.

Входит Инспектор, женщина с низким голосом.

Инспектор. Сержант! Вы что там делаете, черт возьми?
Сержант (*вскочив*). Тут небольшое происшествие.
Инспектор. Происшествие? Вы сказали, здесь убийство.
Сержант. Да, да, инспектор, здесь убийство.
Инспектор. Где кадавр?
Сержант. Кадавр?
Инспектор. Труп, сержант. Труп.
Сержант (*озираясь*). Ой, Господи. Он исчез.
Фенвик. Прошу прощения. Я думал, это выключатель.

Он снова и снова нажимает кнопку, но ничего не происходит. Сержант отчаянно пытается найти край кровати, чтобы опустить ее. Ему помогает Сосед.

X. Эти современные мини-студии очень скверно построены. Все время что-то заедает.

Мастерман медленно подходит к Инспектору и вглядывается в нее. Внезапно хватает ее и сшибает с нее фуражку. У Инспектора рыжие волосы.

Мастерман. Рыжик!
Инспектор. Чипс!
Мастерман. Я думал, ты умерла.
Инспектор. Что ты тут делаешь. Неужели опять за старое?
Мастерман. Без тебя, Рыжик, у меня ничего не получалось толком.
Инспектор. Но не убийство же, Чипс?
Мастерман. Конечно, не убийство. Сержант вот — он все перепутал, все понял шиворот-навыворот. Но ты, полицейский... То есть полицейская инспектор... Как это тебя угораздило?
Сержант. Ей-богу! Рыжая!
Инспектор. Это странная история, Чипс, которая делает честь столичной полиции, равно как и мне самой.

Сержант, Фенвик и Сосед собираются вокруг нее и слушают.

Мастерман. Ты по-прежнему затейливо выражаешься.
Инспектор. Да, наверное, мне это помогло. Я продвинулась по службе очень быстро. В Скотленд-Ярде говорят, что во мне сочетается мужской интеллект с женской интуицией. Расскажу тебе, с чего все началось. Я легла в больницу для маленькой операции. И познакомилась там с одной высокопоставленной сотрудницей уголов-

ного отдела. Она лежала на соседней койке, и у нас был один хирург и одна и та же операция — только у нее в другом, так сказать, направлении.

Мастерман. Ты не влюбилась в него... в нее?..

Инспектор. Незачем ревновать, Чипс. Это просто была дружба с первого взгляда, как бывает между женщинами. Понимаешь, был такой момент, перед ее операцией, когда мы были одного... и разошлись, как в море корабли.

Выпадает кровать; Х незаметно уходит.

Сержант. Рыжий... То есть, простите, сэр. Инспектор! Тело!

Инспектор. Давайте-ка без физиологии, Сержант.

Сержант. Тело, сэр. Здесь тело. Вы должны посмотреть.

Инспектор неохотно подходит к кровати.

Инспектор. До чего уродливая женщина. Неудивительно, что она плохо кончила.

Фенвик. Убита приемом карате, Инспектор.

Инспектор. Надеюсь, вы не заподозрили в этом Чипса?

Сержант. Похоже, это либо он, либо этот. (*Показывает туда, где он в последний раз видел Х. В панике, увидев, что Х исчез, убегает.*)

Инспектор. Сержант! (*Фенвику.*) Кто вы и что здесь делаете?

Фенвик. Полковник Фенвик. Вот моя карточка. Служил в группе дальней разведки пустыни. Сражались с Роммелем в Западной пустыне. Понимаете?

Инспектор. Так вы владеете карате?

Фенвик. Естественно.

Инспектор. Рукопашным боем.

Фенвик. Разумеется. Это была наша специальность.

Инспектор. А эта женщина — она погибла в рукопашном бою?

Пауза. Сосед поворачивается и слушает их.

Фенвик. Ваше предположение абсурдно, Инспектор. Я представляю отдел безопасности “Похода против детского полио”. Я пришел сюда в поисках мошенника, который выдает себя за нашего сотрудника и обманом выманивает деньги.

Инспектор. И нашли женщину на кровати. Не удивлюсь, если по всей кровати — отпечатки ваших пальцев.

Фенвик. Я осматривал труп, чтобы установить, как ее убили.

Инспектор. У вас, коммандос, страсть к кровопролитию.

Фенвик. Кровопролитию? Нет. Мы всегда предпочитали действовать бесшумно, руками.

Сосед. Не так уж бесшумно это было. Мы с Моной слышали крик.

Инспектор. И что вы сделали?

Сосед. Ничего. Я думал, они опять там занялись. Непотребством!

Инспектор. Как военный человек, полковник, полагаю, вы привычны к изнасилованиям.

Фенвик. Ничего подобного. Я даже не женат.

Сосед. Он хотел отрезать мне руку.

Фенвик. Он просунул руку в стену.

Сосед. Он ломал стену.

Фенвик. Я искал мошенника. Я думал, он прячется в стене.

Инспектор. Как можно спрятаться в стене?

Возвращается Сержант.

Сержант, доставьте полковника — если он полковник — в участок, и пусть возьмут у него показания. (*Фенвику.*) Вы не арестованы. Вы просто помогаете полиции в расследовании. Сержант, я буду ждать здесь доктора и остальную команду. Держите его в участке до моего возвращения.

Фенвик. На каких, позвольте, основаниях...

Инспектор. Основываясь на моем мужском уме и женской интуиции.

Фенвик. Трансвестит чертов.

Инспектор. Был когда-то. Но теперь, как видите, приняла окончательное решение и выбрала половую принадлежность. Сержант, уведите его.

Фенвик. Я пойду. Но это чудовищно. Позвоните в "Поход против детского полио". Справьтесь у миссис Фалькон-бридж. Наш патрон — принцесса Анна.

Уходит с Сержантом; за ними — Сосед с криками: "Убийца! Я так и знал. Я сразу понял. Убийца! Убийца!". Романтическая музыка.

Инспектор. Наконец-то, Чипс. После стольких лет мы одни. Не считая трупа, конечно.

Мастерман. Почему ты бросила меня, Рыжик?

Инспектор. Это подрывало твой моральный дух — просыпаться утром и не знать, буду я мужчиной или женщиной.

Мастерман. Рыжик, ты прелестно выглядишь. Эта синяя форма так и идет к твоим глазам и волосам.

Инспектор. Я рада, что еще нравлюсь тебе. (*Поправляет прическу и ищет взглядом зеркало.*) Вся растрепалась, а в квартире даже зеркала нет. Как можно жить без зеркала?

Мастерман. Эта женщина была дико уродлива.

Инспектор. Все равно — мужчина для нее нашелся, причем полковник, если он правду говорит.

Мастерман. Ты любого мужчину могла бы получить, какого захотела.

Инспектор. *Любого* мне не надо.

Мастерман. Рыжик, а что, если нам с тобой...

Инспектор. Да?

Мастерман. Я говорю, раз ты теперь решила быть женщиной...

Звонит звонок. Романтическая музыка смолкает. Инспектор берет со стола фуражку.

Мастерман. Рыжик, не открывай.

Инспектор. Обязана. Это доктор.

Открывает дверь. На пороге стоит Незнакомец. Робкий мужчина в очках.

Инспектор. А вы еще кто такой?

Незнакомец. Мисс Хардвич?

Инспектор. Разумеется, я не мисс Хардвич.

Незнакомец. Она дома?

Инспектор. Смотря что понимать под этим словом.

Незнакомец. Можно с ней поговорить?

Инспектор. Кто вы?

Незнакомец. Я помощник Почетного секретаря местного отделения Королевского общества по защите животных от жестокого обращения.

Инспектор. Зачем вам нужна мисс Хардвич?

Незнакомец. Она секретарь нашего отделения. Мы звонили ей и получали очень странные ответы. Мне правда надо с ней поговорить.

Инспектор. О чем?

Незнакомец. Нам сообщили о мертвой болонке. Суке. Убита при неизвестных и, по-видимому, ужасных обстоятельствах.

Инспектор. Заходите. Заходите.

Он нерешительно входит, хочет подать руку Мастерману, но опускает ее.

Инспектор (*указывая на кровать*). Вот, насколько мне известно, единственная здесь мертвая сука.

Незнакомец (*Мастерману*). Здравствуйте.

Мастерман (*Инспектору*). Рыжик?!

Инспектор. Да, Чипс, да. (*Целует его.*) Да, да, да. (*Снова целует его и срывает с себя фуражку.*) Долой проклятую форму. Идем, Чипс.

Уходят, захлопывают за собой дверь, и в это время Незнакомец подходит к кровати.

Незнакомец. Это не болонка.

Снова звонит звонок. Он поворачивается с убитым видом. Дверь захлопнута, и он наедине с трупом.

Занавес

Ана Бландиана
Лжетрактат о манипуляции

Фрагменты книги

Перевод с румынского Анастасии Старостиной

Биография навязчивой идеи

Эта книга — не мемуары, даже если иногда она оставляет такое впечатление. Это попытка не рассказать свою жизнь, а понять ее. Поэтому описываемое расположено не в хронологическом порядке, но следует логике аргументации и связано между собой по ассоциации мотивов и по сплетению навязчивых идей. Через селекцию (которая не могла не быть тенденциозной) навязчивые идеи свелись, в сущности, к одной, и формулируется она так: насколько то, что я пережила, есть акт моей воли и насколько оно обязано влияниям, давлению, которые оказывались на меня, и манипуляциям со мной? Даже когда я делала что-то как бы по собственному убеждению...

Я никогда не записывала ничего, кроме идей; факты казались мне всегда неважными, а мое собственное становление достойно интереса только как функция тех страниц, записав которые, я смогла спасти их от небытия. Итак, то, что я пытаюсь сделать сейчас, не есть описание какой-то известной истории, но исследование неких происшествий с точки зрения мучающего меня вопроса, с которого я начала и который, подобно магниту, гуляя по россыпи железных опилок, упорядочивая их, придавая им форму, структуру и смысл, может изменить не только перспективу, но и содержание рассказа. Конечно, предмет исследования — это я сама, но тут мне кажется важным не только рассмотрение моего *казуса*, а куда важнее, чем примеры, чем ответы на вопрос, кто кем и

© Ana Blandiana, 2013
© Анастасия Старостина. Перевод, 2016
Редакция выражает благодарность Ане Бландиане за любезное разрешение безвозмездной публикации фрагментов ее книги “Лжетрактат о манипуляции”.

как манипулирует, та истина, что в центре всех сил, вещей, фактов, происшествий, персонажей, подобно черному солнцу, распорядителю миров, которые оно вынимает из хаоса, чтобы подчинить себе, – само желание манипулировать. И это не изобретение новой истории. Известно, что индийский царь Ашока (273 г. до н. э.) учредил секретное общество из девяти мудрецов, которые обладали всей мудростью мира, и каждый отвечал за одну из областей знания. Первенствовали техники пропаганды и манипуляции массами – всемогущая наука, с помощью которой, овладев умами толпы, можно было править миром...

Одно происшествие

Записка Генеральной дирекции прессы относительно запрета моей второй книги, "Уязвимая пята", – записка, опубликованная Марином Раду Мокану в 2002 году в сборнике документов о цензуре, так и озаглавленном "Коммунистическая цензура", – в свое время была известна мне только по ее последствиям, что естественно, поскольку речь идет о секретном документе, и, признаюсь, своим злопыхательством она не привлекла бы моего особенного внимания. "...Цензор пишет, что сборник 'Уязвимая пята' Аны Бландианы *не может быть одобрен к печати.* Записка датирована 10 мая 1966-го. Сборник Аны Бландианы, тем не менее, вышел в том же 1966 году..." Последняя фраза заставила меня вспомнить, среди бесчисленных эпизодов, драматических или просто досадных, касающихся отношений моих текстов с цензурой, именно этот.

Я год с лишним как подала сборник в издательство ("Эдитура пентру литературэ"), то же, что опубликовало в 1964 году мой первый сборник в коллекции *Лучафэр* (в которой дебютировали Никита Стэнеску, Чезар Балтаг, Илие Константин). Рукопись прошла стадию разнообразных обсуждений, которых сейчас уже не помню, помню только, как упорствовала, чтобы ничего не меняли, и страх, как бы не повторилась ситуация с первым сборником, который в печатном виде стал – не только из-за вычеркиваний, но и из-за добавлений – очень мало похож на то, чем был изначально, и вот уж которым, несмотря на хороший прием у критиков, я отнюдь не гордилась. Таково было положение дел, когда из Клужа, где я жила, меня вызвали к директору издательства, что ничего хорошего не предвещало. И в самом деле, когда после ночи в поезде я добралась до бульвара Аны Ипатеску и директор издательства Ион Бэнуцэ принял меня благосклонно, даже предупредительно, как будто

я была чем-то больна и не знала об этом, он сказал мне, что рад со мной познакомиться, потому что всегда рад знакомству с талантливой молодежью, к которой я несомненно принадлежу, и что не надо терять мужество и бросать писать, даже если этой книге не суждено выйти в свет. “Почему?” — удалось мне выдавить из себя, при столь скором переходе от похвал, которых я не ждала, к катастрофе, тотальность которой не предвидела. А он объяснил мне с очевидным сожалением, почти по-отечески, что мой сборник слишком безрадостен и лишен оптимизма и не может поэтому быть напечатан в той форме, в какой представлен. Говоря, он заглядывал в бумагу, которая должна была быть той самой *Запиской* дирекции прессы, обнародованной много лет спустя, и он читал по ней криминальные заголовки с пояснительными аргументами. Сейчас, когда я читаю ее сама, меня потрясает, даже без финального приговора, видимость литературной рецензии, приданная документу. “В нескольких стихотворениях сборника эти чувства и идеи превращаются в настоящий крик протеста. Страстный протест поэтессы против конформизма и компромиссов большинства, против тех, кто молчит, все принимает и кому, вопреки их довольному виду, страшно, сопровождается чувством раненой гордости, беспомощности, боли”, — говорится, например, в одном месте, и, хотя неподписанный, обвинительный текст сочинен профессионалом, однако же профессионалом, который приводит аргументы наизнанку. Фразы, которые директор издательства, несколько конфузясь, зачитывал тогда мне, только погружали меня в замешательство, поскольку я не понимала, идет ли речь о продолжении похвал или об аргументах для отклонения рукописи. В конце концов, протянув мне папку со стихами, Ион Бэнуцэ сказал, что семь из них (и показал пометки в содержании) не могут быть опубликованы ни под каким соусом, а остальные можно спасти объяснительным предисловием, оправдывающим их пессимизм. Это был явный знак благорасположения, и только от меня зависело, искромсаю ли я свою книгу или сочту, что ей не быть.

Я вышла в помпезный холл с деревянными панелями на стенах и села на банкетку в углу, держа папку на коленях. До поезда в Клуж было еще очень много времени, я тут никого не знала и просто терялась, что мне делать. Стала перелистывать страницы, испещренные замечаниями, отчасти стертыми, — следы каких-то давних разборок. Отвергнутые стихи (7 из 23) были самые лучшие в книге. По-моему, я заплакала.

— Что ты тут делаешь, девочка? Что случилось? Почему ты плачешь? Как тебя зовут?

Эти вопросы задавала мне молодая блондинка одновременно доверительным и авторитарным тоном. Я ответила, еще не зная, кто она такая. Она была редактором в отделе прозы, и звали ее Джорджета Димисяну. Она взяла у меня папку и открыла на содержании. Криминальные заголовки были отмечены крестиком.

— Посмотрим, что можно сделать, — сказала она как-то безлично и, не спрашивая меня, вычеркнула их решительной чертой.

— Нет! — попыталась я остановить ее. — Я не хочу от них отказываться!

— А кто тебя заставляет отказываться?

И она спокойно, почти дидактично объяснила мне, что мы передвинем эти стихи в другие места содержания, сильно исчерканного исправлениями. Никто не будет больше вникать, все будут проверять только, были ли вырезаны отвергнутые. Кому придет в голову, что мы посмеем сделать что-нибудь такое? Одно из стихотворений, “Героическая поэма” (которое начиналось строфой “Все собаки в стране были надежные. / Они кусали только врагов своих хозяев. / Они носили свою цепь элегантно, как ожерелье. / Их владельцы постоянно обсуждали, какую цепь они будут носить на будущий год”), все же было отложено в сторонку, чтобы не слишком уж искушать судьбу.

После чего она усадила меня перенумеровывать по новым поправкам всю рукопись, объясняя, какое это везение, что меня вызвал сам директор: он человек порядочный и к тому же бывший рабочий из гривицких вагоноремонтных мастерских, так что ему нечего бояться, его никто не подозревает и не проверяет. Если бы со мной разговаривал чин пониже и с тараканами в голове, было бы сложнее.

Я нумеровала страницы, не веря, что все это происходит на самом деле. Не могло все быть так просто — надо лишь иметь смелость рискнуть и, главное, не воображать, что кто-то непогрешим. Когда я закончила, Джета Димисяну взяла меня за руку и снова отвела к Иону Бэнуцэ.

— Сидит в холле и плачет, — весело сказала она ему, как будто меня там не было, и они говорили только между собой, как взрослые. — Я ее убедила принять сокращения, а через два дня она пришлет нам и предисловие.

После чего они заговорили о его последней книге стихов. Все казалось улаженным, и все было один сплошной абсурд.

“Я думаю, единственное определение поэзии, которое меня не оскорбило, которое не переодевало меня в вульгарного клоуна или в Коломбину, которое успокоило меня, примирив

с собой, была фраза Карла Сэндберга ‘Поэзия – это дневник морского животного, которое живет на суше и хотело бы летать’. Я восприняла эти слова как утешительную формулировку фатальности, как акт признательности своей судьбе, подписанный поэтом”, – так начиналось *Предисловие*, которое я послала в редакцию через два дня и которое, благодаря доброжелательности техреда, госпожи Танцы Вулкэнеску, было поставлено на клапаны обложки, чтобы оно не выглядело совсем уж ненормальным. И – невероятно, но факт – книга вышла, и никто ничего не заметил. (Сейчас, когда я постфактум узнала лучше механизмы цензуры, происшествие кажется мне еще более невероятным, чем тогда. Единственное логическое объяснение – в той мере, в какой у абсурда может быть логика, – это что надежность политической позиции директора издательства важнее правил. Что еще раз доказывает, до какой степени репрессивная система, какой бы организованной и непогрешимой она ни казалась, была глубоко субъективной, а значит, уязвимой.)

Однако, сочтя, вероятно, что переусердствовало, везенье решило дать к этому происшествию постскриптум. Среди рецензий оказалась одна, в “Газета литерарэ”, подписанная Корнелем Регманом, – неожиданная честь для такой начинающей, как я. А в этой рецензии К. Регман цитировал строфы из тех нескольких вычеркнутых стихов, а один стих даже дал целиком. Я так и не узнала, обнаружил ли это кто-то из дирекции прессы и поставил на вид Иону Бэнуцэ или он сам случайно прочел рецензию? Склоняюсь ко второму. Меня снова вызвали к нему. Какое-то время, которое показалось мне бесконечным, он смотрел на меня с грустью, ничего не говоря. Потом поднялся тяжело, по-стариковски, подошел, как будто хотел сказать что-то по секрету, и в самом деле сказал, в некотором роде конфиденциально, понизив голос до шепота: “Я тебе доверял, а ты меня так подвела...” Но в его тоне не было обиды, а только все превосходящая грусть.

– Простите, пожалуйста, – произнесла я в смятенье, уставясь глазами в пол. – Мне очень жаль. – И добавила: – Благодарю вас за книгу.

А он ответил:

– Вот уж о чем жалеть не надо.

Парадоксальным образом заключение у этого воспоминания с хеппи-эндом неоптимистично. То, что сделали для меня тогда Джета Димисяну и Ион Бэнуцэ, доказывает, что и тогда при смелости и кураже можно было что-то сделать. И хотя вся эта история выглядит какой-то невероятной и абсурдной, она свидетельствует о том, что иногда происходили

такие происшествия, которые в гораздо большей степени, чем я думала, зависели от личности человека.

Из моего рассказа не следует, что цензура была не такой уж зловещей, а только то, что каждая книга имела свою судьбу, и непредсказуемости в ней соседствовали с риском. И нередко Господь Бог вмешивался, когда казалось, что надеяться не на что. Современная румынская литература не есть "продукт цензуры", как категорично утверждал кто-то, но скорее результат сопротивления цензуре.

Мне хотелось бы вернуться из этого погружения в то время к сцене, произошедшей много позже, в 1985-м или 1986 году, в одном продуктовом магазине. Это был последний раз, что я видела Иона Бэнуцэ. Была зима, острый недостаток продуктов, период карточек на постное масло, на сахар и бесконечные очереди "без локомотива", то есть люди просто выстраивались и ждали, не представляя, когда и что выбросят в продажу. Продуктовые магазины превратились в алтари голода и унижений, с обязательным ежедневным их посещением. Один магазин по улице Брезояну, на задах блочного дома на Дворцовой площади, был попросторнее, чем другие, и прославился длиной и переплетением очередей, которые, сформировавшись в разных отделах, скрещивались, переплетались, перемешивались, что порождало во всеобщей толчее, сутолоке и напряженности частые скандалы и даже драки. Войдя, я почувствовала, однако, что происходит что-то необыкновенное. Толпа замерла, ее больше не сотрясали волны, образуемые напором тех, кто хотел двигаться поживее, и в невероятной тишине, овладевшей залом, битком набитом людьми, слышался всего один голос. Сначала я не поняла, *что* он говорит и кто это говорит из сотен тесно стоявших людей. Я попробовала протиснуться к тому месту, откуда доносился голос, и, к моему удивлению, мне дали пройти, как будто люди испытали облегчение, что кто-то еще разделит с ними *ответственность по слушанию.*

— Я должен просить прощенья у вас всех, — кричал голос, который теперь я слышала ясно, — за то, что мы живем, как живем, за то, что толчемся здесь, как сельди в бочке, и надеемся, что нам бросят кусок мяса или сыра. Я должен просить прощенья у вас, так как я был среди тех, кто должен нести ответственность за то, что происходит сегодня. Я боролся за то — до чего мы сейчас дошли. Я был коммунистом, подпольщиком. Я и такие, как я, виноваты, что мы принесли коммунизм.

Очевидным образом слушателей все больше и больше пугало то, что они слышали, и в каждом из них происходила

борьба, которая могла бы быть комичной, если бы не вызывала брезгливости, — либо слушать, что было боязно, либо уйти, что означало потерять место в очереди. Я продолжала пробираться вперед и скоро добралась до места, где люди раздвинулись, отшатнувшись от человека, который кричал. Это был Ион Бэнуцэ. Не похоже было, что у него нервный срыв, — только сильное раздражение. Я не видела его много лет (в 1969-м его перевели в дисциплинарном порядке в журнал для крестьянства), — он выглядел гораздо старше, чем я его помнила. Судя по всему, он меня не узнал, поэтому я подошла, сказала, как меня зовут, и взяла его под руку — проводить к выходу. Перед нами образовалось что-то вроде коридора, по краям которого люди смотрели на нас с облегчением, радуясь, что можно вернуться к прерванным заботам об очереди. На улице было скользко, сыро и холодно. Я спросила, не проводить ли мне его до дому, и он ответил, что живет совсем рядом. Прежде чем расстаться, мне захотелось поблагодарить его за книгу, выходом которой два десятилетия назад я была обязана ему. Он улыбнулся, явно ничего не припомнив. Это происшествие, совершенно очевидно, не было в его жизни чем-то уникальным.

Чужбина

Один из вопросов, который мне чаще всего задавали на протяжении многих лет как до, так и после 89-го: почему я не осталась за границей, когда вполне могла это сделать, почему не эмигрировала, а неизменно возвращалась вопреки всему, что происходило в Румынии, и всему, что происходило со мной. Те, кто об этом спрашивал меня за границей, были люди, которым удалось уехать, заплатив годами унизительных усилий, отчаянных попыток, а иногда и тюрьмой, за одержимость жить в свободе. Да и в самой стране были люди, которые все отдали бы, чтобы уехать, но им не хватало храбрости или у них не было случая рискнуть. Как бы ни отличались они друг от друга, ни тем ни другим было не понять, что мне просто-напросто не приходило в голову, что я могу навсегда уйти из дома. Мне никогда не доставляло удовольствия отвечать на этот вопрос, потому что в ответе было бы слишком много нюансировки, слишком много личного и даже чересчур патетики, чтобы его по-настоящему поняли. К тому же он мог бы быть оскорбительным для тех, кто его выслушивал, поскольку их жизнь преступила законы, которые определяли мою жизнь.

Вначале, помню, я отвечала кратко: “У меня никогда не было этой проблемы”. Потом, со временем, вопросы принудили меня эту проблему обдумать, побуждая найти ответы для себя самой. Сейчас, когда я пытаюсь изложить их, — в некотором роде систематически, в порядке важности, — я снова вижу, что их не так-то легко было произнести.

Думаю, что первый и самый очевидный из них, это то, что такой меня сотворил Господь, что, подобно растениям, есть люди, для которых глубина корней определяет все, и есть другие, которые могут жить без корней. Я родилась в первой категории. Как ни слабы были мои логические аргументы, я твердо знала, я была убеждена, что, если — по обстоятельствам, не зависящим от моей воли, — я была бы вынуждена уехать окончательно, без права когда-либо вернуться, я бы не смогла этого пережить. Просто-напросто умерла бы. Даже и теперь, много лет спустя, мне неловко признаваться в этом убеждении не потому, что я не столь уже уверена в его истинности, сколько потому, что эта истинность кажется неудобной и неуместной, не вяжется с обычными мерками — как сегодня, так и тогда. Впрочем, то, что сначала было только ощущением, нашло, когда я узнала атмосферу эмиграции, логические аргументы и точки опоры. Я абсолютно уверена, что не осталась бы в живых. Второй мотив был не столь личный и не столь трудно объяснимый, как первый, но почти такой же категоричный. Мне казалось, что, уехав, я легитимизирую Чаушеску, оставлю страну ему, тому, кто тем самым докажет, что он более представительный для румынского народа, чем я, та, которая страну бросает. Вот этого я допустить не могла. Я отдаю себе отчет, отдавала и тогда, что эта казуистика в большой мере была абсурдной. Тому доказательство — что я не осмелилась никогда ни с кем ею поделиться, хотя чувствовала ее правильность. Народ целиком никогда не уходит из дома, какой бы большой ни была беда. Те, кто уходит, спасаются, кто как может, молчаливо отмежевываясь от тех, кто остается, уже одним своим решением отказываются разделить с ними судьбу. То, что Чаушеску превратил любовь к родине в позорное и корыстное циркачество, для меня не стало достаточным основанием не любить свою страну, но достаточным — чтобы не позволять себе говорить об этом. В моих ответах на навязчивый вопрос всегда присутствовала неразрывная связь со всем, что я должна была бы оставить дома, и я обходилась молчанием, как будто это было стыдно — любить ту же страну, которую, как он утверждал, любит Чаушеску.

Третьим мотивом, выходящим за пределы каких бы то ни было сомнений, и тоже невысказанным, было опасение, что,

уехав из дома, я не смогу писать. Это было только предчувствие, основанное на том, что в те короткие периоды, когда я уезжала из страны, я не писала ничего, кроме дневников. Предчувствие, возможно, и абсурдное, содержало зерно страха, от которого я не могла отделаться. Только после 89-го, когда я путешествовала много и написала много как раз за границей, я поняла, что этот страх был связан не с тем, что я какое-то время буду не дома, а с невозможностью когда-либо вернуться домой. То, что я не смогла бы вернуться, способствовало бы литературной стерильности, в этом я и сейчас уверена. Невозможность вернуться — настоящая причина моего неотъезда из дома — была, очевидным образом, и ядром трагедии, которую, так или иначе, переживал каждый уехавший. Этим, впрочем, объясняется и то сочувствие, которое одолевало меня всегда к живущим в эмиграции, независимо от того, каким они пользовались успехом или насколько адаптировались к своей новой родине. Я сочувствовала им, по меньшей мере, так, как сочувствовали мне они, и не раз у меня сердце разрывалось при расставании, может быть, думала я, больше не удастся увидеться: им было жаль меня из-за того, что я возвращаюсь, мне было жаль их из-за того, что они этого сделать не могут.

Удивительным образом Эмиль Чоран первым из румын на чужбине пробудил во мне жалость.

В 1967 году нас — Штефана Бэнулеску, Марина Сореску и меня — пригласили на международный литературный коллоквиум в Париж. Это приглашение, наряду с подпиской на “Express” и “Nouvel Observateur”, которые возникли из небытия, стало одним из почти чудотворных знаков открытости, в которую мы едва смели поверить и которой суждено было продолжаться не более пяти-шести лет. Прибывшие в Париж, как с другой планеты, мы обнаружили, что на мероприятие, в котором мы участвовали, были приглашены, кроме писателей из разных стран Европы, и писатели-эмигранты из тех же стран. Тогда-то я и встретила впервые во плоти людей, которые до тех пор были для меня только боготворимыми, уважаемыми, волнующими именами, сочинениями и голосами. Тогда-то я узнала всех, кто имел вес в румынской эмиграции Парижа, и то, что кажется мне сейчас довольно-таки странным, тогда произошло без всякой преднамеренности — мы по-братски упали друг другу в объятия чуть не плача, не как при первой встрече, но как после долгой разлуки. Но поскольку “живые классики” не участвовали в коллоквиуме, Штефан Бэнулеску, по-моему, попросил Монику Ловинеску поговорить с Эженом Ионеско, чтобы он нас принял. А Эжен Ионеско при нас попросил о том же Эмиля Чорана. “Не примешь

ли трех писателей, из наших", — помню, сказал он, и нас удивило, что они говорят по-румынски, на языке, которым, как мы слышали, Чоран пользоваться отказался. И еще я помню, что анонимность, которая могла бы нас раздосадовать, утонула и растворилась в свете волнующей формулы "из наших".

Мы поднялись на шестой этаж в знаменитую мансарду на рю Одеон, не удивившись (удивлению суждено было прийти с годами, когда я думала о возрасте того, кто поднимался туда по нескольку раз на дню), и оказались в комнате, чью строгость я почти не заметила, привлеченная роскошью вида на крыши Парижа, которые простирались под окном. Потом по комнате проплыло много ангелов, с трудом шевеля веслами. И тогда, чтобы нарушить молчание и сгладить неловкость, Штефан Бэнулеску сказал, улыбаясь и указывая на меня, как на спасительное решение:

— А знаете, она тоже, как и вы, арделянка.

— Арделянка? — Чоран в первый раз взглянул на меня с вниманием. — Откуда?

Я сказала, что родилась в Тимишоаре, выросла в Ораде и сейчас учусь в Клуже, в университете.

— А в Сибиу ты была когда-нибудь? — спросил он с таким видом, как будто подвергал меня экзамену, который я наверняка не выдержу.

— Была на прошлой неделе, — ответила я.

— Ты была на прошлой неделе в Сибиу? — повторил Чоран, вдруг повысив голос, поднимаясь со стула и подходя ко мне, как будто хотел меня потрогать. Совершенно очевидно, что мой ответ нажал на таинственную клавишу, которая запустила в ход скрытые механизмы. Покрутившись вокруг стула, на котором я сидела, конфузясь и чуть ли не в испуге, он начал бомбардировать меня вопросами о разных улицах и разных зданиях в Сибиу, вопросами, на которые я не всегда знала ответы, а не услышав ответ, он повторял упорно, почти в упоении, как стихотворение или констатацию некоего чуда: "Ты была на прошлой неделе в Сибиу...". Было что-то тревожное в том волнении, с каким Сибиу взорвался в нем, привел в почти невротическую ажитацию. В какой-то момент он спросил, знаю ли я, что такое "Римский император".

— Ресторан и отель, — бойко ответила я, как будто вытянула билет по теме, которую знала. — Я пила там кофе с коллегами из Сибиу.

— Она была в "Римском императоре", — обратился Чоран к остальным, указывая на меня, как на музейный экспонат, и с таким видом, как будто он переводил то, что я говорила. — Она пила там кофе с коллегами из Сибиу.

И он принялся расспрашивать меня, какие там стулья, столы, обои на стенах. Он приводил детали, которые я должна была подтвердить или не подтвердить. И ходил взад и вперед по комнате, повторяя, как в трансе: “Она была на прошлой неделе в Сибиу, она пила кофе в ‘Римском императоре’”. Я ощущала растущую неловкость, став ни с того ни с сего главным героем, и, пока мы, все трое, несколько озадаченно следили за ним взглядом, я вспомнила, что надо было бы говорить по-французски. Это совершенно вылетело у меня из головы. Пока вдруг что-то не щелкнуло в моем мозгу. Потом, помню, я подумала, что, если бы я была не в Сибиу, а в Рэшинари[1]? Так или иначе, ни до ни после, мне никогда не случалось присутствовать при таком бурном взрыве ностальгии, при таком разрывающем душу всплеске драмы невозможного возвращения. Я ощущала себя чуть ли не виноватой в том, что мне так повезло и я могу ездить в Сибиу, сколько хочу, и каждый раз, как я бывала там после, я старалась посмотреть на город глазами того, кто грезил им, зная, что не увидит его никогда иначе как сквозь экзальтированные очки этой ностальгии, от которой он, сочиняя, защищался, выворачивая ее наизнанку, в ожесточении облачая в кощунство.

Все, что я читала потом из Эмиля Чорана, все упоминания о румынах, часто оскорбительные, были отмечены нестерпимо яркой аурой этого случая и в ее болезненном свете приобретали другие смыслы, часто опрокинутые вверх дном. Как будто бы злая фея — как это бывает в сказках — явилась при его рождении, и, после того как Чоран получил все дары, он получил и наказание ненавидеть все, что он любит, и отрекаться ото всего, с чем безнадежно связан. Любовь, поставленная с ног на голову, — как колонны, капителью книзу поставленные в основание храмов Эхнатона, — мучила его всю жизнь и отметила темным, завораживающим блистанием все его творчество. Когда он выражал восхищение, безмерное благодаря его таланту, нашими коллегами с Запада, он прекрасно понимал, что вызовет этим горечь у соотечественников-арделян; точно так же, когда упоминал о Румынии, он всегда писал “там на Балканах”, хотя, конечно, знал не только то, что наши горы называются Карпаты и что Балканы расположены к югу от Дуная, но и что балканизм для его соотечественников есть понятие негативное. Это было как перекрутка любви в неприязнь с тем, чтобы отомстить за зависимость, которую любовь на него налагала и от которой он

1. Родное село Чорана. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

не мог освободиться, что бы ни делал. И это не только по отношению к этнической матрице, к корням, которые он не мог у себя вырвать, но и по отношению к Богу, которому не мог простить его неоспоримого присутствия. И, главное, не мог простить, что Бог отказал ему в способности чувствовать в себе Бога, что приговорил в одно и то же время к желанию достичь Его и к невозможности преодолеть дистанцию.

Один немецкий профессор, поклонник и переводчик нескольких его книг, с которым он вел интенсивную переписку по проблемам стиля, возникающим на границе двух языков, спросил его раз, что он, в сущности, имеет против апостола Павла, который очевидным образом есть гений. А Эмиль Чоран с его странным, обворожительным юмором, и играя, как обычно, на фривольности, увернулся: "Трудно быть поповским сыном". Помню потрясение, испытанное мной, когда я прочла этот ответ, чуть ли не впервые открывая, как Чоран – с некоторой небрежностью, возможно, тоже нарочитой, – выставлял напоказ раны, которые раньше с ожесточением старался скрыть. Как будто он пытался манипулировать не другими, а прежде всего самим собой, как будто он сам себя подверг унижению, предназначаемому наказать гордыню.

Меня, как дочь священника, шутка Чорана пленила не только тем, как он уклонился от вопроса насчет причин его ожесточения против апостола Павла. Мне показалось, что я давно нашла ответ на вопрос, который сама мысленно поставила на полях его книг. При всем видимом упрощенчестве, мое предположение было такое: ожесточение представляло собой форму зависти к другому мыслителю, которому, несмотря на его интеллектуальность, не было отказано в вере. Что поразило меня в его ответе, так это свидетельство – возможно, невольное, – что его религиозные корни, как и корни этнические, затрудняли ему жизнь и ограничивали свободу, и это раздражало его не только потому, что ограничения унижали, но и потóму, что он чувствовал еще большее унижение от своей собственной неспособности *отграничиться* от них. Сколько бы ни отказывался он говорить по-румынски, сколько бы ни сближались с кощунством его блестящие антихристианские диатрибы, он знал, что речь идет только о попытке манипулировать истиной, которую он знал и от которой, он тоже знал, ему было не отделаться, как бы он ни старался. *Пригорок Боаки*[1] при всей самоироничности тона,

1. Название холма, эпоним Рэшинари, малой родины Чорана, по простонародному женскому имени Боака.

каким он произносил это прозвание, вызывал при каждом воспоминании болезненную ностальгическую дрожь, а в блистательности выпадов против апостола Павла из-под рьяного упрямства проглядывало сомнение.

Естественным образом напрашивался вопрос: а то, что я была дочерью моего отца, это когда-нибудь меня угнетало, чувствовала ли я себя когда-нибудь скованной тем, как моя судьба обусловлена дефиницией моего отца? Однако еще не закончив формулировать этот зеркальный вопрос, который был продиктован не недостатком скромности, но, напротив, тревожным смирением, я поняла, что параллель здесь абсурдна, просто-напросто из-за того, что мой отроческий бунт, который нормальным образом должен был обернуться против родителей (как это обычно бывает), в условиях, когда мне ставили в укор мое социальное происхождение (со всеми его религиозными, политическими, философскими коннотациями), перешел в солидарность с ними, с теми, кто страдал и из-за кого страдала я.

Тот факт, что отец сидел в тюрьме, будоражил во мне воспоминания, как он отправлял службу перед царскими вратами. А если бы мне не мешали поступить в университет из-за того, что я была его дочерью, усилив тем самым связь между нами, я, может быть, думала, что крепость семейных уз стесняет меня в моих поступках или что их традиционная банальность не позволяет мне быть самой собой. Дух отроческого противоречия сработал тут в обратном направлении, и я не сомневаюсь, что как атеистическая пропаганда, так и то, что отца уже не было в доме и он не мог передать мне свои убеждения, способствовали, как ни парадоксально, укреплению моей веры в Бога.

Но это в скобках, я отвожу вопрос, который здесь был бы неуместен. Чего нельзя сказать об обоснованности моего сравнения. Как бы я реагировала и как сопротивлялась бы с вырванными корнями и без самой хлипкой надежды снова увидеть единственное место, где могла бы опять прижиться? Может быть, я отрицала, что это место еще где-то существует, и осыпала его оскорблениями, запрещая себе видеть его и во сне, как оно запрещено мне наяву? Но помимо всех этих вопросов, умозаключений и объяснений и даже помимо гениальной красоты страниц (с их болезненной подоплекой), подписанных Эмилем Чораном, в моей памяти остается невероятной интенсивности сцена, которую я пережила в мансарде на рю Одеон, испуганная и неистовством его вырвавшихся из-под спуда воспоминаний, и своим душераздирающим сочувствием.

Встреча с Мирчей Элиаде, семь лет спустя, хотя и совсем другая, оставила по себе то же мучительное чувство.

Мы были стипендиаты в университете Айовы, где много лет действовала международная писательская программа, в которой участвовала и Румыния. Каждый год приглашались два назначенных американцами писателя, по преимуществу семейные пары. До нас там побывали Александру Ивасюк и Тита Кипер, Чезар Балтаг и Иоана Банташ, Констанца Бузя и Адриан Пэунеску, Янош Сас и Ханнелоре Лацина, Штефан Бэнулеску и Михаэла Гуга, Марин Сореску с женой. В том, 1974 году, пригласили нас вдвоем и Петру Попеску, но после того, как уладились все визовые формальности, после того, как мы съездили к нашим мамам в Орадя и Альба Юлию, чтобы попрощаться, с тяжелым сердцем, на девять месяцев, все застопорилось. Вышло постановление, запрещающее заграничные стипендии для румын, если только выбор кандидатов не был сделан румынскими властями. А мы были выбраны американцами. Парадоксально, но первой реакцией стало облегчение. Все треволнения, связанные с отъездом на другой континент, почти на другую планету, с билетом, где была беспощадно проставлена дата возвращения — через три четверти года, — вдруг исчезли. Потом, когда Петру Попеску все же уехал, получив только для себя послабление к новому правилу, нас обуяло возмущение — до чего же была знакома эта тень невидимой железной решетки, тень, падающая к тому же избирательно. К счастью, в отличие от нас, прекрасно понимающих, в чем дело, американцы ничего не понимали и не принимали логику, в соответствии с которой один из приглашенных прибыл, а двое других — нет. И говорили об этом, не унимаясь, требовали объяснений и настаивали. В конце концов, мы тоже отбыли и оказались в Айова-Сити с четырехмесячным почти опозданием, в канун Рождества. Одной из первых наших забот было написать Мирче Элиаде, чей адрес нам дали Михаэла и Штефан Бэнулеску, которые рассказывали, как Мирча Элиаде разыскивает и приглашает к себе в Чикаго румынских писателей, приезжающих в Айова-Сити, и что из-за нашего опоздания его письмо могло затеряться, а он мог подумать, что мы боимся на него ответить.

В этой казуистике был весь господин Бэнулеску, как и в подробных объяснениях, которые он нам дал о том, как разворачивается жизнь в американском кампусе, и в прямо-таки лирических рассказах о том, как тепло их приняли Кристинель и Мирча Элиаде. Помню, что Михаэла показала мне платье, подаренное ей госпожой Элиаде, длинное ситцевое платье с воланами, отороченными кружевом, как будто взятое из

вестерна, и оно мне так понравилось, что я на скорую руку соорудила что-то похожее и весело щеголяла им среди всеобщих джинсов на студенческих вечеринках. Под самый Новый год зазвенел телефон, висевший на стене нашей квартиры в студенческом общежитии, и мы заволновались, потому что у нас еще почти не было тут знакомых, а в трубке кто-то, чей голос, как нам показалось, мы знаем с детства, пожелал нам по-румынски счастливого Нового года. Это был Мирча Элиаде.

Через несколько месяцев, весной, когда мы приехали в Чикаго, нам предстояло провести вместе целый день. Теперь, когда мне примерно столько же лет, сколько было тогда Элиаде, когда я жалею каждую минуту, потраченную на что-то, кроме письма, щедрость, с какой он запрограммировал целый день, чтобы познакомиться с двумя молодыми писателями, прибывшими с родины, кажется мне донельзя трогательной, почти неестественной.

Что меня очаровало тогда, одарив чувством, что я присутствую при таинстве, было ощущение дежавю, которое давала мне и его квартира с диванами, накрытыми коврами, и его манера говорить, определенная модуляция голоса, определенный ритм фразировки, и это доброе лицо человека, который не торопится и располагает временем слушать. Все — я уже писала об этом — напомнило мне мир моих родителей, все носило на себе печать их поколения, поколения межвоенных интеллектуалов, которое исходило из иллюзии, что они — первое поколение, которое сможет заниматься культурой без обязанности ввязываться так или иначе в спасение страны (идея принадлежит молодому Элиаде) и которое испытало — разбросанное по тюрьмам и по чужбине — самую драматическую из всех поколений судьбу.

Из этого дня, проведенного сначала в гостеприимной квартире Элиаде, а потом в университетском ресторане, я помню, что говорили больше мы, чем они, отвечая на нескончаемые вопросы про КАК ТАМ ДОМА, вопросы, которые я не могла бы сейчас воспроизвести, но которые (помню, они меня удивляли) имели мало отношения к политической реальности — вопросы, касающиеся тех подробностей, что должны были помочь Элиаде представить тот мир, с которым он и не пытался порывать, он будто хотел проверить свои сны, где этот мир продолжал жить, чтобы затем перейти в фантастические рассказы. Многие вопросы касались литературных кругов, но не их главных персонажей или партийных интриг между ними (что крайне занимало разные группировки парижской эмиграции), а того, как выглядят журналы, каково их содержимое, какие публикации

обсуждает критика, какие есть новые интересные имена, в какой степени он сам еще остается писателем, которого читают на родине. Мы старались отвечать, как могли, и в какой-то момент, когда он стал цитировать краткие отклики на свое литературное творчество, избежавшие цензуры и появившиеся в провинциальных журналах, мы по случайности смогли дополнить историю одного из этих откликов. Это была цитата из статьи Д. Мику, статьи, о которой этот критик с горечью рассказывал нам — как ее кромсали и как не осталось почти ничего из того, что он в ней говорил. Я была просто потрясена, с каким волнением Элиаде воспринял наш рассказ, как и тем, что он знал наизусть самые незначительные фразы, которые его касались. Он, автор с мировой славой, переведенный на десятки языков, основатель новой дисциплины, доктор Honoris Causa стольких университетов на разных меридианах, имел вид старого участника литобъединений, который всю жизнь боролся, чтобы увидеть напечатанной одну свою книгу, и теперь охотится за обрывками хвалебных строчек. Чем еще, как не ностальгией, почти больной тоской по стране, на чьем языке он продолжал писать прозу, можно было объяснить ситуацию, при которой весь мировой успех блестящей карьеры был не в состоянии перевесить ту драму, что его не читали и не признавали дома. Мне это показалось отнюдь не знаком преувеличенного эгоцентризма, как полагает Адриан Марино, который отмечает в своих воспоминаниях сей поистине шокирующий интерес Элиаде к тому, что писали о его книгах в Румынии, а, напротив, приметой уничижения и признания любви к стране и зависимости от нее, неодолимых, как наркотик.

После ужина в университетском ресторане, где было тихо и умиротворенно, — атмосфера скорее библиотеки, чем ресторана, — госпожа Элиаде настояла, чтобы мы поднялись еще разок к ним сдвинуть в последний раз стаканы, на посошок.

— Я обещала Матею Кэлинеску позвонить, когда вы приедете, и совсем забыла. Он хотел вам что-то сказать, — добавила она.

В самом деле, они рассказывали нам в тот день, что подружились с Укой и Матеем Кэлинеску, которые приехали по обмену в Блумингтонский университет.

Мы поднялись в квартиру, которую оставили несколько часов назад и теперь точно знали, что больше никогда ее не увидим, поднялись с тяжелым сердцем, как перед расставанием, которое, как и вся встреча, имело в себе что-то экзистенциальное. Было поздно, а наш отель — довольно далеко. Как и мы, Элиаде казался грустным — или просто усталым.

Госпожа Элиаде набрала номер и сказала:

— Матей? Даю тебе Ану Бландиану. Я ее известила, что ты хотел ей что-то сказать.

И она передала мне трубку.

По-моему, мы обменялись формулами вежливости, оба в некотором смущении. Мы виделись в Бухаресте давно, задолго до отъезда.

— Ты хотел мне что-то сказать, — напомнила я неуверенно.

— Да, — ответил он погасшим голосом. И, после паузы: — Мы хотели вам сказать, что решили остаться.

Пауза, которая последовала, была подольше, и я была тому виной. Я чувствовала взгляд госпожи Элиаде, и, как в детстве, в горле стоял ком.

— А мы — нет, — ответила я в конце концов потерянно, хотя меня ни о чем не спрашивали. Потом пожелала им счастья в жизни, которую они начинают, и, боясь, что расплачусь, повесила трубку.

Комментировать что бы то ни было я просто не могла. Впрочем, наши хозяева очевидным образом не нуждались в объяснениях. Они смотрели на нас с бесконечным сочувствием. Сочувствие ощущала и я: сострадание к нашему одиночеству — "крепостных на клочке слова"[1], — оставленных теми, кто уехал, уезжает и еще уедет; и сострадание к их одиночеству писателей, жестоко разлученных с их читателями и оставшихся один на один с чужим языком и с чужим миром; сострадание ко всем домашним мучениям и ко всем тутошним, к тем, кто загублен из-за недостатка свободы и к тем, кто загублен свободой. Сострадание ко всем, принужденным выбирать из двух драм с противоположным зарядом, но равных по интенсивности...

Мы расстались, молча обнявшись, зная, что больше не увидимся, хотя, будучи с разных меридианов и из отдаленных по времени поколений, обнаружили, что смотрим на мир одинаково.

Другой народ

Думаю, не было на протяжении последних десятилетий прошлого века стереотипа, который казался бы мне более унизительным, чем постоянный, навязчивый припев "мамалыга не взорвется". Меня оскорблял не только его смысл, презрение в оболочке китчевой философии, меня оскорбляли чувства, таящиеся за спиной слов, произносимых с грустью — искрен-

1. Слова из эссе Аны Бландианы "О природе творчества".

ней или наигранной, неважно, — но уж точно обозначающей скорее извинение, чем констатацию. Извинение не только за прошлое, но и за будущее.

"Мамалыга не взорвется" — это была аксиома, чтобы обескуражить любое действие и объяснить любую трусость. Не насмешка бог знает каких иностранцев над румынами, но чисто румынская формула, квинтэссенция насмешки над собой, мазохистская самоиздевка, вначале, может быть, и драматическая, но со временем превратившаяся в глумливый лозунг, скорее в подтрунивание, чем в ламентацию. Я ненавидела эту формулу и за то, как ее употребляли, и за то, как она манипулировала людьми, даже если мне казалось, что я не могу, по крайней мере отчасти, отрицать ее истинность.

Много лет спустя, работая в "Мемориале", я узнала, каким ожесточенным было сопротивление крестьян коллективизации. Число крестьянских восстаний превзошло две сотни, иногда их подавляли войсками, беря штурмом села, как редуты неприятеля, и оставляя мертвых тлеть в дорожной пыли в назидание тем, кто остался в живых. Мамалыга взрывалась, выходит, сотни раз, а мы не знали и продолжали скрывать свою немощь под продырявленным пулями щитом лжеаксиомы.

Когда Ромулус Русан сделал экспозицию "Коммунизм и крестьяне", были вывешены панно с фотографиями крестьян, арестованных в начале той эпохи. Фотографии анфас-профиль, снятые для досье, никто не позировал, просто был зафиксирован драматический миг поражения. И все же... я стояла и завороженно, почти с испугом, созерцала их благородство и достоинство, как и их физическую красоту, в ореоле стойкости. Я стояла и смотрела во власти мечтаний и душераздирающего открытия: это был другой народ, не оставалось ни малейшего сомнения, что это был другой народ, что нет ничего общего между сегодняшними лицами, встречаемыми на улице или в телевизоре, лицами людей побежденных, хотя они никогда не боролись, и лицами тех мужчин, с руками в кандалах и все же свободных и продолжающих сопротивляться глазами, на которые нельзя было надеть кандалы, чертами, которые застыли в почти мифологической горделивости. Это был другой народ, который исчез, не сумев передать потомкам тайну своей внутренней силы. Мы были другим народом.

Сироты

Где-то в начале 80-х годов на Каля Викторией стали появляться расставленные, думаю, что не преувеличиваю, примерно через

каждые пятьдесят метров, удивительным образом похожие друг на друга, молодые люди, стриженые и одетые под копирку, с назойливостью, запрограммированной, чтобы броситься в глаза, не остаться незамеченной. Как всякое необычное явление, — как и всякое обычное, впрочем, — это не могло не быть связано с секуритате. Но какой интерес выпячивать себя секретной службе, чьим главным занятием было следить за нами всеми возможными средствами, от микрофонов, вделанных в пепельницы или в телефоны, до друзей, ставших информаторами и подвергающихся, в свою очередь, слежке? Должно было протечь довольно много времени, чтобы я поняла и, главное, смогла признать за этой службой некоторую тонкость, которую трудно связать в воображении с гнусностью и мерзостью, с воплощением низости и грубости. Собственно, в области зла — каково различие между тонкостью и коварством? Секуритате не отказалась ни от одной из своих классических практик, которыми она ухитрялась держать под наблюдением и контролем все общество. Появление "ребят с Каля Виктории" — как я окрестила их в одном стихотворении — не подменяло собой ни один из методов, существовавших десятилетиями, но дополняло их в новом духе, более рафинированном и хитроумном. Потому что эти молодые люди были уже не секретными агентами, обязанными следить, рапортовать и карать, но, напротив, — экспонатами некоей силы, которая решила не действовать, раз она могла устрашать просто своим присутствием. Они не таились, не нуждались в *прикрытии*, напротив, они должны были быть замечены, видны и опознаны, должны были давать знать, что они существуют, и самого их существования достаточно, чтобы определить все. Таким образом институция, которой они принадлежали, могла больше не утруждать себя подавлением бунта, ей довольно было просто показаться, чтобы помешать бунту произойти.

Как в древнекитайской медицине ролью медика было не лечить болезнь, но предотвращать ее, так вызывающим выставлением напоказ этих молодых людей, *оформленных*, чтобы их можно было распознать, секуритате превратилась в превентивную службу. Так она изобрела самый эффективный, самый ядовитый и самый тлетворный из страхов: превентивный страх. Все, что она продолжала делать по линии информирования, по карательной или репрессивной линии, адресовалось к современникам, тогда как профилактическая деятельность, форма предвидения, была направлена в будущее — служила своего рода векселем.

Поскольку жили мы недалеко, мне случалось часто проходить по Каля Викторией — с захватывающим чувством, что

мне выпадают мгновения, когда я могу рассматривать молодых людей, мимо которых проходила, не будучи замеченной. Они стояли, как правило, руки за спину и чуть расставив ноги, на краю тротуара, лицом к мостовой, так что при всем своем желании не могли надзирать за теми, кто проходил за их спиной. Мне случалось иногда придумывать предлог для продления маршрута, чтобы разглядеть их. Они не только были подстрижены, одеты и обуты под копирку, но и более или менее сходны по телосложению и цвету волос, и, главное, по выражению лица, а точнее, по отсутствию всякого выражения, что делало их похожими на отлично сварганенных роботов с одной и той же программой. Они смотрели через дорогу на другой тротуар, но не то чтобы выслеживали кого-то, а как бы просто ничего не видели. Глаза у них были совершенно неподвижны, что говорило об усилии воли, тревожило и, независимо от их миссии, внушало род беспокойства — не страх перед институцией, которую они представляли, а что-то вроде дурного предчувствия, не только непонятного, но и непостижимого. Именно поэтому мне было бы трудно описать их точнее, я только знаю, что их костюмы, пусть и цивильные, подчинялись четким линиям военного кроя, и, хотя неподвижность и форменная одежда придавали им вид объектов безучастных, без воли, как из музея восковых фигур, я чувствовала, что, если понадобилось бы их нарисовать, надо было бы провести вокруг них концентрические круги, чтобы обозначить волны негативной энергии, которую каждый из них излучал. Единственное, что я помню в точности и могла бы описать в подробностях, — это их ботинки. Ведь я по большей части проходила мимо, опустив глаза, и заметила, что ботинки не только были одинаковые, но и сложно устроенные, специальные, с особой игрой дырочек, которая повторялась у всех, так что исключала случайность их похожести. И эта в общем-то комическая подробность (я представляла себе, как Министерство внутренних дел заказывает огромную партию одинаковых ботинок вычурной модели), вместо того чтобы разрядить ситуацию, вносила в нее лишнюю напряженность, добавляя к главной тайне деталь, еще более необъяснимую.

Когда через несколько месяцев я узнала доподлинную историю этих неестественных молодых людей, “ребят с Каля Викторией”, они стали для меня не только специфическими членами изощренной и перфекционистской секретной службы, но и субъектами дьявольских проектов, встающих из кругов ада еще более глубоких и страшных, чем политические. Я узнала: их необычный вид имел причины глубоко экзистен-

циальные, и они не шли ни в какое сравнение с расчетами каких-либо институций. Но именно то обстоятельство, что институция посмела смешивать и эксплуатировать эти причины, и вызывало содрогание. Странные молодые люди были похожи друг на друга не только потому, что были стрижены, обуты, воспитаны и инструктированы одинаково, но и потому, что их происхождение обусловило и общую для каждого из них трагедию. Не страна, не партия, не секуритате, а сам Господь Бог породнил их трагедией, которую они не вполне осознавали, потому что им не с чем было, в сущности, сравнивать.

Это были дети, взятые из сиротских приютов и воспитанные так, чтобы стать тем, чем они стали. Сколько сатанинской хитрости и фантазии надо, чтобы использовать в качестве сырья для построения политических планов несправедливость и унижения, уготованные самой судьбой? Этих бывших детей без родителей нетрудно было научить ненавидеть других, всех других, у кого родители как-никак были. В их случае для классовой ненависти не нужны были аргументы и демонстрации по той простой причине, что для них на земле существовало два класса: класс счастливых семей и класс тех, у кого семьи не было. И поскольку они были наказаны абсолютно безо всякой вины и отведены ко второму классу, им, естественно, не казалось несправедливым наказывать, в свою очередь, других, тех, что были счастливы, не сделав ничего, чтобы заслужить счастье. И, может быть, это выставление себя напоказ, когда они играли, по сути, роль статуй, было подготовкой к будущему победному кортежу. Им ничего не приходилось делать по той простой причине, что даже при одном взгляде на них другие не смели вздохнуть свободно. Тот факт, что прохожие в испуге ускоряли шаг при виде их, возможно, удовлетворял их чувство мести за унижения и страдания, выпавшие им без их вины, а эта месть — в такой степени, в какой те, кто ее запрограммировал, не могли даже и предполагать — входила теперь в их должностную инструкцию.

После того как я узнала об этой устрашающей находчивости, связанной с их родословной, я вспомнила, как много лет назад одна моя приятельница, которая работала библиотекаршей в Доме ребенка, уговорила меня пойти на встречу с сиротами, поговорить с ними, рассказать им что-то на свой выбор, почитать стихи, в общем, внушить им чувство, что они не одни в мире. Я пошла, полная сочувствия и любопытства, ни на секунду не предполагая, что мне предстоит экзистенциальный опыт, так глубоко задевающий, что я никогда

его не забуду. Детей было несколько десятков, может быть, пятьдесят с лишним, от трех-четырех до, скажем, шести лет, и они играли с самыми разными кубиками, фигурками, куклами, плюшевыми зверушками в зале, где стены были украшены сценами из сказок и цветами. Все было спокойно, светло, никакого драматизма, может быть, с некоторым излишком афишируемой ласки. В тот миг, когда я вошла в зал, не успела еще моя приятельница библиотекарша меня представить, как все дети бросили свои игрушки и занятия и с визгом накинулись на меня, пытаясь обнять и поцеловать, отталкивая друг друга и чуть не сбивая с ног и меня, выкрикивая одно и то же слово с такой страстью и накалом, что в первые мгновенья я даже не смогла понять его. Они как будто скандировали какие-то слоги или даже пели. Потом я разобрала слово. Слово было *мама*, и они не выкрикивали его просто так, но звали этим словом меня. С трудом удалось приглушить эту бурю, и я смогла пройти и сесть на стул, таща за собой огромную сороконожку, которая тесно обернулась вокруг меня. Некоторым удалось вцепиться в меня обеими руками, некоторые впились в юбку и свитер только одним кулачком, а самые невезучие, и оттого самые настойчивые и голосистые, держались только за тех, что держались за меня. Таким образом составилось большое общее тело, что-то вроде чудища, чьей головой была я — в окружении десятков и десятков других головок, притиснутых друг к другу, одна возбужденнее другой, и, поскольку я начала им читать и шуметь было больше нельзя, они почти беззвучно шевелили губами, выговаривая слово, которое, не переставая, вертелось у них в уме. Я чувствовала себя виноватой, хотя знала, что не смогла бы быть мамой их всех, и я чуть не плакала от жалости к этим существам, у которых вроде бы не было недостатка ни в чем, за исключением одного, о чем, может быть, они только то и знали, что его у них нет. Не знаю, слушали ли они то, что я им рассказывала и что я им читала, или их больше занимало, как бы меня не отпустить или как бы не потерять место рядом со мной, уступив его тем, кто оказался дальше всех и пропихивался вперед.

Так или иначе, расставание было по-настоящему драматичным. Они не хотели меня отпускать. Как только я кончила говорить, снова начали они. “Хочешь быть моей мамой?”, “Ты возьмешь меня домой?”, “Я буду себя хорошо вести, если ты возьмешь меня с собой”. Они говорили все разом, почти одно и то же и с таким видом, как будто не замечали, что и другие говорят то же, каждый ждал только ответа для себя. У меня было ощущение, что их пронзительные глаза меня связывают и обездвиживают, как тонкие, но крепкие нити, ко-

торые я никак не решаюсь порвать, а когда, наконец, я все же вырвалась и ушла, поспешно закрыв дверь, меня охватило чувство, что совершила одну из самых гадких вещей в своей жизни. Я узнала после, что эта сцена повторялась при каждом приходе новой гостьи, что не убавило ей драматизма, но смягчило мое чувство вины. И все же я не только не забыла об этой странной встрече, но и — хотя не припомню, что когда-нибудь признавалась в этом, — она имела некоторую, может быть, не совсем адекватную связь с тем, как определилась позже моя судьба. И как, помню, через много лет на Франкфуртской книжной ярмарке я не могла удержаться от вопроса к себе, зачем мне писать, если уже есть столько книг, так после той душераздирающей встречи со страданием сирот, таким глубоким и незаслуженным, я спрашивала себя, зачем надо становиться родителями и делать других детей, если есть столько детей, которые ждут родителей. Видя "ребят с Каля Викторией", я не могла себе представить как они просятся, чтобы их забрали *домой*, и не могла не содрогнуться, думая, что за дьявольский ум сообразил манипулировать этим бедным идеалом, происходящим из глубин любви и надежды несчастных детей, заменив для них родительский дом учреждением ненависти, стирающим разницу между определением жертвы и палача... И постыжусь ли я признаться, что, когда я проходила по Каля Викторией, в моем любопытстве, перехлестывающем через край, смешивались, в почти равных долях, страх и сочувствие?

Понимаю, что надо завершить этот эпизод, тяжелый и неудобоваримый из-за количества использованных ингредиентов, сценой скорее комической. Эта шутка, конечно, горчит, но все же в пункте, где зло становится смешным, оно автоматически теряет в невыносимости. Мы были на море, в Писательском доме и, как каждый вечер, прогуливались все вместе по узкой набережной, прорезанной посреди склона над пляжем, фланируя взад и вперед на тех нескольких сотнях метров между нашей виллой и стеной, откуда начиналась запретная зона. Беседующие группы пересекались, смешивались, обсуждали свободно и в полный голос самые разные проблемы, потому что все мы были хорошо знакомы, коллеги, друзья, и, странно, хотя в принципе мы знали, что стукачи есть, мы не портили себе каникулы, осторожничая или пытаясь их *вычислить*. Такова была атмосфера, когда на прогулке среди нас появился незнакомец, видимым образом пытавшийся держать ухо востро, но пребывающий в замешательстве от обилия тем и тасующихся групп и явно страдающий из-за того, что не может решить, за кем следить. Положение у него было, без сомнения, комиче-

ским, а задача — легко определимая, так что нам приходилось изо всех сил сдерживать смех, когда мы скрещивали на нем глаза. Но усилия наши ни к чему не привели, и все превратилось в хохот, неостановимый и возобновляемый снова и снова при взгляде на него — когда один из нас обратил внимание на его ботинки: это были неподражаемые ботинки ребят с Каля Виктории. Остаток каникул, как в комедии-буфф, мы провели, гуляя с опущенными глазами, чтобы выявить и других носителей ботинок. Что было нелегко, но игра стоила свеч. Встречаясь за ужином, мы рапортовали друг другу о найденных ботинках и в скором времени даже затеяли конкурс по обнаружению ботинок. Теперь, после всего что я узнала о писателях из отчетов Национального совета по изучению архивов секуритате (CNSAS), впору повеселиться, представляя, сколько литературных рапортов породило наше развлечение.

На *автобусной остановке*

Это было в январе 1993-го в Страсбурге. Я ждала автобуса, чтобы доехать от центра города в Совет, до которого было довольно далеко. Шел проливной дождь, и я укрылась под навесом автобусной остановки, где на скамье сидел еще один человек. Мы с первого же мгновения почувствовали солидарность против дождя, во всяком случае, переглянулись с симпатией и как бы поприветствовали друг друга. Это был старый господин, худощавый, с правильными чертами лица, со смуглой кожей, вида удивительно благородного, не то чтобы аристократ, не то чтобы интеллектуал, хотя ни то ни другое не исключалось, но от него веяло чем-то древним, прародительским, пришедшим из глубины времен. Индиец, подумала я и, насколько это позволяли приличия, стала поглядывать на него с чувством, что могу созерцать таким образом время — не время одной жизни или одного поколения, но гораздо больше — само время. Впрочем, и он поглядывал на меня, возможно, заметив мои взгляды, и даже в какой-то момент улыбнулся мне, что крайне невыгодно исказило черты его лица, вдруг перешедшего в другой регистр, попроще — более современный и плебейский.

Потом, как будто это имело отношение к улыбке, он вынул из кармана картонку, засунутую в целлофановый пакетик, где неуклюжими печатными буквами, на очень приблизительном французском, было написано, что он цыган из Румынии, где цыган преследуют, и он просит помощи, чтобы обосноваться во Франции, где уважают права человека.

Я сидела и держала картонку в замешательстве, понимая всю комичность ситуации, но не в силах преодолеть зазор между впечатлением и реальностью. На миг мне захотелось вернуть ему картонку без единого слова, но в конце концов чувство юмора и симпатия, которую внушил мне этот персонаж с первой минуты, одержали верх, и я сказала ему, улыбаясь:

— Я тоже румынка.

— Вот те на, — откликнулся он без тени удивления или конфуза, — везет же мне. Вокруг француз на французе, а я наткнулся на румынку.

Мы оба в порыве взаимной симпатии рассмеялись, чем, возможно, я и обязана последующему разговору и откровенностям.

— Вы давно во Франции? — спросила я.

— Да года три уже.

— С тех пор многое изменилось в стране. И у вас есть две или три партии... Вы могли бы вернуться и бороться... — И, тонко улыбнувшись, добавила: — Против преследований...

— Ну-ну, давай без этого. — И он забрал у меня из рук картонку. — Жить-то надо... Крутимся, как можем...

— И тут крутиться лучше, чем в Румынии?

— Тут лучше, богатства больше, только и тут нелегко...

Последовала пауза, и я сочла нужным ее заполнить:

— Вы живете в Страсбурге?

— Да нет, — ответил он, как будто бы удивленный вопросом. И продолжил несколько загадочно: — Мы тут проездом.

— Проездом куда? — спросила я наугад.

Тут он ударился в откровенности, которые я хочу здесь привести, — они удивили меня не только и не столько своим содержанием, сколько тем обстоятельством, что этот человек открылся мне. Я пропустила два автобуса, слушая его.

Он рассказал, что обосновался в Лионе со всем семейством, где жил на социале и занимался разным шахер-махером. Время от времени французские власти вызывали его и предлагали определенную сумму денег, чтобы он покинул страну (если правильно помню, хотя не очень в этом уверена, речь шла о 700 франках), и билеты на поезд до границы. Они получали деньги и давали подписку, что больше не вернутся на территорию Франции. Операция могла совершаться с одним человеком или могла охватить всю семью, многочисленную, и в этом случае сумма получалась внушительной. Попав в Германию, они тут же пересаживались в поезд, следующий во Францию, и возвращались нелегально через несколько часов. Нелегально — это сильно сказано, потому что, за отсутст-

вием границ, никакого контроля не было. Затем они останавливались в каком-нибудь городе и представлялись в полицию, заявляя, что потеряли или что у них украли документы, и получали новые, на другое имя. Через некоторое время их вызывали под этим новым именем и предлагали им покинуть территорию Франции в обмен на некоторую сумму денег, билет до границы и с обещанием, что они больше не вернутся. Попав в Германию, они пересаживались на поезд, идущий в обратном направлении, останавливались в другом городе, представлялись в полицию и так далее. Не знаю, как скоро крутилась эта карусель, но мой новый знакомый исполнял этот ритуал в четвертый раз. Сейчас он как раз снова въехал во Францию, выехав накануне вечером, и должен был направиться в Лион, где ему предстояло выполнить все необходимые формальности.

Я смотрела на него, удивляясь, не без восхищения.

— А французы что ж, ни о чем не подозревают? — спросила я, как спрашивала в детстве, слушая сказки про могучих обманутых змеев.

— Не подозрева́ют. Потому что они уважают права человека. И не могут возражать против свободы передвижения.

— Но вы-то нарушаете обещания и издеваетесь над ними и над их законами, — не удержалась я, не желая, правда, ни обидеть, ни оскорбить его.

— У каждого народа свои законы, — закруглил он дискуссию, не обидевшись и с чувством собственного достоинства.

Действительно, добавить тут было нечего. Показался мой автобус, — третий с тех пор, как мы вступили в разговор, — и мы попрощались, я поблагодарила его за откровенность, мы пожелали друг другу удачи.

Я не предприняла никаких попыток проверить истинность признаний человека, который с первой минуты пробудил во мне симпатию, симпатию, которая не исчезла и после того, как были подорваны ее основы.

Автобус отвез меня к Совету Европы, который как раз и был континентальным центром прав человека, а я думала — не без томительного чувства, — как относительны эти права и официальные связи между разными категориями людей, когда не только сильные манипулируют слабыми, но и слабые умеют сделать себе отличное оружие из манипуляции тех, которых не могут — в справедливой борьбе — победить. Но, в конце концов, что значит *слабый* и что значит *сильный* в случае с этим первозданным народом, который тысячелетиями сохраняет нетронутыми самоопределение, ментальность и обычаи в полном пренебрежении к законам других и к по-

пыткам других изменить их, с иммунитетом не только к любой манипуляции, но и к любому прогрессу. В мире, который все в большей мере становится жертвой собственных идей, альтруизма и иллюзий, этот иммунитет, питаемый глубинным отказом от изменений, есть настоящая сила.

Засим я и прибыла в Совет Европы.

Г*риб на половичке*

Связь между нами и грибами оказалась в конце концов и с политическим выростом, чему помогало — как, впрочем, это и было, по моему мнению, запрограммировано — экзистенциальное, кроме всего прочего, значение, которое грибы имели в нашей жизни. Это случилось некоторое время спустя, после того как меня снова запретили в 88-м, стояло начало осени, и мы зачастили в лес. На самом деле, каждый раз происходила борьба между удовольствием (пойти за грибами) и долгом (остаться и писать), и каждый раз долг оказывался побежденным лицемерным и прагматичным аргументом, что надо добывать еду. А может быть, мы безотчетно пользовались этой невинной радостью как терапией против нарастающего напряжения. В том году было так много сыроежек (белесых крепышей с зеленоватой или рыжеватой шляпкой), что они залезли и во дворы. Даже у нас в саду выросла одна необыкновенной величины, и, похоже, она не собиралась останавливаться в росте. Мы договорились с соседями, когда она стала больше тарелки, что не будем ее трогать, посмотрим, на что она способна. Пока что она была диаметром с торт.

Мы как раз собирались в очередной рейд по лесу, прежде чем засесть за работу, и закрывали калитку, нагруженные пустыми корзинками и сумками, когда в конце улицы появился бегущий сторож, посланный примарией сказать, что им позвонили из Бухареста, чтобы “мы быстро приезжали, потому что у нас затопило квартиру”. Мы бросили корзинки, заперли дом и сели в машину. Но поскольку только у моей сестры был номер телефона примарии на случай форс-мажора, мы сначала остановились у почты — узнать, в чем дело. Связь с Бухарестом, до которого было 40 километров, устанавливалась тогда еще через телефонистку, телефонистку мы еле разыскали, она была во дворе. Джета — которую было слышно, как с другого конца света, — сказала, что ей позвонили наши нижние соседи с сообщением, что “у нас из-под двери хлещет вода”. Она тут же поехала к нам домой, было очевидно, что

прорвало трубу, но странным образом не смогла войти, дверь в подъезд, про которую никому бы не пришло в голову, что она может запираться, была изнутри заперта на засов. Она кричала, жала на звонок соседей, которые ее оповестили, чьи окна были открыты и чьи голоса были слышны, но они не ответили, она позвонила им из автомата, они не взяли трубку. В конце концов она ушла, поняв, что дело тут посложнее, чем прорванная труба.

Мы поехали в Бухарест, добрались до дому, подъезд уже не был заперт, а из нашей квартиры не текло ни капли воды. Все было нормально, за исключением телефонного звонка соседей. Мы позвонили им в дверь, они открыли, мы спросили, зачем они придумали эту историю с водой, когда совершенно очевидно, что никакой протечки не было. Они появились в дверях оба, старые, довольно-таки ветхие, с парой пекинесов, высовывающих лохматые головы между их лодыжками в допотопных гетрах, натянутых на шлепанцы. У них был такой вид, как будто их напрасно побеспокоили — пока он смотрел на нас с недоуменным любопытством, она коротко ответила, что, *вероятно*, им показалось, грассируя, как каждый раз, когда она хотела подчеркнуть, что принадлежит к "хорошему обществу", которое выше или, уж во всяком случае, вне критериев общества нынешнего.

"Что значит — вам показалось?" — чуть не сорвалось у меня с языка, но я тут же поняла, что добавить им будет нечего, тем более что — если все это выдумка — смысл этой выдумки мог быть только в том, чтобы выманить нас на несколько часов из деревенского дома, который подлежал обыску. Так что мы спешно вернулись в Коману во власти скорее ярости, что нами манипулируют с такой наглостью, чем во власти страха. Скрывать нам было нечего, кроме тетрадей, с которыми мы и так никогда не расставались, но мы ощущали бесчестье, позор, бесстыдное глумление над собой, потому что не привыкли еще к тотальной подозрительности, к абсолютному недоверию. Вернувшись, мы, разумеется, нашли все перевернутым вверх дном, три комнатки нашего каркасного дома и дощатый амбар, превращенный в кабинет, были завалены книгами, лежниками, старой одежей, глиняными тарелками, керосиновыми лампами, кувшинами, ведрами, газетами, лекарствами — все перемешанное в устрашающем и — как бы это сказать? — демонстративном беспорядке. Потому что такой кавардак был явно учинен не случайно, но специально, продуманно. Он казался целью, а не результатом усилий, тут не искали что-то, а именно громили дом. Единственной целью, вероятно, было произвести на нас впечатление, испу-

гать. В тот миг, когда меня осенило этим почти льстящим ощущением зрителя, для чьих глаз был устроен такой декор, моя ярость сразу улеглась: если мы не испугались, манипуляция обойдется дороже им, чем нам. Я вышла во двор и, без всяких особых мыслей, пошла в сад. Огромный грибище исчез, а из-за проволочной ограды соседка Никулина смотрела на меня виновато, как мне показалось, или, может быть, испуганно.

— Тетушка Никулина, — сказала я с усталым упреком, — разве мы не уговаривались его не срывать, посмотреть, до каких размеров он дотянет?

Но я еще не кончила фразу, а Никулина уже расплакалась и пустилась в объяснения, которые я с трудом понимала.

— Я знала, я верно знала, что вы заметите, я им так и сказала, что вы, как приедете, сразу заметите. Я возилась на огороде, глядь, двое верзил перепрыгнули через задний забор и бегут по саду, я даже не увидела, что они и гриб прихватили. Я думала, они пришли своровать газовый баллон, они стерегут, пока хозяева отъедут, и я давай на них кричать: вы что делаете на чужом дворе, проваливайте, ежели не хотите, чтоб я вызвала милицию, а им хоть бы что, подошли ко мне и говорят, чтоб я помалкивала, ежели хочу, чтобы сына оставили на службе и чтоб я не вздумала вам чего сказать, мне это, дескать, так не пройдет, они, дескать, предупреждают, и вошли в дом, и я слышала, как они там стучат и грохочут, уж не знаю, что они там испортили, а когда уходили, мне еще раз крикнули, что, если я кому что скажу, мне каюк, а я знала, что вы увидите, как приедете.

Пока мы наводили порядок и уже почти успокоились, Р. — с его утомительной привычкой не упускать из виду ничего — пришла мысль, что обыск был только предлогом, чтобы закамуфлировать установку микрофонов, то есть теперь нам нельзя говорить и в этом доме. Впрочем, он позвал меня во двор, чтобы поделиться предположением, которое должно было усложнить нам жизнь и здесь. Не исключено, что он был прав, но в то же время мне казалось, что одержимость не пасть добычей микрофонов еще более невыносима и даже опасна, чем игнорирование их — пусть себе, если они есть, записывают все, что им вздумается. В конце концов, нам надо было выбирать: вести ли регистрируемую жизнь или не жить вовсе. В ходе разговора я поняла, что на самом деле мы уже проиграли, независимо от того, насколько логичной была моя аргументация. Я знала не только то, что мы вошли в новую стадию эскалации безумства, но и то, что манипуляция им удалась, с протечкой или без, с обыском или без, с микро-

фонами или без, им удалось нас взбудоражить, выбить из колеи, продемонстрировать, что они имеют над нами, по крайней мере психологически, власть.

Через неделю, когда мы поехали в Бухарест купить хлеба, под нашей дверью, аккуратненько поставленный на половичок, нас ждал гриб.

Это был один из тех немногих случаев, когда нам стало по-настоящему страшно. Именно из-за абсурда. Мы вспомнили, что у Р. был рассказ в стиле абсурда, где гриб разрастался в квартире у одной семьи. Однако семья спаслась, разрезав гигантский гриб и пустив его в продажу, превратив все это в бизнес и даже в судьбу: они получали ученые звания в области культивирования грибов, основали институт микологических исследований, обеспечили страну протеинами, комната гротескного чуда была помещена под хрустальный купол, как ценнейшая реликвия. Рассказ появился в "Ромыния литерарэ" без всяких последствий, но, когда он вышел в книге, "Лучафэр" поместил на него рецензию, где рассказ был сочтен издевательством над народом, который сумеет ответить на оскорбление.

Но это было только привходящим обстоятельством. Что испугало меня, так это лукавый, подкорковый, на уровне внушения характер всего происшествия. Это как если бы они нам сказали: вы знаете, что мы знаем, что вы знаете, но вам не надо забывать, что и мы знаем, что вы знаете, что мы знаем.

Машина у ворот

Не припомню с точностью момент, когда она появилась напротив наших ворот, — в те времена, когда в Бухаресте было гораздо меньше автомобилей, чем сейчас, и на улице мест для парковки в изобилии, — эта белая шкода, а в ней женщина лет тридцати-сорока, крепкая без полноты, с бесцветной кожей и с длинными, пышными, очень черными волосами, рот четко и широко очерчен ярко-красным, как на базарных картинках, где полагалась еще обнаженная грудь и роза в зубах. Это было, конечно, после того вечера 30 августа 1988-го, когда я узнала, что меня опять запретили, но, вероятно, должно было пройти немало дней, чтобы ее присутствие показалось неслучайным. Я помню, однако, что заметила ее не я и даже не Р., куда как более внимательный и подозрительный, чем я, а соседка. Она обратила наше внимание на это странное присутствие; странное, потому что женщина сидела, точно по расписанию, восемь часов, не двигаясь и даже ничем не зани-

маясь: не читала, не вязала, не слушала радио, прибывала в восемь и отбывала в шестнадцать, как бы тщательно исполняя не очень-то легкую обязанность. Вообще-то она прибывала не одна, ее привозил на пост молодой человек, который скрывался в направлении Дома радио и возвращался через восемь часов. Тут не было ничего загадочного: молодой человек наверняка работал на радио и приезжал на работу на машине. Загадка начиналась вместе с вопросом: почему жена считала себя обязанной не только сопровождать его, но и поджидать восемь часов в неподвижности, в жару или в холод. А если речь шла не об этом и связь между ними была чисто профессиональной (мужчина был всего лишь шофером женщины, привозящим ее на службу, а "служба", как предполагали соседи, состояла в том, чтобы надзирать за нами), загадка становилась бесконечно более интригующей, потому что тогда вставал вопрос, каким образом она за нами следила — если сидела неподвижно в машине, из которой можно было увидеть нас, только когда мы выходили и возвращались или к нам кто-нибудь приходил, и почему она следила за нами только восемь часов из двадцати четырех. Было ясно одно: именно потому, что логика ее присутствия была ущербной, и именно потому, что оставались разного рода знаки вопроса, которые хотелось разрешить, женщина из машины превратилась, на долгие шестнадцать месяцев, что она простояла перед нами, в навязчивый персонаж, который без конца побуждал нас к предположениям и выводам. Иногда строго логическим, иногда, в силу страха, фантастическим.

Первый вопрос: почему было выбрано такое сложное и мазохистское решение, если гораздо проще было бы подговорить кого-то из соседей рапортовать о наших выходах из дому. Поскольку организаторов нельзя было заподозрить в отсутствии фантазии или в непрофессионализме, оставалось заключить, что использование машины, населенной таким видимым, ярким существом, имеет другую подоплеку. Сам собой напрашивался вывод, что как раз *видимость* стояла тут на первом месте, творя напряжение по всей улице, не только у нас, и без больших усилий осуществляя то, что на специальном языке называлось "ломкой антуража". Потому что и вправду в скором времени не только соседи старались торопливо перейти на другую сторону, когда им не везло встретиться с нами, но и друзья постепенно перестали нас навещать.

Так что, хотя женщина и сидела неподвижно в машине, сейсмическим волнам ее присутствия удалось подорвать нашу социальную жизнь до самых корней, делая ставку на коллективную психологию, день ото дня усиливая бездонные

нюансы страха. Помню, что до определенного времени действие, производимое на других, было сильнее, чем на нас, и в связи с этим не могу забыть одно происшествие — такое оно произвело на меня впечатление, хотя на первый взгляд могло показаться комическим. Как-то раз днем, возвращаясь домой, я встретила музыканта, который, сделав запись на радио, оставил машину через дорогу от нас. Поскольку нас давно связывала взаимная интеллектуальная симпатия, мы проговорили много минут подряд, пока я не сказала в шутку, что, надеюсь, нас не слышит женщина в машине, стоящей в нескольких метрах за моей спиной. Не знаю, что на меня нашло, так или иначе, шутка доказывала, что меня не так уж угнетает ситуация, о которой, как я думала, все знали, да и я сама не стеснялась рассказывать направо и налево о машине перед домом (позже я сообразила, что моя болтливость, которую я считала формой неприятия и несотрудничества, обернулась против меня, производя на других устрашение и вызывая ответные запрограммированные действия). В любом случае, реакция того, с кем я тогда разговаривала, меня потрясла: он посмотрел, куда я ему указывала, и, даже не попрощавшись, не дав мне закончить фразу, бросился бежать, оставив незапертой машину, куда как раз собирался садиться и которую осмелился забрать только ночью.

Что касается меня, то присутствие женщины стало устрашающим с того момента, когда кто-то объяснил мне, что существуют аппараты, которые могут подслушивать на расстоянии десятков или даже сотен метров то, что происходит за стеной, и что очевидным образом все, что мы говорили в доме, слушала женщина в машине, оказывающаяся таким образом гораздо более занятой, чем я думала. Не помню, кто сказал мне это, и сейчас думаю, что речь шла об интоксикации, предназначенной, чтобы выбить меня из беззаботности, которой меня благословил Господь, и бросить в ад страхов, распространенных на всех. Я даже спрашиваю себя, сейчас уже весело, какой смысл имели бы все их усилия, так сложно задуманные, если бы им не удалось меня запугать (а я без труда могу представить себе такую ситуацию)? Однако с того момента мы действительно месяцами не говорили в своем доме иначе как шепотом или знаками, не потому что все время надо было говорить вещи, не предназначенные для чуткого уха секуритате, а потому что мысль, что они могут услышать самое невинное восклицание или даже просто “Хочешь еще кофейку?” наполняла меня чувством унижения и бесчестья. Хорошей стороной этой ситуации, которая легко могла кончиться неврозом, было то, что нам не оставалось

ничего, кроме как писать, и, вопреки всему, что случилось с нами в течение 89 года, в тот год мы написали больше и, думаю, лучше, чем раньше, поскольку письмо стало прямо-таки альтернативой жизни и даже формой спасения. Это период, когда я написала большую часть романа "Ящик с аплодисментами": он рождался день за днем из поставляемого нам ежедневно сырья и таким образом придавал смысл абсурду и переживаниям, смысл и резон, благодаря которым их гораздо легче было перенести. Подзаголовок, который был придан книге через несколько лет на презентации ее немецкой версии ("Die Applausmaschine") — "Книга, которая спасла мне жизнь", — имел, помимо расчетов маркетинга, именно это значение.

Но больше, чем само присутствие женщины, ее *программа* открыла черные дыры всех подозрений: кто из соседей, в течение двух других осьмушек времени, делал то, что делала она? Или были другие — какие? — приемы, с помощью которых за нами следили в остальное время? Иногда я думала, что, если главная цель тут — профилактическая, создание страха, который запретил бы даже помыслить о сопротивлении, может, и не нужно было покрывать слежкой все наше время полностью, довольно было, чтобы мы были уверены в этом покрытии. Сейчас я убеждена, что была неправа и что тщательность, с какой они работали, намного превышала наше воображение. Впрочем, после 89 года я узнала, что кое-кого, кто шел к нам, задерживали еще на углу и советовали повернуть назад. Что пугало — это не сам запрет, а то, что люди были разгаданы в своем намерении навестить нас, хотя от угла они могли пойти к любому другому дому на улице. Трудно сказать, следили ли за ними, чтобы перехватить заранее, или просто следили за всеми прохожими на нашей улице, но так или иначе это означало, что женщина в машине была не единственной. Впрочем, несколько раз, когда какой-то форсмажор заставлял ее покинуть пост, ее сменял потешный толстячок, который хуже переносил ситуацию: то и дело вылезал из машины, вертелся вокруг нее с таким видом, что хочет уйти. Она, женщина, вела себя поответственнее, а в большую жару или в мороз — просто героически. Часто мне становилось жаль ее и хотелось предложить стакан холодной воды летом или горячего чая зимой. Я не сделала этого, потому что это выглядело бы вызывающе, даже если я была далека от таких мыслей.

Поскольку мы старались как можно больше времени жить в Комане, где надзор, даже если он существовал, был не так очевиден, нам было любопытно, стоит ли машина с женщи-

ной на своем месте в наше отсутствие. Мы узнали, что нет. Но когда бы мы ни возвращались из Команы, мы находили женщину при исполнении обязанностей, как будто она не делала никакого перерыва. Единственным объяснением было то, что, когда мы выезжали из Команы, эта весть передавалась в Бухарест, и к нашему приезду женщина занимала свой наблюдательный пост. Чтобы проверить свое предположение, раз, будучи в Комане, мы дождались, пока стемнеет и все соседи лягут спать, после чего, толкая, вывели машину со двора, не включая зажигание, дотолкали под горку до конца улицы, откуда повернули к лесу, в сторону, противоположную центру села и, сделав крюк, выехали на трассу, никого не встретив. В Бухаресте оставили машину на параллельной улице и вернулись домой, не поднимая шума и не зажигая света. Мы уснули с чувством, что играем в плохом фильме про подпольщиков, но утром, встав поздно и победно открыв окна, не нашли постовой машины на своем месте. Она появилась примерно через час после нашего показательного пробуждения — с видом, как мне показалось, побитым. Не исключено, что нам от этого стало только хуже, но, при всей бесполезности нашего демарша, мы убедились, по крайней мере, что никто из соседей на нашей деревенской улице нас не предал, хотя при желании могли бы: проснулись бы очень рано, как обычно, — а нашей машины уже нет во дворе. И все же никто не донес, раз машина с женщиной появилась много позже, после констатации свершившегося факта. Вывод, по меньшей мере, ободряющий, один из немногих успокоительных сюрпризов, которые выпадали нам в тот период.

Попадая впросак

“Когда, почему и сколько раз я попадала впросак?” — вот вопрос, ответ на который — не тот же, что на вопрос “Сколько раз я допускала просчет?” Потому что хотя попадаешь впросак по большей части в результате просчета (многие ли из нас имеют твердость или безумие заранее обдумывать ситуацию, где они окажутся в неловком положении?), случались в моей жизни моменты, когда я, как какой-нибудь мазохист, сама выбирала для себя эту роль. Роль, которую сама выстраивала для себя и знала с самого начала, чем все обернется, а иногда просто входила в нее, не задумываясь или именно просчитавшись, не сразу сообразив что к чему, но из упрямства не отказывалась от замысла, даже самого нелепого. А случались другие ситуации, где нелепое не было очевидным,

но таилось в глубине, неприметное, и раскрывалось только потом, как трагическое семя вещей.

Помню пример, прекрасно иллюстрирующий этот последний вариант, — долгую и драматическую дискуссию с коллегой, литературным критиком, на тему, которая меня не отпускала. Помню место, где мы встретились, — на лестнице, в здании журнала, где он был редактором, а я — постоянным автором, и помню, как я была рада встрече, потому что как раз хотела поделиться с ним своей дилеммой. Речь шла о борьбе с цензурой, которую я вела за правду каждого слова и каждой строчки, но, когда я побеждала, правда в силу изощренной логики превращалась в ложь. Если в конце концов удавалось напечататься, отсюда выводилось заключение, что печататься можно, то есть ценой неимоверных усилий ты давал сертификат на свободу несвободному обществу. Победа — почти через абсурд — публикация книги, где ты пытался сказать правду, становилась аргументом — чем более убедительным, тем более пагубным — в пользу лжи о свободе. Только если бросить бороться с цензурой и, значит, не публиковаться, станет видным истинное лицо диктатуры. Не публиковаться, выходит, честнее, чем публиковать самые честные страницы? Но это означало бы выбрать полную тьму, угасание всего, смерть культуры. Что предпочтительнее? Что правильнее? Может быть, последний выбор, назовем его "выбор зеро", если и был в состоянии изобличить истинное положение вещей, по сути, был бы выбором победы небытия?

Меня так мучили вопросы, я так спешила их выложить, что не следила за реакцией собеседника, а в ту минуту, когда остановилась, меня обескуражило, как он, явно скучая, уклоняется от ответа. Через несколько дней я узнала, что он уехал за границу и там остался, а через несколько лет — что он сотрудничал с секуритате.

Пример совсем другого типа — это когда я сама себя поставила в неловкое положение, которое восприняла как граничащее с героизмом (восприятие, конечно, еще нелепее, чем бредовая ситуация, на краю которой оно расцвело).

Стояла осень 96-го, было воскресенье в разгар предвыборной кампании. Мы запланировали поехать на ярмарку скота в Телеорман, поговорить с крестьянами. Для этого надо было встать на рассвете, чтобы приехать заранее, и я еще помню чувство абсурдности, когда проснулась по звонку будильника, открыла глаза и посмотрела в окно: было почти темно и шел дождь. Зачем надо было вылезать из теплой постели и выходить под дождь? Кто меня принуждал? Зачем это было нужно? Совершенно очевидно, все зависело от меня, я

не выставляла свою кандидатуру, ничего не выигрывала, что не помешало мне, однако, чувствуя себя подгоняемой нелепостью, встать, надеть резиновые сапоги, приготовленные с вечера, сесть в машину и поехать на встречу, за несколько сот километров отсюда, с какими-то незнакомыми людьми, чтобы убедить их проголосовать за других незнакомых людей. И пока я машинально следила глазами, как щетки ходят по переднему стеклу, разгоняя потоки воды, я вспомнила другую встречу в одном селе в жудеце Дымбовица несколько дней назад, когда один старый крестьянин поднялся с места на собрании в бывшем культурном центре (сейчас наполовину дискотека, на четверть мини-маркет) и, кстати, уважительно начав с *добро пожаловать*, обратился прямо ко мне:

— Госпожа Бландиана, мы рады, что вы приехали в наше село, потому как мы вас давно знаем, с тех пор как услышали про вас по "Свободной Европе", и знаем, что вас изучают дети в школе, но господ, с которыми вы приехали к нам, мы не знаем. Ежели вы скажете голосовать за них, мы проголосуем, потому как вам мы верим, но ежели они не сдержат слова, мы с вас спросим, почему они его не сдержали, потому как их мы не знаем. До сих пор-то мы голосовали за господина Илиеску и верили ему, а он нам такое измывательство устроил... И откуда нам знать, может, нам такое же устроят и те, что с вами?

После чего он сел на место, ожидая ответа. Установилось молчание, которое нельзя было проигнорировать, и все головы повернулись ко мне. Я, в свою очередь, посмотрела на тех, рядом с которыми сидела: я знала только нескольких из них, тех, с кем приехала из Бухареста. И, по-моему, я впервые внимательно поглядела на них, как впервые была вынуждена задуматься, что я здесь делаю. Кандидатом был бывший политзаключенный, историк по профессии. Мы встретились глазами, и я поднялась на ноги. Я начала с того, что призналась в открытии, сделанном в ту минуту: я никогда так категорически не думала о своем участии в предвыборной кампании, не думала, что мне придется подписывать своим именем списки кандидатов и что я тоже не знаю всех, с кем сижу сейчас за столом, покрытым красным холстом, уцелевшим, вероятно, от партийных собраний периода до 89-го. Но существенное отличие между разными персонажами, которые приходят, чтобы сесть за этот стол и набирать голоса, состоит не в разных обещаниях — возможно, крайне похожих друг на друга, — которые они дают по этому случаю, и не в одних и тех же словах — демократия, благосостояние, перемены, истина, правосудие, — которые произносят все, но в качестве, в биографиях этих людей. По-разному можно верить быв-

шему партийному активисту, который был вынужден лгать, подольщаться, рапортовать о вымышленном урожае с гектара, а теперь выступает в поддержку идей, ранее им отвергаемых, и бывшему политзаключенному, который предпочел сесть в тюрьму, нежели от своих идей отречься. И кончила тем, что назвала справедливой мысль — надо отвечать за тех, за кого своим присутствием я ставлю подпись.

Но в то темное утро, пока я следила за маниакальным движением щеток по переднему стеклу, припомнившийся мне эпизод не показался таким однозначным.

Ярмарка скота — это несколько сот квадратных метров клейкой, глубокой грязи, куда сапоги проваливались, как вантузы, и каждый шаг приходилось вытягивать почти с болью. Под моросящим дождем располагались телеги, прицепы, фургоны, лошади, коровы, свиньи, овцы и, разумеется, люди, накрывшиеся полиэтиленовой пленкой, как плащами, или с мешками на головах, прикрывающими от дождя, как монашеские капюшоны. Я смотрела на них, и я смотрела на тех, с кем приехала и кто переходил от одной группы к другой, раздавая буклетики, в которых были напечатаны идеи, превращенные в лозунги, листовки и флажки с ключом[1], портреты Кандидата, которые, намокая под дождем, почти сразу превращались в жалкие тряпочки, и крестьяне стояли, держа их в руках и не зная, что с ними делать. "Это смешно", — подумала я, но в тот же миг подумала, что на этих бумажонках были записаны именно мои идеи, которые не могли воплотиться, иначе как войдя в головы, прикрытые мешками, защищавшими их от дождя. И еще я спросила себя, что бы я отдала десять лет назад, чтобы свободно говорить с крестьянами на такой вот ярмарке, иметь возможность сказать им все, что я думаю, иметь возможность передать им все, во что я верю.

И пока, скользя и спотыкаясь, я с трудом пробиралась к группе, теснящейся вокруг одной телеги с овцами в связке, пока начала говорить, я вдруг сообразила, что меньше чем через неделю буду в Гвадалахаре, в Мексике, на Международном ПЕН-конгрессе в качестве единственного кандидата, предложенного французским и английским ПЕН-центрами для председательства в мировой организации писателей. Что подбавляло абсурда ситуации, причем такого абсурда, когда в нелепость вкраплялись тревожные нюансы.

Еще припоминаю, как горячо защищала, на заседаниях Демократической Конвенции, где представляла Граждан-

1. Символ Румынской демократической конвенции.

ский альянс, решения аргументированные и явно имеющие всеобщий интерес, и, пока я говорила, члены других партий слушали меня бесстрастно, но с некоторым раздражением, нетерпеливо ожидая, когда я закончу, просто-напросто отвергая меня, неколебимые в отвержении. У них были интересы, у меня — только идеи. Я слышала свой голос, звучащий все упрямее и упрямее, и не могла не видеть, одним глазом, со стороны, что я смешна. И все же я не сдалась.

Сейчас я думаю, что тот и другой опыт, при всем их различии, но при равной трудности, был формой не только мазохизма, но и свободы. Что может послужить не только объяснением, но и извинением.

Сегодня, когда я смотрю по телевизору политическую жизнь и борьбу, наблюдая персонажей таких низких и грязных, что о них можно испачкаться, просто следя взглядом, при всем отвращении и презрении, которые они внушают, и при том ужасающем в своей очевидности факте, что от них зависит судьба страны, единственное мое утешение — в том, что все эти люди действуют за пределами моего мира, что я не знаю лично никого из них, что не могу на них повлиять, но и не отвечаю ни за кого из них. А то обстоятельство, что существовал в моей жизни период, когда я верила, что все это можно изменить и что за эти изменения я могу чем-то пожертвовать в моей судьбе, кажется мне не только нелепым и глупым, но и просто-напросто постыдным. Не о своей наивности я сожалею, но о вовлеченности в мир, чье прикосновение меня загрязняло, и я осознавала, что загрязняет, но считала это необходимой жертвой. Эту вовлеченность я ощущаю и теперь, почти два десятилетия спустя, как признак деградации.

...И снова я вспоминаю долгие заседания Демократической конвенции, где я наблюдала за ораторами, когда они говорили. Их было две, абсолютно разных, категории: бывшие политзаключенные и члены их партий, молодые. Они существенно отличались не только возрастом, но и речью, построением фраз, даже дикцией, степенью культуры неподчеркнутой, почти подсознательной. Было видно, что у стариков — хорошая школа, у молодежи школа была почти не видна. Забавно было смотреть на одного, сделавшего себе вскоре взрывную политическую карьеру, он через каждые несколько слов полемики презрительно бросал: “Ну, это поэзия”, уничтожая противника сим порочащим словом. Мое присутствие, как автора стихов, его не смущало, вероятно, он даже не задумывался, а может ли поэзия быть чем-то постыдным. Впрочем, и другой участник дискуссии, архитек-

тор по профессии и будущий магнат, обронил, когда я победила в словесном поединке: “Так мне и надо, коли взялся обсуждать политику с поэтессой”...

Было очевидно, что мне не место в этом внекультурном мире, запущенном в ход механизмами, которые меня отталкивали, механизмами власти. И все же я не отступала, потому что не позволяла себе согласиться с мыслью, что мир нельзя изменить. И это упрямство, которое сейчас кажется мне нелепым, тогда казалось мне почти героизмом. Впрочем, это не в первый раз, что я открываю трагическое семя, кроящееся в сердцевине героизма.

“*Проекты на прошлое*”, *история о цензуре*

Я думаю, что если бы я задалась такой целью, то могла бы написать целую книгу о публикациях каждого из сборников, вышедших у меня до 90 года. И хотя тема везде была бы одна — попытка, в конце концов успешная, обойти цензуру или проскользнуть у нее под носом, — я убеждена, что книга не вышла бы монотонной, поскольку и фантазия бдительности, и изворотливость ее жертв почти не знали границ.

Я выбрала историю о сборнике фантастических новелл “Проекты на прошлое” не потому только, что она была сложнее и, в некотором роде, сенсационнее, чем другие, но и потому, что это повесть не просто об одном случае цензуры, но повесть о цензуре вообще.

Я меньше помню историю написания книги, чем историю ее публикации. Написание вспоминается мне только как долгое состояние блаженства, когда я месяц за месяцем садилась за стол по утрам, читала последние полстранички, написанные накануне вечером, и начинала писать без страха, что не буду знать (я и вправду не знала), куда повернет сюжет, без той неуверенности, что давали мне всегда стихи, которые не становились моими только в силу того, что я их писала (должно было пройти время, чтобы, перечитывая, я выучивала их наизусть, и при каждом новом чтении с новым удивлением открывала почти незнакомые смыслы — только тогда уходило чувство, что они мне дарованы, и я могла притязать на их авторство).

Я вспоминаю этот по-настоящему счастливый период своей жизни, период написания фантастических новелл, как момент, с которого я начала чувствовать себя профессиональным писателем, персонажем, который сам задумывает и

выстраивает свои страницы, а не приемником, который способен улавливать чудо непонятных сигналов, ищущее прибежища в словах. Это не означает, что одна новелла, например, не была записью моего сна tale quale. Я и сейчас помню, как проснулась в экзальтации и начала говорить, еще не встав с постели, как будто мне надо было передать послание, которое я боялась забыть, но Р. не стал слушать, принес мне бумагу и ручку и сказал “пиши, я узнаю, что тебе приснилось, когда прочту”, и я начала писать, не торопясь и не прерываясь, сидя в шезлонге и давая листкам падать в траву, пока не закончила писать рассказ, последние страницы были почти неразборчивы, не только потому что свет убывал, смеркалось, но и потому что рука устала выводить слова. Прошло 11 часов. И когда я остановилась, мне показалось, что я только что проснулась. Новелла должна была называться, не без связи с обстоятельством, повлиявшим на ее появление, “Имитация кошмара”. Другие же новеллы, напротив, соскальзывающие в фантастику после первых абзацев, родились из какого-то зерна не только реалистического, но и чисто документального. Арест целой свадьбы, которым начинаются “Проекты на прошлое”, произошел на самом дéле в ту ужасную ночь на Троицын день 1951 года, а случай перемещения церкви в селе Субпятра я нашла в одной из историй о горах Апусени. Но не это важно, важно то, что я закончила эту книгу с чувством, что она мне принадлежит и, более того, что она меня выражает в большей мере, чем другие, и в то же время — с мучительным чувством унижения, оттого что надежды на публикацию почти нет. Именно поэтому, когда я отнесла рукопись, как всегда, в “Картя Ромыняскэ” и стала ждать вердикта, я была глубоко благодарна всем тем, кто — от редактора книги до директора издательства — подписали одобрение публикации, отослав книгу на высшие ступени, где она затерялась в непроницаемых тучах цензуры. И именно поэтому я не поверила себе, когда через некоторое время, не помню, сколь долгое, пришел ответ с пресловутым и желанным штампом **П**, отпечатанным на каждой странице.

Здесь мне, вероятно, надо остановиться, чтобы попробовать объяснить, и себе в том числе, некоторые нюансы.

Первое объяснение, которое я могу дать сейчас, как и тогда, — не все (но сколькие?) из тех, что подписали одобрение, читали книгу. Рецензия, поданная вначале, с самого низового уровня, от редактора, составленная нарочито банально, деревянным языком, усыпляющим бдительность, об отражении красот нашей родины, убедительно подсказывала, что книга серая, по крайней мере, по тематике, и, возможно, по-

зволила подписать ее, не читая, как заведующему отделом, так и директору издательства. А директором издательства был Марин Преда. Далее, как я предполагаю, на рукопись в сопровождении рецензии из *армированного бетона*, как тогда говорили, и с тремя-четырьмя подписями, среди коих и подпись Преды, смотрели без придирок, и она переходила со ступени на ступень почти формально.

Я никогда не знала, сколько ступеней у цензуры, ни до 1977 года, когда она называлась дирекцией прессы, ни позже, когда легально ее больше не существовало, а оставался не облеченный в форму монстр, как ядовитый туман, по неосторожности приблизясь к которому, ты невольно и безнадежно его вдыхал. Я знала только ступени внутри издательств, с предназначением быть барьерами не только эстетическими, но и идеологическими, но они — по крайней мере, в случае с "Картя Ромыняскэ" — были населены писателями, которым самим, как авторам собственных книг, надо было защищаться от цензуры. Таким образом, как ни странно, притом что все были румыны, возникала солидарность, которая, может быть, была просто сообщничеством, однако, случалось, не только действовала эффективно, но и предлагала — мне, во всяком случае, — точку поддержки и сопротивления, средство против безнадежности и депрессии. Не то что все было прозрачно и что редактор, прикидываясь дураком и рискуя, когда писал занудливые и клишированные под лозунги рецензии, объяснял автору, зачем он это делает. Нет, все действовали молчком, не существовало даже знака наподобие рыбы, как у христиан древности. Было только чувство, что, если не хочешь сойти с ума, надо противиться безумию всеми подручными средствами. Что иногда помогало, иногда нет. Потому что никогда не было известно, как будут реагировать те, что вне поля нашего зрения. Нужна была и удача. И мне везло до определенного момента. Я говорю, конечно, только о судьбе этой книги. Хорошо помню, что мне не верилось в такую большую удачу. Я радовалась гораздо сильнее, чем какой-либо другой своей книге, которая получила визу, может быть, потому что тут ждала ее меньше всего. Я так радовалась, что потеряла обычный контроль над жестами, позволила себе ослабить оборону, которую всю жизнь старалась, по мере сил, держать. Вот в этот миг удача от меня и отвернулась. Конец первого акта.

Конкретно речь идет о том, что журнал "Вяца Ромыняскэ" попросил у меня что-нибудь для публикации, "цикл стихов, если можно". А я ответила, что у меня нет нового цикла стихов (он был, но без всяких шансов на публикацию, я знала, а

после большого скандала со стихами из “Амфитеатру” мне казалось, что не к месту устраивать эксперименты). “Но я могла бы дать новеллу, — сказала я неосторожно, — она только что пошла в типографию в сборнике фантастических рассказов, и ни один не опубликован”. И, не слишком раздумывая, выбрала “Птицу потребительскую”. В качестве продолжения: через недолгое время руководству “Вяца Ромыняскэ” объявили, что типографщики отказываются набирать мою враждебную и полную клеветы в адрес нашей социалистической жизни новеллу. Напуганный главный редактор попробовал спасти положение дел и закрыть дискуссию, заявив, что речь идет о рассказе, который входит в сборник, в “Картя Ромыняскэ”, он уже отдан в типографию и имеет все визы для публикации. В результате был заблокирован и весь сборник.

Более двух десятилетий спустя, когда шахтеров призвали против Университетской площади, мне выпало несколько дней странного чувства дежавю, которым я была одержима, не в силах его определить. Мне казалось, что я переживала когда-то нечто подобное, мне казалось, что не в первый раз я сталкиваюсь с таким типом манипуляции. И вдруг я вспомнила: типографщики! Типографщики, изобретенные в качестве заменителя цензуры, которой больше не существовало как институции, а с позиций закона не существовало вообще. Тот же тип противопоставления одной социальной категории другой, создающий миф разногласия, которого на самом деле не было. Различие состояло в том, что тогда выдумка казалась мне менее убедительной, потому что каждый раз, как я попадала в типографию, я испытывала гордость и солидарность, когда наборщики останавливали меня сказать, что им понравилась такая-то страница, которую они набирали — литеру за свинцовой литерой. Схожесть ситуации заставила меня написать — еще когда я не знала обстоятельств и деталей минериады[1] июня 1990-го — что шахтеры — жертвы минериады, по крайней мере, в той же степени, в какой мы, потому что нам выпало только подвергнуться репрессиям, тогда как ими манипулировали, чтобы репрессии осуществить. Я думала о масштабной манипуляции, о чудовищной социальной инженерии, которая превращала простых и беззащитных, с идеологической и интеллектуальной точек зрения, людей в

1. Минериада (miner — по-румынски шахтер) — разгон с помощью шахтеров большого митинга против диктатуры и за создание правового государства. Митинг продолжался 50 дней в мае—июне 1990-го на Университетской площади Бухареста.

бессознательные орудия ненависти, природы которой они не понимали, но которая вбирала их неудовольствие и обостряла их ярость. Шахтеры ли, типографщики ли — все они были заведомо скомпрометированы употреблением имени их профессии в злокозненных целях, о которых они не подозревали.

Когда я узнала историю с типографщиками и блокировкой книги, я молниеносно перешла от одного состояния к другому: на миг мне показалось, что это нормально, что я, в общем-то, всегда знала, что книга эта не сможет появиться, и сразу затем — бессильный гнев, направленный и против себя самой, вздумавшей испытать удачу, натянувшей струну больше, чем она позволяла, что разрешило мне ненадолго вести себя естественно, не думая о последствиях, забыв про осторожность. Конец второго акта.

Затем, в декабре 1981 года, на адрес Союза писателей пришло письмо из Венского университета, которым я уведомлялась, что мне присудили премию Гердера и что церемония вручения состоится через шесть месяцев, 12 мая 1982 года.

А если конкретней: я возвращалась от мамы по улице Бузешти, стоял день грязной зимы, какая может быть только в окрестностях Северного вокзала, я спешила домой, когда меня окликнули с той стороны трамвайной линии. Это была чиновница из иностранного отдела Союза писателей, она пропустила машину и, перейдя ко мне, сказала, что меня уведомили письмом о получении премии Гердера. Я так удивилась, что не спросила, откуда она знает содержание письма, если оно адресовано мне. Она попросила зайти взять письмо и предупредила, что надо написать свое согласие и благодарности. Я была настолько ошарашена, что единственное, что мне пришло в голову, — это спросить, как я могла получить премию, если книга не вышла, как будто только за нее меня и могли премировать. Впрочем, все казалось мне неуместным и странным, премия Гердера, хотя ее получил и Никита Стэнеску, была, по мне, премией для стариков, премией для Аргези, для Филиппиде. Так или иначе, удивление намного превосходило радость, а радость не могла по интенсивности сравниться с чувством катастрофы от блокировки книги.

Следующие полгода прошли скорее под знаком этого поражения, чем под знаком успеха, тем более что успех становился все нереальнее, расплывчатее, даже сомнительнее. Я, правда, переписывалась с ректоратом Венского университета, и даже появилось несколько кратких объявлений и заметок, но чем ближе становился месяц май, тем больше таяла вероятность, что я получу выездную визу из страны. В какой-то

момент я была настолько не уверена, что попаду в Вену, что отклонила предложение говорить на церемонии от имени лауреатов в качестве самого молодого лауреата из истории премии. Лет через двадцать пять я случайно узнала, что сохранила еще этот странный статус, так что мое впечатление о том, что это была премия для завершенных судеб, куда я странным образом угодила, оказалось не таким уж абсурдным.

Впрочем, когда я в последнюю минуту все же попала в Вену (а эпизод отъезда в Вену относится к другой истории, которую мне еще надо будет написать), меня все время путали со стипендиатами, которых лауреаты должны были представлять, и мне приходилось объяснять, наполовину польщенной, наполовину смущенной, что вообще-то я сама — лауреат премии. Потом, когда все кончилось и мы вернулись в отель, я нашла письмо, которым меня известили, что возобновлена печать "Проектов на прошлое" и до моего возвращения домой книга будет уже в магазинах. Как бы это ни показалось странным, если надо было бы выбрать момент, который в хронологии моей памяти называется "Премия Гердера", это был бы не момент, когда я узнала новость о ее присуждении мне, и не барочный и торжественный момент церемонии, а именно весть о разблокировке книги, давшая мне наконец право порадоваться успеху. Конец третьего акта.

Эпилог. Нет, эпилог — не то. Потому что больше ничего не случилось, кроме того, что эта книга стала наиболее переводимой из моей прозы. И все же я хочу кое-что добавить. Я сказала вначале, что история отношений с цензурой этой книги есть в своем роде история цензуры вообще. Не говоря уже о том, что извивы произошедшего представляют собой нечто вроде диаграммы функционирования самого тонкого и специфического из механизмов подавления — закручивания и раскручивания гаек, этот событийный ряд охватывает почти весь инвентарь методов, используемых против свободы выражения, но также и методов, с помощью которых, в определенных условиях, им можно было противостоять. Начну с последних. Первая часть, получение командой "Картя Ромыняскэ" визы на публикацию книги — волнующий момент, означающий, что, когда люди в состоянии сотрудничать, солидаризоваться, вступать в заговор против лжи, рисковать, быть самими собой, это может застопорить механизмы зла. Нужна была, несомненно, и толика удачи, но прежде всего нужны были чуткость и способность понять, что риск — одна из координат определения интеллектуала. Эта солидарность в принятии на себя риска, которую дали мне почувствовать коллеги из "Картя Ромыняскэ", эквивалентна

по простоте и эффективности действию, которое может иметь знак креста против дьявола. Естественный вопрос, который тут рождается: почему, если такая реакция столь проста и эффективна, она удовлетворилась тем, чтобы быть исключением, и не стала правилом?

Обращение к типографщикам, перенос ответственности — дабы преступить одно из самых важных прав человека — с институций на людей, с палачей на жертв, очень многое говорит не только о методах коммунистической цензуры в Румынии, но и о коварстве и трусости тех, кто осуществлял подавление (не обязательно интеллектуального типа). Впрочем, эта манипуляция с переносом есть перверсивное выражение ненависти к интеллектуалам, ненависти, проистекающей из самого ядра идеи равенства и еще из осознания того, что речь идет о постыдном деянии, о котором нельзя заявлять во всеуслышание, которое приличнее закамуфлировать под волю масс. Правда, в тени институции, скрывавшейся за волей масс, были обычно зависть, ревность, комплексы неполноценности людей из плоти и нервов, которые заботились о том, чтобы выявить проявления свободы, удачливости, рисковости и просить их запрета. Не знаю, кто включался между одобрением книги в "Картя Ромыняскэ" и выдумкой про типографщиков в "Вяца Ромыняскэ", но зато знаю, что в случае стихов из "Амфитеатру" и в случае книжки для детей речь шла о конкретных доносах, первый происходил из сферы журнала "Сэптэмына", второй из одной библиотеки Сучавского уезда.

Наконец, взять к примеру, как они — после того как возникла премия Гердера, этот Deus ex machina с предназначением усложнить им жизнь, — через шесть месяцев сомнений не посмели помешать мне участвовать в церемонии, где председательствовал, по традиции, президент Австрии. Они трусливо подались назад, отвели войска, лишь бы не услышать мою декларацию о том, что я получила премию, но моя последняя книга не одобрена к печати. Немногое вызывает у меня такую брезгливость, как страх тех, кто выбрали целью карьеры производить страх. И к победам моей жизни я приписываю моменты — их больше, чем может показаться, — когда те, кому не удалось меня испугать, в итоге пугались сами. Потому что они были сильны только до тех пор, пока другие были слабы; в тот момент, когда им оказывалось малейшее сопротивление, они начинали дрожать от страха перед начальниками, которым придется рапортовать о своем провале, так что их страх перед моей победой над ними был больше, чем мой страх перед их победой надо мной, ведь я была единственным получателем своих провалов или успехов, то-

гда как они были только звеном в цепочке, предназначенной связать нас всех, начиная с тех, кто этой цепочкой управлял. Когда я все это уразумела в последующие годы, притом что на горизонте постепенно становилось все темнее и безнадежнее, я поняла, что достаточно один-два раза отказаться написать то, о чем меня просили (в парадное издание или в специальный праздничный номер), чтобы в самое короткое время они удостоверились, что я буду отвечать отказом на все подобные просьбы, а рисковать, получая отказ, они не могли, потому что им было страшно об этом докладывать. В сказках и в глубинах истории — гонцам, которые приносили дурные вести, отрубали голову. Не отголоском ли этому — поведение тех, кто, после получения отказа, завидев меня, опускали глаза и переходили на другую сторону улицы? Так или иначе, я давно, с детства, знала, что, если не хочешь, чтобы тебя покусали собаки, не бойся, что покусают, а позже я прочла даже научное объяснение феномена: страх производит запах, которого мы не чувствуем, а собаки чувствуют, — запах, привлекающий насилие.

Момент публикации "Проектов на прошлое" был для меня полезным поводом изучить механизмы, через колесики которых я должна была пройти, чтобы существовать как писатель, и задуматься, хочу ли я и дальше биться над этой замысловатой задачей по выживанию.

Александр Пумпянский

Тайна пересмешника

Подвиг и преступление Харпер Ли

Этим летом разразилась величайшая сенсация в американской литературе — или скандал. Обнаружен и без промедления опубликован издательством “Харпер Коллинз” новый — или старый — роман всеамериканской любимицы — писательницы Харпер Ли “Пойди поставь сторожа”. Что это — счастливая находка или умелая подстава? Страсти накалились.

Глазами младенца — жуть века

Харпер Ли — автор единственного романа, его название вошло в пословицы — “Убить пересмешника”. И тут второй? Действительно неожиданно, особенно если учесть жизненные обстоятельства. Писательнице 89 лет, и у нее Альцгеймер — бич, с которым еще никто не справился, какую бы длинную и выдающуюся жизнь он или она ни прожили. Американцы помнят, как сраженный тем же недугом Рональд Рейган из последних сил появился на телеэкране, чтобы попрощаться с нацией, прежде чем, как он выразился, “он уйдет в темноту”. Настоящая точка в фантастической карьере актера, чья лучшая роль называлась президент Соединенных Штатов Америки. Харпер Ли уже несколько лет где-то там в сумеречной зоне. Еще раньше ее старшая сестра Элис стала ее опекуном. Осенью прошлого года она умерла, и появился опекун номер два — Тоня Картер из юридической фирмы Элис Ли.

Она-то и обнаружила рукопись — не прошло и двух месяцев. Где? В самом надежном месте — в сейфе. Интересная находка. Почему-то ни сама писательница, ни родная сестра этого не сделали.

“Убить пересмешника” — может быть, самая законченная вещь в американской литературе — так хорошо она сделана. Начать с того, что это “детский роман”, как “Том Сойер” и

© Александр Пумпянский, 2016

"Гекльберри Финн". Только его героиня Джин Луиза Финч — девочка-сорванец, что еще лучше: мальчишек в американской литературе предостаточно, нельзя, чтобы все приключения достались им. Впрочем, и наша героиня платьям и юбкам предпочитает комбинезон и без колебаний лезет в драку. У нее есть старший брат Джереми (Джем) и друг-приятель неразлейвода, чудной Дилл. С ними она делит все приключения.

Приключения начинаются за порогом. В доме по соседству, его никак не обойти по дороге в школу, произошло что-то странное и страшное, в результате чего сын хозяина дома — нелюдима, оказался навечно взаперти. Никто его с той поры не видел и не слышал, эхом молвы от него осталось лишь прозвище — Страшила Рэдли. Человек-невидимка пугает и манит юную троицу. Раскрыть тайну Страшилы Рэдли, вопреки всему и всем установить с ним контакт — задачка, которую, преодолевая смертельный страх, они решают до самой развязки в финале романа.

Детские приключения с их счастливой кардиограммой ужасов и восторгов — внешняя канва романа. И — оболочка мировоззрения. Взрослая жизнь ясными глазами ребенка — безошибочный тест. Все происходящее мы видим глазами девочки, которой нет и девяти лет. А это, по определению, взгляд, еще не искаженный знанием как надо и как не надо, интересами, компромиссами и прочим арсеналом взрослого бытия. Недаром у нее прозвище Скаут Глазастик.

Главное событие в тихом маленьком городке округа Мейкомб, штат Алабама, — надвигающийся судебный процесс. Негр изнасиловал белую девушку. Так гласит обвинение. Так утверждает отец жертвы и сама она. И суд присяжных должен вынести приговор по этому делу, который может быть только "виновен", — смертная казнь, потому что нет на американском Юге страшней преступления, чем негр, посягнувший на белую женщину.

(Маленькая оговорка. Роман "Убить пересмешника" вышел в свет в 1960 году, а действие в нем происходит в 1935 году. Тогда не было еще политкорректных "афроамериканцев". Тогда еще negro — "негр" было нейтральным словом с уничижительным синонимом nigger — "ниггер", "негритос", этими словами и пользуется писательница.)

Исход процесса не вызывал ни малейших сомнений, если бы не адвокат подсудимого Аттикус Финч — отец нашей маленькой героини. Девочка растет без матери, она рано умерла. Зато у нее самый правильный отец в мире. Он не требует от своих детей конформизма и не лжет им. Он и в своей профессиональной жизни ведет себя так, чтобы его детям никогда в

будущем не нашлось повода устыдиться своего отца. Он в высшей степени разумен и доброжелателен, а главное, он всегда поступает по правде.

Назначенный защищать безнадежного черного клиента, он будет его защищать даже ценой собственной репутации среди окружающих. Он сделает все, чтобы с его подзащитным все было по закону. Вот только округа уже вынесла приговор, и, конечно же, находится уйма доброхотов, которые полны решимости привести его в исполнение, не дожидаясь ненужных формальностей. На их пути встает Аттикус Финч. Воскресным вечером, накануне процесса, он идет к зданию тюрьмы, где ждет своей участи заключенный, вытаскивает стул и садится в дверях стражем. Не забыв еще прикрутить лампочку над головой, специально захваченную из дома, чтобы его было хорошо видно в темной ночи.

А тем временем на площадь стекается толпа.

Сюжет классический.

Отступление о судах Линча

“В квартале от всегда полного туристами далласского книгохранилища (оттуда раздались выстрелы, поразившие Джона Кеннеди) стоит старое здание окружного суда, сейчас в нем музей. В 1910 году группа мужчин ворвалась в здание суда. Накинув петлю на шею черного арестанта, обвинявшегося в сексуальном нападении на трехлетнюю белую девочку, они выбросили конец веревки из окна. Толпа за окном вытащила человека на улицу и, протащив несколько кварталов по Мейн-стрит, торжественно повесила его на арке”.

Это не художественный текст. Историк Брайан Стивенс поставил своей задачей исследовать практику судов Линча. После пятилетних изысканий организация, которую он основал в Монтгомери, штат Алабама, составила поименный список из 3595 жертв “расовых террористических линчеваний” в двенадцати штатах американского Юга с 1877 года по 1950-й. Так что то, что я процитировал, — это, можно сказать, один из 3595 задокументированных эпизодов.

“Важно помнить, что повешения, сожжения и расчленения черных американских мужчин, женщин и детей, которые были весьма распространенным явлением в этой стране между Гражданской войной и Второй мировой, часто выливались в публичные мероприятия. Их анонсировали в газетах, они привлекали сотни и тысячи белых зрителей, включая выборных должностных лиц и видных граждан, которые

настолько вовлекались в эти карнавалы смерти, что с нескрываемым удовольствием фотографировались со своими детьми на память на фоне искалеченных черных трупов". Это уже из передовой, которой "Нью-Йорк таймс" откликнулась на доклад исследовательской организации Стивенсона.

Суды Линча не объяснить с помощью таких слов, как бесчеловечность или садизм. Это была такая форма общественного правосознания, так что в некотором смысле они были нормой. Стоит зафиксировать, когда она пошла трещинами, и расистский произвол перестал быть безнаказанным.

...21 марта 1981 года в Мобиле, штат Алабама, организация "Объединенного клана Америки" линчевала девятнадцатилетнего Майкла Дональда. После тщательного расследования ФБР предъявило обвинение в убийстве трем членам клана. Двое получили длительные сроки заключения, а инициатора преступления суд приговорил к смертной казни. 6 июня 1997 года, после того как все возможности апелляции были исчерпаны, приговор был приведен в исполнение. Это был первый случай в Алабаме, когда белый был казнен за преступление против черного.

Он же в некотором роде — последний. Мать линчеванного с помощью адвокатов правозащитной организации предъявила обвинение в организации убийства самому Клану. Жюри присяжных — все белые — признало организацию ответственной за это преступление, в итоге суд постановил, что она должна выплатить 7 миллионов долларов. Во исполнение этого судебного решения обанкротившемуся Клану пришлось продать свою штаб-квартиру, что было равносильно самороспуску.

...А вот и самое свежее лыко в строку. Эту историю рассказала "Нью-Йорк таймс" в конце сентября.

Лэнг Керкленд "вернулась домой" в городок Эллисвилл, штат Миссисипи. Тут она родилась — 107 лет тому назад. Но однажды, когда ей было семь лет — ровно сто лет назад, отец только и успел сказать матери, что ему с другом грозит суд Линча и что они должны бежать немедленно, а ей с детьми следует оставить дом на рассвете утром... В Иллинойсе их встретили враждебные белые толпы. А в Огайо к ним в хижину заявились люди в ку-клукс-клановских балахонах. Их бег остановился лишь в штате Нью-Йорк, где в промышленном Буффало она и прожила весь свой век: вышла замуж за сталевара, родила девятерых детей... Однако еще раньше отец решил вернуться в Миссисипи и на этот раз не миновал суда Линча — говорят, у него была связь с белой женщиной.

Стосемилетнюю местную знаменитость встречал мэр Эллисвилла и национальная пресса.

Такая вот камерная история. Она же история века.

"Линчевания и эра террора определяли географию, политику, экономику и социальные характеристики черного бытия в США на протяжении XX столетия", — обобщает Стивенсон. Сенсационность его исследования заключалась не в открытии темы. Шок производила сама кропотливая попытка облечь стихию самосудов в статистику, а статистику персонализировать — задокументировать то, что было тьмой.

Человек в плазме толпы

Куда раньше Фолкнер так выписал эту тьму:

"...И вдруг, прежде даже чем он успел повернуться на сиденье и поглядеть назад, он почувствовал, что толпа уже ворвалась в переулок и настигает их, еще секунда, миг и вот она сейчас обрушится на них, взметет, подхватив по очереди: сначала дядину машину, потом пикап, потом машину шерифа, как три куриные клетки, потащит за собой, смешав все в одну сплошную, сразу потерявшую смысл и теперь уже ни к чему не годную кучу; и швырнет туда, вниз... Затем, повернувшись на сиденье, он поглядел секунду-другую в заднее окно и действительно увидел не лица, а Лицо, не массу, даже и не мозаику из лиц, а одно Лицо — не алчное, даже и не ненасытное, но просто двигающееся, бесчувственное, лишенное мысли или хотя бы какого бы то ни было побуждения; выражение, не выражающее ничего... лишенное всякого достоинства и даже не внушающее ужаса: просто лицо без шеи, дряблое, осоловелое, повисшее в воздухе, прямо перед ним, тут же, за стеклом заднего окна, и в тот же миг чудовищно страшное..."

Это из "Осквернителя праха".

У Харпер Ли плазма толпы не доходит до фолкнеровской метафизики. У нее иная задача — показать, как много может человек с принципами и идеалами.

В "Убить пересмешника" безоружный человек на стуле останавливает самосуд. Он и его дочь — девятилетняя девочка. Именно она находит слова, неожиданно смутившие толпу готовых линчевателей. Потому что толпа — любая толпа, даже такая, — состоит из отдельных людей, убеждает автор "Убить пересмешника". А каждый человек не безнадежен, у него есть сердце, до которого можно достучаться, если делать это искренне и самозабвенно. Вот девятилетняя девочка и достучалась. И толпа неожиданно рассосалась — в конце концов, можно и подождать до утра. До законного суда.

А на суде дело развалилось.

Несколько корректных вопросов свидетелям и участникам, заданных тихим ровным голосом Аттикуса Финча, и картина происшедшего оказалась совершенно иной. Двадцатипятилетний законопослушный негр Том Робинсон, добропорядочный отец троих детей, не мог изнасиловать девятнадцатилетнюю крепкую девушку хотя бы потому, что у него только одна рука, вторая – результат старой аварии – висит беспомощной плетью.

А синяк, оставшийся под правым глазом "жертвы" – след побоев от некстати подоспевшего отца девушки; он – левша.

Это девушка заманила к себе молодого симпатичного черного мужчину, а когда все пошло не так, оговорила его. Плевать, что негритосу придется заплатить жизнью за ее прихоть.

Исподволь проявляется жуть ее существования.

Семья живет на свалке. Семья – это еще семеро брошенных детей, в школу никто не ходит, ни к чему им эта морока, девушка – старшая, на ней вся эта свора. И отец, который не работает, только пьет и бьет их. А напившись, еще и регулярно насилует дочь. Белая шваль – так это называют на Юге, самое дно, отбросы. Ниже некуда. Ниже – негры, они вообще за чертой.

Суд присяжных единогласно признал Тома Робинсона виновным. Иного в округе Мейкомб, штат Алабама, быть и не могло.

Аттикус Финч напишет апелляцию в расчете на то, что губернатор может изменить меру наказания. Он будет поддерживать дух осужденного и тайно оказывать помощь семье, оставшейся без кормильца. Все напрасно. Потеряв голову от отчаяния, арестант попытается бежать, но куда ему, однорукому, одолеть стену. Вся тюремная стража разрядит в него свои винтовки. Семнадцать пуль останутся в теле ни в чем не повинного черного парня, который всю жизнь старался поступать как лучше. Даже после неправого суда жертве не уйти от суда Линча.

Но Аттикус Финч сделал то, что должен был, и сделал все, что мог.

Круги справедливости

...После взбаламутившего город происшествия жизнь вошла в обычную колею. Никто не вспоминал трагедию, как если бы ее и вовсе не было. В связи с окончанием учебного года в школе устроили представление, где Джин Луизе выпала забавная роль окорока на ярмарке достижений родного штата.

По этому случаю девочке сконструировали балахон неимоверных размеров на металлических пружинах, с узкими прорезями для глаз. То еще сооружение – трудно надеть, но еще трудней из него вылезти. И потому, когда школьное празднество подошло к концу, она так и осталась в образе. И как ни неловко было передвигаться в таком костюме, они с братом так и отправились домой.

Южная ночь – хоть глаза выколи. Подростки уже у заветного дуба, что напротив дома Страшилы Рэдли. Самое время и место, чтобы произошло нечто страшное. И оно происходит.

Кто-то нападает на них в кромешной тьме. Девочка ощущает укол, если б не смехотворный костюм, удар ножа был бы смертельный. В сбившемся балахоне она вообще ничего не видит, только слышит, как брат с кем-то сражается. Потом все стихает.

Когда она приходит в себя, она уже дома. В гостиной отец, врач, шериф и какой-то очень худой незнакомец с бледным лицом. Брат спит в соседней комнате, доктор дал ему снотворного. У него сломана рука. Незнакомец не участвует в разговоре и старается держаться в тени.

Шериф вносит уточнение в эту ночную диспозицию. Там, под дубом, лежит труп. В груди у него торчит кухонный нож. Это тот самый человек со свалки.

На суде присяжные приняли его сторону, но адвокат опозорил его. Весь город слышал, как не раз с того дня он грозился свести счеты. Что-то помешало ему привести свою угрозу в исполнение этой ночью.

В финале романа звучат два монолога – один краше другого.

Негодяй, задумал самое черное дело. И трус, решил отыграться на детях. Но спьяну наткнулся на собственный нож. Это говорит шериф. Я не буду открывать дело, резюмирует он.

Аттикус Финч понимает, что шериф выгораживает его сына. Кто еще мог воткнуть нож в насильника?! Адвокат не может с этим согласиться.

Произошло убийство, дело обязательно должно быть раскрыто. Пусть будет суд. Чтобы никто не мог сказать, что для собственного сына у него другая законность.

Но шериф стоит на своем. Ему все абсолютно ясно. Дело закрыто.

А рядом в темном углу комнаты сидит незнакомец с бледным лицом. Это и есть Страшила Рэдли.

Вот и состоялась долгожданная встреча. Наконец-то он появился на людях – этот затворник, когда не появиться просто не мог. Это он вонзил кухонный нож в ночного татя. И

это его выгораживает шериф, упрямо повторяя свою мантру про пьяницу, который наткнулся на собственный нож.

Подвергнуть несчастного отшельника испытанию публичным судом? Нет, шериф не станет открывать дела. Этой ночью под дубом не было совершено никакого преступления. Наоборот, преступление было предотвращено. Точка.

Все линии романа сошлись в этой точке.

Круг замкнулся. Преступник наказан. Справедливость восторжествовала.

Очень по-американски восторжествовала.

А как же негр Том Робинсон и его трагедийный круг, который так жестко очертила Харпер Ли? Да, таковы нравы в штате Алабама, таков американский Юг. Такова жизнь. Но в этой жизни есть честный шериф и мудрый судья, даже если он ничего не может поделать с судом присяжных, — читай: с общественным мнением. И есть идеальный адвокат Аттикус Финч, который один своей совестью и профессиональной честью искупает все грехи сообщества округа Мейкомб. Не говоря уже о самостоятельной девочке, которой нет еще и девяти лет. Жизнь будет другой, когда подрастет это подлинно независимое, свободное от предрассудков поколение.

Раздвоение сознания у автора "Убить пересмешника" происходит удивительно органично. Может быть, именно эта двойственность, вкупе с замечательным даром рассказчика, и принесла ее роману такой абсолютный успех.

Расизм -- первородный грех американского Юга, далеко не изжитый. Либеральное американское сознание его осуждает и отвергает. При этом национальное сознание привыкло жить с ним, как с исторической данностью. Он не отражается на самооценке общества. Оно хочет верить в превосходство своего образа жизни, несмотря ни на что. Конечно, это признак незрелости, род детского сознания — закрывать глаза на собственные пороки и даже преступления. Детство — такое счастливое состояние, в нем все просто и ясно и добро всегда побеждает зло. Чем противоречивей общественный опыт, чем тяжелей доставшееся историческое бремя, тем больше тянет в благодатное детское забытье. Нам ли не знать этого?

В романе про то, что сама писательница назвала судом Линча по закону, удивительным образом нет отрицательных героев. Старая карга, гарпией впившаяся в брата маленькой героини, наедине с собой ведет неравную героическую битву не на жизнь, а на смерть с кошмарным недугом.

Манерные дамы местного света, конечно, ужас, ужас, ужас, но, в сущности, желают добра. Даже потенциальные линчеватели не безнадежны. Один из присяжных колебался

при вынесении вердикта, а ведь накануне он был на площади перед тюрьмой. Конечно, он тоже проголосовал за смертный приговор невиновному, но ведь он сомневался.

Единственный по-настоящему "дурной" персонаж — человек со свалки. Он "обладал одним лишь преимуществом перед своими ближайшими (черными) соседями: если его долго отмывать дегтярным мылом в очень горячей воде, кожа его становилась белой".

Ну да, в этом обществе есть отбросы, и это действительно безнадежно, это передается по наследству. Социальная критика Харпер Ли, какой мы ее знали, — аристократическая критика. Критика с позиции аристократии духа. У нее безупречно точный глаз, но она так любит этот свой край.

Очень светлое сочетание глубочайшего реализма и романтического идеализма и сделало роман Харпер Ли хрестоматийным.

Отступление в Алабаму: "Бык" Коннор *и пастор* Кинг

Алабама — не самый великий американский штат, но, словно оправдывая свое официальное прозвище Сердце Юга, в середине прошлого XX века он не по чину часто оказывался в центре американских и даже мировых новостей.

1955 год. Невиданный скандал в городе Монтгомери, столице штата. Негритянка Роза Паркс отказалась уступить белой женщине свое место в автобусе. Ее немедленно арестовали. Не помогла ей ссылка на закон о равных правах американских граждан. В ответ черные граждане Монтгомери год бойкотировали услуги общественного транспорта столицы штата. Стихийно возникшую акцию протеста возглавил Мартин Лютер Кинг. Акция завершилась победой: в 1956 году Верховный Суд США обязал городские общественные транспортные компании государства к соблюдению равных гражданских прав. А еще несколькими годами позже был принят закон, запрещавший проявления дискриминации во всех местах общественного пользования (кино, кафе, парках и пр.)

1963–1964–1965 годы. Селма, Бирмингем — все та же Алабама. "Походы свободы", акция "Проект П (Противостояние)", организованная Мартином Лютером Кингом. Памяткой этих событий останется его знаменитое "Письмо из Бирмингемской тюрьмы", а главное — Закон об избирательных правах, внесенный президентом Линдоном Джонсоном в Конгресс США на плечах этих событий и принятый им.

Историческое, эпохальное законодательство Кеннеди–Джонсона, направленное против расовой дискриминации, просто не состоялось бы без штурмов и штормов Алабамы.

А какие типажи на другом конце Противостояния!

В 50-е годы город Бирмингем пресса именовала не иначе как Бомбингем, так часто там раздавались террористические взрывы. 23 года за безопасность города отвечал Юджин Коннор, по прозвищу Бык, главный лозунг которого был "Сегрегация навсегда!"

Впервые о нем заговорили еще в 1938 году, когда он приказал участникам гуманитарной всеамериканской конференции, проходившей в Бирмингеме, "не смешиваться". Тогда в знак протеста Элеонора Рузвельт демонстративно выставила свой стул посреди прохода, разделявшего белых и черных делегатов. Но что для "Быка" Коннора за авторитет – первая леди Америки! В ходе избирательной кампании 1948 года он отправил в кутузку сенатора Глена Тейлора, выдвинутого на пост вице-президента США от Прогрессивной партии. Тейлор намеревался выступить перед Конгрессом южной негритянской молодежи и был немедленно арестован – за нарушение городских законов о сегрегации.

Истинный час Быка наступил именно в противостоянии с Мартином Лютером Кингом. Административно в его ведении были два департамента: пожарный и полицейский. Это, по-видимому, и объясняет его ноу-хау. Против демонстраций мирного неповиновения, в которых участвовало множество детей, он использовал пожарные водометы и срывающихся с поводков полицейских собак. На этом фоне он любил позировать перед прессой. Так он тушил пожар на американском Юге.

"Бык" Коннор выдвигался в губернаторы Алабамы, но неудачно. В отличие от Джорджа Уоллеса, четырежды занимавшего этот пост. Не считая того, что еще на один срок в порядке пересменки Уоллес посадил в губернаторское кресло свою жену – этот велосипед он изобрел гораздо раньше других.

При этом он еще баллотировался на пост президента США, на выборах 1968 года он победил в пяти южных штатах. "Самый влиятельный проигравший" XX столетия в политике США, согласно биографам Дэну Т. Картеру и Стивену Лешеру. А Харпер Ли в "Пойди поставь сторожа" отчеканила свою формулу политического сластолюбца-властолюбца: Two penny despot. Джорджу Уоллесу эта формула – как влитая. Двухгрошовый деспот, власть – дешевка.

Попсовая, опирающаяся на плебс власть. Народ как орава и орево. Демократия, что становится оболочкой диктатуры.

Харпер Ли было с кого писать свои персонажи. Так что вернемся к литературе. И заглянем в кино.

Г*ерой на все времена*

Небывалому успеху “Убить пересмешника” способствовала его кинематографичность. Знаменитый фильм, естественно с тем же гениальным названием, собрал гроздь Оскаров 1982 года. Грегори Пек в роли Аттикуса Финча был неотразим. Его заключительная речь на процессе – один из лучших монологов в судебной фильмографии Голливуда, отмеченной такими шедеврами, как “Нюрнбергский процесс”, “Обезьяний процесс”, “12 рассерженных мужчин”.

“Еще одно, джентльмены, и я заканчиваю. Томас Джефферсон сказал однажды, что все люди созданы свободными и равными; янки и моралисты из вашингтонских департаментов вечно нам об этом твердят. Ныне, в тысяча девятьсот тридцать пятом году, есть люди, которые склонны повторять эти слова к месту и не к месту по любому поводу...

Но в одном отношении в нашей стране все люди равны, есть у нас одно установление, один институт, перед которым все равны – нищий и Рокфеллер, тупица и Эйнштейн, невежда и ректор университета. Институт этот, джентльмены, не что иное, как суд. Все равно, будь то Верховный суд Соединенных Штатов, или самый скромный мировой суд где-нибудь в глуши, или вот этот достопочтенный суд, где вы сейчас заседаете. У наших судов есть недостатки, как у всех человеческих установлений, но суд в нашей стране – великий уравнитель, и перед ним поистине все люди равны.

...Я уверен, джентльмены, что вы беспристрастно рассмотрите показания, которые вы здесь слышали, вынесете решение и вернете обвиняемого его семье.

Бога ради, исполните свой долг!”

Потрясающая речь! Особенно если учесть последовавший за ней вердикт присяжных.

Аттикус Финч стал не просто нарицательным именем. Адвокатская гильдия США признала его своим эталоном, как если бы это был человек с реальной практикой. Можно сказать, что это образ, изваянный из камня, подобно барельефам президентов на горе Рашмор.

И тут появляется “Go set a watchman”. Watchman – сторож, страж, часовой. “Пойди поставь сторожа”.

Тоже недурное название, между прочим. Взято из библейского стиха: “Ибо так сказал мне Господь: Пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит” (Книга пророка Исаии. 21:6). Устами мудрого дяди-резонера автор расшифровывает строку так: “Остров каждого человека, сторож каждого человека – его сознание”. Остров? Автор, кажется, посягает на самого Джона Донна с Хемингуэем впридачу – на сакраментальное: “Ни один человек не остров, а часть материка”. “Нет такой вещи, как коллективное сознание”, – въедливо расшифровывает пророчествующий дядя.

Человек – это суверенное сознание, и оно всегда должно быть на страже, стоять на часах – Харпер Ли не боится показаться назидательной. Все худшее в обществе начинается с потери человеком лица. Дальше – толпа и все что угодно, вплоть до исступленной вакханалии судов Линча и других карнавалов смерти.

Оговоримся сразу, все сомнения насчет фальшивомонетничества романа “Пойди поставь сторожа” надо отмести.

Та же сокровенная интонация рассказчика, та же роскошная переливчатая словесная ворожба. От повествования не оторваться. Внутренние монологи героини искрятся юмором, а диалоги полны страсти. Это Харпер Ли, никаких сомнений, – ее огонь и живая вода. Тот же Мейкомб, и те же герои. Но что это – самостоятельная вещь или подступы к “Убить пересмешника”, стартовая попытка?

Теперь, когда это напечатано, мы можем это прочесть.

Место действия то же, но не время. Девятилетняя героиня “Убить пересмешника” давно выросла, сейчас Джин Луиза Финч – молодая взрослая женщина – едет домой в Мейкомб из Нью-Йорка. Героиня романа возвращения с удовлетворением отмечает лес телевизионных антенн, поднявшийся над хижинами дяди Тома – негритянскими жилищами. И она с грустью напоминает себе, что отцу уже 72 года. Аттикус Финч, с которым мы знакомы, любил называть себя стариком, но это был прием. Он исключил для себя аргументы силы и распрощался с оружием, но окружающим это легче принять, услышав ссылку на возраст. (Хотя когда пришла нужда, выяснилось, что он был первый стрелок – какой же без этого американский герой!)

Зафиксируем эти две детали. Действие романа “Пойди поставь сторожа” сдвинуто от времени “Убить пересмешника” на двадцать лет позже. При этом он был написан на три года

раньше. Эта двойная смена часовых поясов и представляет главную интригу.

Центральное событие “Убить пересмешника” — дело об изнасиловании негром белой — присутствует и в “Пойди поставь сторожа”. Процитирую это место — полностью.

“Джентльмены! Если в этом мире есть один лозунг, в который я верю, то это — равенство для всех, особые привилегии — никому!”

Аттикус Финч редко брался за уголовные дела, он не любил уголовное право. Единственная причина, по которой он взялся за это дело, заключалась в том, что он знал, что его клиент не виновен в том, в чем его обвиняют. И он просто не мог себе позволить, чтобы черный мальчишка попал в тюрьму только потому, что ему назначили защитника, которому все равно. Мальчишка попал к нему через старую служанку Кэлпурнию, он рассказал ему свою историю, и он сказал правду. Правда была отвратительной.

Поставив карьеру на кон, Аттикус Финч использовал все слабости небрежно составленного обвинения, убедительно выступил перед жюри присяжных и добился того, чего в округе Мейкомб не было никогда ни до, ни после: цветного подростка, обвинявшегося в изнасиловании, оправдали. Главным свидетелем обвинения была белая девочка.

У Аттикуса Финча было две зацепки. Хотя белой девочке было 14 лет, обвинение его подзащитному было не в преднамеренном изнасиловании, и потому Аттикус Финч мог и доказал секс по согласию. Согласие тут было легче доказать, чем обычно в таких случаях. У подростка была одна рука, второй он лишился в результате несчастного случая на лесопилке.

Четыре абзаца.

Тот же сюжет, что и в “Пересмешнике”. Но прежде всего это тот же Аттикус Финч — бескомпромиссный адвокат, человек — право. Есть, впрочем, и некоторые расхождения: возраст участников, например. Но главное в значимости сюжета. То, что в “Стороже” было штрихом к портрету Аттикуса Финча — не более того, в “Пересмешнике” выросло в смысловой узел романа. И поменялся вердикт присяжных — на противоположный.

Итак, был один процесс, стало два. На самом деле их три. Потому что — и тут хроникер подсказывает литературоведу — было еще настоящее судебное действо именно такого содержания, которое потрясло Алабаму в 50-е годы. А это дает нам уникальную возможность заглянуть уже в подкорку писательского процесса, увидеть, как факты питают литературную фантазию и как земная реальность преображается в дух или, если хотите, в высшую реальность.

В первый роман “Пойди поставь сторожа” молодая писательница вставляет сюжет, условно говоря, прямо из прессы. Так все и было на самом деле: участники события – подростки, адвокат оказался на высоте и фантастика – черный обвиняемый получил оправдание. Но сюжет не отпускает молодую писательницу, она его осмысляет и переосмысляет. Пока не приходит к выводу: Аттикус Финч будет выигрывать читательский суд всех поколений, но он не может выиграть суд присяжных в округе Мейкомб. Статистически, реалистически, типически. Такова социальная правда. Одно фактическое исключение не может ее отменить. Между реальностью и идеалом, который предъявляет нам в своей речи на суде Аттикус Финч, трагический роковой разрыв. И в “Убить пересмешника” Харпер Ли уже пишет трагедию, которую доводит до уровня притчи.

К слову сказать, в фильме, который, конечно же, уступает роману – он менее глубок, более сентиментален – сценаристы ослабили трагический исход. Там гибель Тома Робинсона дана скороговоркой, и происходит она почти ненароком. Шериф рассказывает Аттикусу Финчу и нам, зрителям, что хотел лишь ранить его, но ошибся... Но 27 пуль в теле Робинсона – это не ненароком. Это сам рок.

Разоблачение Аттикуса Финча

Но если это тот же Аттикус Финч, то почему он другой? Ну да, возраст, и его так скрючил ревматический артрит, что он, кажется, стал меньше ростом. Если бы только этим все ограничилось. Но молодую женщину ждет куда более шокирующее открытие. Ее родной город Мейкомб до краев набит предрассудками и ненавистью. И ее отец – великий, единственный и безупречный – оказывается, разделяет все это в полной мере. В “Пересмешнике” маленькая героиня пробирается в зал суда и с восторгом наблюдает за своим отцом в час его величия. В “Стороже” молодая женщина случайно попадает на одиозное действо – оно происходит в том же зале суда, где она, не веря своим ушам, слышит полный набор ку-клукс-клановских речевок, и председательствует на этом позорном сборище Аттикус Финч. Катастрофа, крушение идеала, предательство.

Трус, сноб и тиран! – бросает она ему в лицо. И это еще цветочки. В сердцах она сравнивает его с Гитлером и Сталиным. Нет, это точно не Аттикус Финч из “Убить пересмешника”.

“Пойди поставь сторожа” – другой роман. Сменились герои второго плана. Неугомонная натура Дилла унесла его ку-

да-то далеко из Мейкомба, поясняет автор, — на самом деле, долой с наших глаз. А с Джемом писательница поступила и вовсе безжалостно: он у нее гибнет за кадром. Старший брат и неразлучный друг — центральные фигуры в мире детства. А в мире чувств молодой женщины иные приоритеты. И появляется другой партнер.

Генри (Хэнк) Клинтон — сотрудник отца в его адвокатской конторе и в некотором роде его воспитанник. Он тоже родом из ее детства (ничего, что в "Убить пересмешника" он отсутствует), но другого рода-племени — он из "голытьбы", что определяет его мироощущение. У них роман со школы.

Но любит ли она его, так ли любит, сможет ли быть с ним вместе? Психология любви, ее права́ и обязанности, степени и ступени — вот что мучительно волнует героиню и пристально исследует автор.

Глазастик давно выросла. Вспышками автор возвращает нас в разные мгновения ее детства-отрочества. В одном девочке открывается ужасная истина: от поцелуя беременеют... В другом, уже пятнадцатилетняя Скаут, словно Наташа Ростова, на школьном балу. Но в миг торжества случается непоправимое, она теряет фальшивый бюстгальтер, надетый, чтобы подправить девчоночью фигуру... События эти приводят к таким драматическим, трагическим, комическим последствиям, что... Но ни слова больше, преступление — портить читателю впечатление от прочтения.

Скажу только, что эти две сцены созревания маленькой героини — истинные жемчужины. Немыслимое дело, но в романе "Убить пересмешника" им не нашлось места. Это другой роман.

В "Пойди поставь сторожа" нет и капли детской готики, зато он полон политической злобы дня. Вот в накаленных, словно вольтова дуга, разговорах дочери с отцом промелькнуло "дело Олджера Хисса"... Сегодня и в Америке мало кто опознает это имя, а в 50-е годы прошлого века это было имя-пароль. Олджер Хисс — молодой карьерный дипломат, которого восходящая звезда республиканской партии Ричард Никсон и сам сена́тор Маккарти обвинили в связях с коммунистами. С обвинений, что в госдепе окопались коммунисты, собственно и началось всеамериканское бешенство маккартизма, перешедшее потом на Голливуд, академические круги, далее везде. И процесс над Олджером Хиссом был первым мучительным инквизиционным актом, расколовшим американскую интеллигенцию на два непримиримых стана. Адвокат Аттикус Финч не может не высказаться о качестве этого процесса. Автор тоже.

Или тетушка поучает Джин Луизу: “Мы, Финчи, не женимся на отпрысках красношеей белой голытьбы”. Каков, однако, язык у благородной дамы! На самом деле, общепринятый. “Красные шеи” (след постоянного пребывания под открытым солнцем) — люди физического труда. Дополнительная краска к понятию “белой голи”. В “Пересмешнике” “белая шваль” точечно применяется к одному-единственному герою — к персонажу со свалки, а это не столько даже человек дна, сколько подонок. На самом деле “белая шваль” не моральная, а классовая характеристика, так она и вошла в язык американского Юга. В нем феодальное высокомерие ко всему социальному низу. (Самым точным переводом было бы слово “чернь”, но оно тут неприменимо.)

“...Внизу на грубых скамьях сидели не только большая часть голытьбы округа Мейкомб, но и самые респектабельные люди округа”. Это про то самое городское собрание, что вывернуло Джин Луизу наизнанку.

У автора “Сторожа” пронзительный взгляд. И диккенсовская палитра!

Вот, “словно большой серый водянистый слизень”, воссе-дает некий Уильям Уиллоуби. “Каждый округ глубокого Юга имел своего Уиллоуби.

Неотличимые один от другого, они составляли единую категорию, именуемую ОН, Великий Большой Человек, Маленький Человек — с поправкой на мелкие местные особенности. ОН, или как там его называли его подвластные, занимал главный административный пост в своем округе — обычно это был шериф, судья или нотариус... Куда бы Уиллоуби ни перемещался, за ним следовал тесный круг ничего собой не представляющих, в большинстве негативных личностей, известных как Околосудебная Свора — типажи, которых Уиллоуби расставлял на разные окружные и муниципальные посты, чтобы они беспрекословно исполняли все, что им скажут”. Это ему автор адресует: “Двухгрошовый тиран”...

“Пойди поставь сторожа” — остро социальный роман на главную для американского Юга тему. Он про расизм и сегрегацию — в лоб и наотмашь.

Это то, что бесконечно обсуждает 29-летняя Джин Луиза Финч, вернувшаяся из Нью-Йорка в родной Мейкомб, сама с собой, в яростных схватках с отцом и в дискуссиях с дядей, которому автор выделила роль мудрого резонера.

Это то, отчего у нее происходит сшибка сознания, душевный переворот. И не один.

Дочь клеймит отца последними словами, а он и не сопротивляется. “Гитлер?” — переспрашивает он с улыбкой.

Позже он скажет, что в этот момент гордился ею. Дочь отстаивает свои взгляды и идет до конца! Значит, он правильно ее воспитал.

Джин Луиза погорячилась со своими радикальными выводами.

Не стоило ей отождествлять отца с пещерным персонажем, что брызжет ненавистью на собрании. И, разъясняет дядя, не стоило записывать всю округу в ку-клукс-клан. Вот этот диалог.

“— Боже мой, детка, люди не согласны с кланом, но они, безусловно, не будут мешать им выходить на улицу со своими плакатами и выставлять себя идиотами на публике.

— Но они избивают людей, дядя Джек!

— А это совсем другое дело, и это как раз та вещь, которую ты упустила про своего отца... Клан может устраивать свои парады, сколько угодно, но как только он перейдет к бомбам и к избиениям, знаешь, кто первый станет у них на пути?

— Да, сэр.

— Закон — вот чем он живет. Он сделает все возможное, чтобы не допустить, чтобы кто-то подвергал избиениям кого-то еще. А потом он развернется на 180 градусов и постарается остановить хоть само федеральное правительство... Запомни это, он всегда будет поступать в соответствии с буквой и духом закона. Так он живет”.

И все-таки он тот же — Аттикус Финч! Тот же и другой. Фигура более приземленная и сложная. Как и сама эта всеамериканская проблема, которая не сводится к черно-белым оценкам и не имеет простых решений. Это не идеальный герой “Убить пересмешника”, не воплощение абстрактной справедливости, на нем родимые пятна своего края. Он человек своего времени и места.

Ее *подвиг и преступление*

В своем первом романе “Пойди поставь сторожа” начинающая, никому не известная писательница нарисовала поразительно точный, по-своему исчерпывающий портрет — не одного человека, но всего южного общества. Доведенное до белого каления коллективное белое сознание она воспроизвела с бездной социологических подробностей и нюансов, как никто до нее, с абсолютной психологической убедительностью и с такой страстью приятия-отвержения, любви-ненависти к своему краю, что...

Что симпатизирующие ей редакторы сказали: “Это невозможно!” Даже если вслух произнесли другое: дескать, нехудожественно, прямолинейно, это пока проба пера, ученическая работа...

Другой причины, по которой роман не увидел свет, просто не может быть. А он его не увидел — опубликован не был.

И молодая писательница, без пяти минут классик американской литературы, о чем, впрочем, никто еще не знал, включая ее саму, приняла этот приговор — а что ей оставалось делать? И села его переписывать. То, что она совершила, было подвигом, хотя, быть может, и преступлением.

Она безжалостно отсекла взрослую героиню. Резать пришлось по живому. Маршрут героини “Пойди поставь сторожа” один в один повторяет жизненный путь автора. Детство и юность Харпер Ли прошли в городке Монровилль в Алабаме в доме отца-юриста, откуда она поехала в Нью-Йорк, откуда она постоянно возвращалась в Монровилль. Наделив героиню своим мироощущением, она одарила ее своими репликами и оценками. Все это она теперь принесла в жертву. Но то, что она оставила свою героиню навсегда ребенком, определило форму нового романа. Ребенку подавай две вещи: сказку и правду. Сочетание сказки и правды — старая формула успеха.

Получился шедевр. “Убить пересмешника” — правда, отточенная до притчи и завернутая в нежную и увлекательную детскую сказку. Но и то, чем она пожертвовала, был шедевр. “Пойди поставь сторожа” — психологический, социологический роман без скидок на детскость героев или социальной среды. Шедевром социально-психологического романа Харпер Ли пожертвовала, чтобы создать и выпустить роман-притчу.

И он триумфально вышел и снискал все лавры.

И только она одна знала, чем оплачены эти лавры. Это была ее тайна, которую она хранила всю жизнь. После этого своего фантастического успеха она не издала ни строчки. Более того, не раз подчеркивала, что не будет писать. Возможно, это и была расплата за ее тайный подвиг-преступление.

Так или иначе, поставлен редчайший эксперимент в литературе. Два романа — сиамские близнецы, безжалостно рассеченные авторским скальпелем, чтобы они не спорили друг с другом. Одного из них автор выпустила в свет — того, которого свет готов был принять, а другого надолго заключила в темноту сейфа, как Страшилу Рэдли, который появится только тогда, когда ему можно будет появиться.

С “Пойди поставь сторожа” это произойдет только сейчас, нынешним летом, и это будет счастливое появление. За

неделю роман разошелся миллионным тиражом. (“Убить пересмешника” вышел сорокамиллионным тиражом суммарно, но у него была фора в 55 лет.)

И по этому роману еще сделают фильм, думаю, долго ждать не придется — он столь же ярко кинематографичен. В роли героини легко представить, скажем, Джейн Фонду или Мерил Стрип. То есть Джейн Фонда или Мерил Стрип замечательно сыграли бы главную героиню, если бы книга вышла сорок, тридцать или двадцать лет назад, а сегодня в Голливуде найдется другая, достойная молодая, актриса. Очень сложный вызов выпадет актеру, избранному на роль Аттикуса Финча. Ему придется не просто конкурировать с Грегори Пеком, ему надо будет вступить в очень тонкую игру и с ним, и с тем идеальным образом — цитировать, ассоциировать, полемизировать. Тем интересней. И он — этот новый фильм — соберет свою порцию “Оскаров”.

Ну а как быть со скандалом, что пылал все лето?

Забудьте про скандал. И про нарушенную волю. И все разговоры про авторские права, они тут ни при чем. По главному промыслу все написанное принадлежит читателю, а не писателю. Рукописи не должны гореть, даже если их бросает в огонь гениальный автор — у гения могут быть мгновения затмения. Да и Харпер Ли вовсе не бросала своего первенца в огонь. Она сделала прямо противоположное — убрала рукопись в сейф. До лучших времен. Знать, они сейчас наступили.

Искусство вечно

Перевод с английского Михаила Загота

С Холгером Хёге, сотрудником кафедры психологии, окружающей среды и культуры Ольденбургского университета имени Карла фон Осецкого (Германия) беседует кандидат филологических наук, главный редактор журнала "Всесвіт", докторант Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины Дмитро Дроздовский.

Дмитро Дроздовский. Уважаемый господин Хёге, расскажите, пожалуйста, как случилось, что Вы стали специалистом в области нейроэстетики?

Холгер Хёге. На самом деле, сейчас я в этой области не работаю. Но зарекаться не стану, область уж больно интересная и может очень обогатить эстетику. Вы можете спросить, почему же я не погружаюсь в работу с головой? Ответ таков: действительно, в суть очень многих явлений легче проникнуть с помощью нейрофизиологических методов, чем с помощью самого глубокого искусствоведческого знания. Для примера возьмем сон, одно из основных физиологических состояний, но — как утверждает Джералд Эделман[1] — никто толком не знает, почему нам необходимо спать каждую ночь. Но если даже такие фундаментальные проблемы до сих пор не решены, значит, на мой взгляд, нейрофизиологию еще рано распространять на самые сложные эмоциональные проявления человека, его мышление и поведение, а именно — на эстетику. Как известно, начало эмпирической эстетике положил в XIX веке Густав Теодор Фехнер[2]. В 1876 году он написал "Введение в эстетику", оно и поныне остается основополагающим трудом, без которого невозможно понять, почему эстетику необходимо исследовать эмпирически и одними размышлениями тут не обойтись. На мой взгляд, такого рода

© Дмитро Дроздовский, 2016
© Михаил Загот. Перевод, 2016

1. Джералд Морис Эделман (1929–2014) — американский иммунолог и нейрофизиолог, нобелиат 1972 г., премия присуждена "за открытия, касающиеся химической структуры антител". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Густав Теодор Фехнер (1801–1887) — немецкий психолог и философ, один из первых экспериментальных психологов, основоположник психофизиологии и психофизики.

методика пока не получила надлежащего распространения. Кстати, сейчас мы занимаемся переводом на английский язык (работа ведется под эгидой Международной ассоциации эмпирической эстетики) вышеупомянутой книги Фехнера, нужно открыть ее миру. Для того чтобы подобные исследования стали объектом широкой дискуссии, предстоит еще сделать очень многое. Обычно философы к эмпирическому подходу относятся с предубеждением, главным образом из-за его ограниченности.

Д. Д. И каковы ваши основные постулаты?

Х. Х. Пожалуй, "постулатов", как таковых, у меня нет, ведь сама по себе наука — это формализованная критика. Но если считать, что научный скептицизм — тоже постулат, тогда другое дело. Но, положим, мы перейдем на другой уровень, и вы спросите, какой методологией я пользуюсь при изучении эстетики, — ответ будет однозначен: самым увлекательным мне представляется эмпирический, количественный подход. Хотя совершенно очевидно, что и качественный подход применять необходимо, поскольку он помогает познанию того же объекта. Но вернемся к нейроэстетике — боюсь, современные технологии допускают лишь поверхностное ее понимание. Хорошо, что можно составить ясную картину того, что происходит в человеческом мозгу, и четко фиксировать физиологические процессы — все это огромное достижение, но *содержание* наших мыслей и чувств, *содержание* восприятия остается "невидимым" для химической или электрической регистрации. Не думаю, что высокие технологии — МРТ и другие — помогут нам в будущем объяснить, почему, например, меняется вкус или чем вызвано предпочтение некоего стиля или жанра. Почему того или иного человека влечет живопись, а не музыка и поэзия — или наоборот? Почему некто предпочитает Бетховена или Булеза и не любит Мадонну и Мика Джаггера?

Д. Д. Могли бы вы как специалист рассказать об истоках нейроэстетики? Что эта наука изучает, каковы ее методы?

Х. Х. Я уже говорил, что для меня тут не все очевидно, тем более что в настоящее время я отчасти нахожусь вне этой проблематики, но молодые ученые занимаются технологической стороной дела с большим энтузиазмом. Так или иначе, основной объект нейроэстетики — мозг, и уверенность в серьезном научном прорыве, прежде всего, связана с объективным анализом функций мозга. Но вот вопрос: как быть с танцами? Можно ли сказать, что танцы — функция мозга в чистом виде?

Если не ошибаюсь, у современных *электрических*, как и у других психофизиологических методов исследования было несколько "предшественников". Новые технологии привели к оживлению научной деятельности, возродили надежду на то, что ученым удастся составить физиологическую картину, которая подтвердит гипотезу о том, что у любого настроения или чувства есть своя, уникальная, физиологическая модель возбуждающего его импульса. Соответствующие разработки начались в 40-е годы XX века, а к 60-му стало ясно, что надежды получить совершенно определенные, дифференцированные физиологические модели того или иного эмоционального состояния не оправдались, если не считать чувства омерзения — в данном случае удалось создать нечто вроде стандартной физиологической модели.

По моему мнению, нейроэстетики рассчитывают установить, какому стимулу соответствует та или иная эстетическая реакция, какие зоны мозга задействованы во время этой реакции и, следовательно, — объяснить, в какой мере конкретный стимул влияет на деятельность мозга, протекающую параллельно с накоплением эстетического опыта. Возможно, вы уже заметили, что данная формула: "мозговая деятельность, протекающая параллельно с накоплением эстетического опыта", — свидетельствует о моей уверенности, что между "активностью ума" и "активностью мозга" имеется существенная разница. Многие исследователи не верят в эту общеизвестную гипотезу Декарта и утверждают, что различие существует лишь между "ментальным" планом и "физическим", по выражению Г. Фейгля[1]. Это сторонники теории идентичности. Однако теория эта до сегодняшнего дня подтверждения не получила, а раз так, я в нее не верю.

Д. Д. Как бы вы определили творческую личность с позиций нейроэстетики? Кого вообще можно считать творцом, художником?

Х. Х. Поскольку наши познания о мозге ограничены, мы можем лишь рассуждать о том, кого считать художником, а кого нет, исходя, скажем, из данных функциональной магнитно-резонансной томографии. Я представляю себе дело так: есть люди, которые проявляют более высокий уровень умственной активности, и по сравнению с "обычными" людьми у них, когда

1. Герберт Фейгль — участник Венского кружка (сообщества ученых, регулярно собиравшихся в Вене в конце 20–30-х гг. XX в.), с которым связано зарождение философии логического позитивизма. К кружку, среди прочих, принадлежали также такие философы, как Людвиг Витгенштейн и Карл Поппер.

они занимаются творчеством, включаются еще какие-то области мозга. Однако многие творческие личности утверждают, что идеи приходят к ним внезапно и без всяких усилий с их стороны. Здесь уместно вспомнить давние утверждения гештальт-психологов по поводу так называемого ага-переживания — то есть озарения, либо удачного сочетания компонентов материала, которое неожиданно возникает в сознании творящего. Но дело в том, что чрезвычайно трудно а) выявить случаи, когда подобное имеет место, и б) подвергнуть объекты исследования обработке магнитно-резонансным томографом в ту же секунду. Хотя это и разрешимо: в конце концов, сначала можно придумать задачи, стимулирующие творческое мышление, а потом изучать деятельность мозга с помощью магнитно-резонансной томографии.

Д. Д. Можете ли вы дать научное нейроэстетическое объяснение тому, что эстетические шедевры (величайшие творения искусства) не зависят от хода времени?

Х. Х. Подлинное объяснение, надо полагать, надо искать отнюдь не на поверхности. Но проблема поставлена верно: почему музыка романтиков так популярна во всем мире? Почему Шекспира до сих пор ставят на всех сценах мира? Почему в таких несхожих культурах, как китайская или, скажем, испанская, аудитория получает эстетическое наслаждение от музыки или театра родственного типа? Но если несколько сместить угол зрения, нам трудно будет объяснить, в чем кроется успех искусства не "великого": так, например, почему музыка Мадонны или Майкла Джексона столь успешно продается в столь многих странах? Точного ответа нет. Мало того, подобное наблюдается и в мире одежды: почему во всех уголках планеты так популярны голубые джинсы? Боюсь, ответа на эти вопросы не получить путем изучения мозга... И едва ли уместно полагать, что всякое, имеющее спрос, искусство основано на неких общих функциях мозга и что ровно этими функциями и определяется соответствующий успех. Дух времени — Zeitgeist — не уловить с помощью физиологических методов. Поставим вопрос по-другому: стоит ли рассчитывать, что благодаря нейрофизиологии можно будет найти ответ на вопрос о том, почему музыка Баха была надолго предана забвению, а спустя много-много лет вновь получила признание? А то, что великое искусство неподвластно времени (это, скорее всего, означает, что оно получает положительную оценку всегда, в любую эпоху) — и само по себе не более, чем гипотеза.

Д. Д. Уважаемый господин Хёге, что мы имеем в виду, когда говорим: искусство, музыка, язык и литература — продукты организации человеческого мозга?

Х. Х. Эволюция искусства и по сей день — вопрос открытый. Почему наскальной живописью занимались еще неандертальцы (а может, она была и до них), неизвестно. Некоторые исследователи считают, что в те времена так обучали членов своего сообщества, чтобы показать, на каких зверей охотиться, как на них охотиться, какие из них опасны, а какие — нет. С практической точки зрения, такое объяснение убедительно. Но вот проблема: почему и как эти люди догадались одно подменять другим, то есть заменять охоту изображением охоты? Или как говорится на латыни: Stat aliquid pro aliquo[1]. Есть нечто необъяснимое в том, что цвет и структура наскальных линий должны изображать животное, которого в данную минуту нет в наличии, но которое *может встретиться*! В мире интернета мы называем это виртуальной реальностью, но в данном случае между скалой и экраном компьютера нет никакой разницы. Есть причины полагать, что именно благодаря этой своей способности человек и смог достичь высокого уровня развития, но, чтобы так использовать символы, мозг человека должен быть устроен особым образом.

По мнению других исследователей, пещерные рисунки носили ритуальный характер. Тогда возникает вопрос: что это были за ритуалы? Требовалось ли просто выразить чувство радости по поводу того, что охота удалась и теперь у сообщества есть пропитание? Или то были ритуалы религиозные? Пусть так, но тогда почему первобытные люди исповедовали то, что теперь принято называть религией? И что значит “исповедовать”?

Для меня очевидно, что одна из предпосылок развития искусств, музыки, языка, поэзии — особая организация мозга. Если он недостаточно дифференцирован, ничего не получится. С другой стороны, та область науки, которая изучала эстетику животных, сегодня предана забвению полностью, и, может быть, нет оснований так уж решительно утверждать, что все эти явления есть функция головного мозга человека и только человека. Многое зависит и от того, как определять искусство. Если считать, что оно свойственно только людям, тогда допущение, что существует эстетика животных, можно вывести за скобки. Но если понимать искусство как аранжировку неких объектов, тогда изучать эстетику можно и в мире животных.

1. Что-то стоит вместо чего-то, то есть одно употребляется вместо другого (*лат.*).

Д. Д. Современное искусство, как мне кажется, стремится предстать перед зрителем во всей полноте имеющихся модальностей восприятия. Как нейроэстетика характеризует синестетическое искусство и синестезию[1]?

Х. Х. Опять же вопрос не совсем по адресу, потому что исследованиями мозга я активно не занимаюсь. Но определение синестезии (то есть дополнительных сенсорных ощущений, которые возникают в сенсорном канале без стимуляции извне, например, когда вы "слышите" цвета) позволяет предположить, что, по крайней мере, у некоторого количества людей (примерно у 5 % населения, считающихся синестетами) существуют связи между разными зонами мозга. У одних людей эти зоны взаимодействуют тесно, у других — они более дифференцированы. И все же это скорее вопрос степени, нежели качественной разницы. Мы используем синестетические категории в повседневной жизни, например, когда говорим о *теплых* и *холодных* цветах, совершенно не имея в виду, будто у них разная температура, измеряемая по шкале Цельсия. Это нормальные явления — в том смысле, что встречаются у обычных людей.

Д. Д. На ваш взгляд, в чем сущность такой категории, как "понимание/восприятие искусства" с точки зрения нейроэстетики?

Х. Х. Я уже говорил, что эти вопросы не совсем по моей части. Но хочу подчеркнуть: *понимание* может существенно отличаться от *восприятия*. Как психологи, мы привыкли помещать эти термины в разные научные книги: либо те, что описывают восприятие, либо — обработку информации. Хотя провести четкую, ясную границу между двумя этими понятиями очень трудно: где заканчивается восприятие и где начинается когнитивная обработка? Джеймс Гибсон[2] пытался показать, что при восприятии окружающей среды информацию об этой среде мы берем *напрямую*, из самой этой среды, и, значит, для *понимания* требуется меньше ментальных усилий. Но эта теория решительно не предназначалась для восприятия искусства.

Вернемся к восприятию и пониманию. Известно, что долгосрочная память влияет на обработку зрительных стимулов

1. Непроизвольная синестезия — это индивидуальная нейрокогнитивная стратегия: особый способ познания, который проявляется в определенный, очень ранний момент жизни в виде необычно тесной связи мышления и системы чувств (когнитивно-сенсорная проекция). Примерами синестезии может служить цветное зрение или цветной слух и т. п.
2. Джеймс Джером Гибсон (1904–1979) — американский психолог, крупнейший когнитивный психолог зрительного восприятия.

даже на уровне сетчатки, поэтому, возможно, стоило бы ограничиться лишь одним из этих терминов. Скорее всего, *понимание* включается тогда, когда начинается процесс осмысления, о чем говорили Ганс и Суламифь Крейтлер[1] в конце 70-х годов прошлого века. С помощью нейроэстетики можно определить, сколько процессов запущено и какие зоны мозга работают активно, но предсказать, чем наполнено сознание конкретного человека, то есть сказать, каков его эстетический опыт, думаю, невозможно. На мой взгляд, предсказать опыт работы сознания с помощью физиологических методов не получится.

Д. Д. Если вы допускаете, что существуют гениальные авторы: писатели, поэты, композиторы, художники, — допускаете ли вы, что есть и гениальные реципиенты: читатели, слушатели, а также гениальные исполнители и литературные критики?

Х. Х. Я считаю, что творческими способностями в определенной степени наделен каждый. Даже для того чтобы просто перемещаться в пространстве, человек должен обрабатывать информацию: комбинировать факты. И это пример того, чем реально может заниматься нейроэстетика: выявить разницу между людьми с высоким творческим потенциалом и теми, у кого он существенно ниже. Но повторяю, пока это лишь надежда, в лучшем случае — гипотеза. Возможен и другой подход: те, кто создает нечто новое, обладает более ярким творческим потенциалом по сравнению с теми, кто является лишь реципиентом — получателем информации. Однако все творческие личности являются и созидателями, и получателями. Но если творческий уровень очень высок, тогда это равенство нарушается в сторону увеличения созидания. Но говорить о *ярких творческих личностях* и *просто получателях* надо с осторожностью — ведь провести границу между ними довольно трудно, и тут как раз могут помочь данные нейрофизиологии.

Д. Д. Немного провокационный вопрос, но, как мне кажется, в духе нашего прагматического и сложного времени: а нужно ли вообще человеку искусство?

Х. Х. О да, конечно! Не обязательно высшего порядка — достаточно, захотеть украсить пером шляпу. Ну а в наши дни популярное искусство, несомненно, *потребляют* все. Если сравнить современный мир с миром столетней давности, больше всего поражает вездесущесть музыки: в магазине оде-

1. Ганс и Суламифь Крейтлер — исследователи из Тель-Авивского университета.

жды, ресторане, гостиной... — музыка встречает тебя буквально повсюду! И это не говоря о плеерах и других цифровых устройствах, которые люди носят с собой. Совсем другой вопрос, в какой мере искусство способствует развитию гармоничной личности; к сожалению, множество примеров свидетельствует, что искусство зачастую в этом направлении не работает. Посмотрите телевизионные новости — сколько всего ужасного происходит! Где же положительное влияние искусства на общество? И все же это не значит, что можно отказаться от творчества или потребления его продуктов. Конечно же нет.

Д. Д. Что же такое литература в свете нейроэстетической теории?

Х. Х. Не думаю, что существует теория литературы, базирующаяся на нейроэстетике (или точнее — на данных о деятельности мозга). Я не знаю ни одной нейроэстетической теории, которая давала бы определение тому, что такое литература. Что язык создается и воспринимается благодаря деятельности мозга, достоверно известно еще со времен Брока и Вернике[1]. Но если бы можно было дать определение литературе или только великой литературе на основе нейрофизиологических измерений, это, на мой взгляд, означало бы, что мы игнорируем то самое влияние, которое оказывают писатели и читатели (реципиенты их произведений).

Д. Д. Последний вопрос, профессор Хёге: каковы ваши профессиональные планы на будущее? Чем планируете заниматься в ближайшее время?

Х. Х. Кафедру психологии в нашем университете перевели с факультета гуманитарных наук на факультет наук естественных. Возможно, это даст толчок новым исследованиям. Наверняка появятся новые результаты, касающиеся физиологии человеческой деятельности. Возможно, будет установлена связь с данными о животных, потому что биологический факультет стал нам намного ближе. Это мое ближайшее будущее.

1. Имеются в виду центр Брока́ — зона коры головного мозга: двигательный анализатор речевой артикуляции — назван по имени Поля Брока́ (1824—1880) — французского хирурга и антрополога, и центр Вернике — зона коры головного мозга, отвечающая за речевую информацию, названная по имени Карла Вернике (1848—1905) — немецкого психолога и антрополога.

Томас Гуд

“*Где британская обходительность?*”

Стихи

Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

He sang The Song of the Shirt.
(Он пропел “Песню о рубашке”.)

Надпись на памятнике Гуда

Таким эпиграфом открывается обстоятельная статья М. Л. Михайлова “Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд”. Статья появилась в журнале “Современник” в 1861 году.

Чуть ниже автор сообщает читателю, что “никто не брал еще на себя труд познакомить русскую публику с произведениями одного из самых блестящих английских юмористов, одного из самых благороднейших поэтов последнего времени”. “Опыт перевода ‘Песни о рубашке’, напечатанный в прошлом году в ‘Современнике’, — добавляет автор, — кажется, единственное исключение”.

Не без некоторого сожаления приходится констатировать, что с 1861 года мало что изменилось в российском “гудоведении” и Томас Гуд по-прежнему в нашем представлении остается автором “Песни о рубашке”, которая опубликована была, надо сказать, в “Панче”, журнале юмористическом, и, как оказалось, была обречена на грандиозный, небывалый успех. Таковой успех, по словам Михайлова, предрекла Томасу Гуду его жена: “Мистрис Гуд, запечатывая рукопись ‘Песни о рубашке’ для отсылки в редакцию, говорила мужу: ‘Вот увидишь — припомни мои слова, — успех будет необыкновенный; ты мало что писал лучше’. <...> ‘Песню о рубашке’ перепечатывали все газеты, начиная с ‘Times’a... Ее тотчас же стали переводить на все языки и, разумеется, пародировать, она явилась даже отпечатанною на бумажных носовых платках”.

В России во второй половине XIX века не было, казалось, ни одного видного литератора, который бы не упоминал, не вспоминал, не цитировал “Песню о рубашке”. Ее переводили как сам М. Л. Михайлов, так и В. Д. Костомаров, Д. Д. Минаев, Д. Л. Михаловский, многочисленные пе-

© Михаил Матвеев. Перевод, вступление, 2016

реложения, подражания и сочинения "по мотивам" с известной регулярностью появлялись на страницах газет и журналов. М. Мусоргский под впечатлением "Песни" написал пьесу "Швея".

XX век также не остается равнодушным к творчеству Томаса Гуда. И хотя К. Бальмонт перевел "Прекрасную Инес", а И. Бунин — "Песню работника", но перевод именно "Песни о рубашке" Э. Багрицкого становится хрестоматийным и неизменно появляется в различных антологиях.

Михайлов, помещая свой этюд в "Современнике, где ему предстояло соседствовать с двумя стихотворениями Некрасова: "На Волге" и "Плач детей"[1], заостряет свое и читательское внимание на социальных мотивах поэзии Томаса Гуда, благодаря которым позднее по какой-то невероятной литературоведческой прихоти Томас Гуд оказался причислен к чартистской литературе.

Однако проницательность и несомненное переводческое и читательское чутье Михайлова позволяют ему увидеть и другую, может быть более важную, грань таланта Томаса Гуда. Михайлов не может не отметить чисто английскую страсть к каламбурам, "едва ли где выразившуюся в такой силе" как в "комических статейках" и "пьесах" Гуда; и, конечно же, не может не извлечь из-под их "шутовской и легкой одежды" "серьезность смысла"; обнаружить в них "живое, поучительное свидетельство, как близко один к другому лежат в натуре человека источники смеха и слез". Эта "серьезность смысла" под "шутовской и легкой одеждой", безусловно, роднит Томаса Гуда с Диккенсом, с которым он был знаком и сотрудничал[2].

Остается лишь сожалеть, что сам Михайлов, убежденный, что английская страсть к каламбурам, неистощимая игра словами и лингвистические фокусы делают стихи Гуда непереводимыми на другие языки, ограничился опытом перевода "Песни о рубашке" и еще 2-3-х стихотворений, так и не рискнув перевести что-нибудь из "комических пьес" Гуда. У него, судя по переводам, приведенным в статье, получилось бы.

Впрочем, вынуждены признать, что переводчику Томаса Гуда середины XIX века все-таки недоставало многих средств поэтического языка, освоенных русской поэзией гораздо позднее — серебряным, да и всем XX веком. Так что неудивительно, что только теперь переводчик может попытаться передать словесную игру Гуда, чьи эксперименты в области формы составят без труда, пожалуй, целую энциклопедию "Странностей и причуд в прозе и стихах". (Таково название одного из сборников Гуда.)

"Причуды и странности" Гуда довольно разнообразны.

1. "Плач детей", к слову, – переложение стихотворения "The Cry of the Children" Элизабет Баррет Браунинг.
2. Известно, к примеру, саркастическое, написанное на злобу дня "Угрожающее письмо Томасу Гуду от некоего почтенного старца" Чарльза Диккенса, которое Томас Гуд опубликовал в своем журнале "Hood's Magazine and Comic Miscellany".

Его баллады, будучи классическими по содержанию и должные, казалось бы, оказаться пронзительно-сентиментальными, изобилуют при этом неистощимой игрой словами, что, видимо, и создает одну из особенностей гудовского юмора — игры слов с оттенками того юмора, который позднее назовут "черным". Но "черный" юмор не мешает нам искренне сочувствовать несчастным персонажам, неизменно заканчивающим свою жизнь трагически.

"Эпикурианские размышления сентименталиста" и "Дым сигар" — стихи того же свойства и напоминают порой то Козьму Пруткова, то Сашу Черного.

Одно из своих стихотворений Гуд в забавном письме издателю объявляет опытом написания белого стиха в рифму, каждую строчку завершая тремя односложными рифмами, при этом строки между собой не рифмуя.

В другом его стихотворении рифмуются начальные стопы строк. "Мой подход, — пишет Гуд в ироничном письме тому же издателю[1], — будет иметь, по крайней мере, один положительный эффект — он изменит ложное представление нынешних потенциальных поэтов и поэтесс, что поэзия — это рифма... *в конце*... концов".

"Сонет к Воксхоллу" должен, по замыслу Гуда, передать фонетическими средствами звуковую картину пиротехнического представления в садах Воксхолла. В стихотворении "Где?", посвященном лондонскому декабрю (в оригинале, признаемся, ноябрю), Гуд использует столь запоминающуюся анафору, что много лет спустя в 1912 году Роберт Фрост вспомнит ее и опишет в письме своему корреспонденту "статистическую" картину того, что он обнаружил в Альбионе и что вызвало у него искреннее удивление. Вот несколько строк из этого письма:

Где британская холодность? (Да и нужна ли?)

Где манер недостаток?

Где москиты?

Где же мухи? (Чтобы было о чем поговорить.)

Где настоящее тепло? (Климат — как на судне посреди моря.)

Где американские новости? (Если не считать рождения детей в международных браках.)

Где же свет?[2]

На этом я остановлюсь, поскольку последний вопрос напомнил мне, что Том Гуд уже перечислил все "Где" вполне исчерпывающим образом в своем стихотворении. Попросите мисс Бёрд прочитать его Вам.

1. Оба стихотворения были опубликованы в альманахе "Comic Annual", издаваемом Гудом. Так что издатель – это сам Томас Гуд, а авторство стихов и писем Гуд отдает вымышленным стихотворцам-экспериментаторам.
2. Цитируется с незначительными купюрами.

Так что Гуд пропел множество самых разных песен на самые разные лады, снискав у читателей и у своих коллег-литераторов заслуженное уважение.

Ричард Ле Гальен[1], английский поэт другого времени и другого толка, пишет об одном из изданий Гуда: "Три качества, столь редко сочетающиеся в одном человеке, сошлись в Томасе Гуде — дар поэта, остроумие и чистосердечие", а завершает свой обзор "благородными строками Лэндора[2]":

Да, я завидовал — не скрою,
Но сей порок отвергнут мною.
Шутить пытался… — неудача,
Явить сочувствие — тем паче.
Ведь самым лучшим там и тут
Был чуткий, остроумный Гуд.

Сонет к Воксхоллу

Нанизан мною тоненький кусок
Прозрачной ветчины[3]. Дождит? Едва ли!
Как вдруг звонок — дин-дон! — три тыщи ног
По гравию... Врозь, парами... Видали?
Фонтанов брызги! Влажные вуали!
Хенглер! Madame![4] В кругу повес — восторг!
Мильоны искр в супругах Прингл[5] воззвали
К Высокому, etc. (см. Бёрк[6]).

1. Ричард Ле Гальен (1866–1947) — английский поэт, близкий друг Уайльда, участвовал в издании "Желтой книги", член "Клуба рифмачей".
2. Уолтер Сэвидж Лэндор (1775 – 1864) — английский писатель, поэт. Наибольшую известность получили его "Воображаемые беседы" — собрание прозаических диалогов между историческими персонажами.
3. Сады Воксхолла славились подаваемой посетителям ветчиной. Она нарезалась столь тонко, что сквозь ломтики ее можно было читать газету. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
4. Мадам Сара Хенглер (1765–1845) — знаменитый пиротехник. В первой четверти XIX века устраивала фейерверки и иллюминации в саду Воксхолла. У Гуда есть еще одно стихотворение, посвященной мадам Хенглер.
5. Трудно сказать, кого Гуд имел в виду. Супруги Прингл — возможно, персонажи одноактной комической интерлюдии "Мистер и миссис Прингл" Хоакина Телесфоро де Труэба-и-Козио. Хоакин Телесфоро де Труэба-и-Козио (1799–1835), испанец по происхождению, вырос в Лондоне и большую часть своих произведений писал на английском языке. Его трагикомедии пользовались успехом. С немалой долей вероятности можно предположить, что супруги Прингл — персонажи популярной песенки "Мистер и миссис Прингл", чьи поступки никак не соответствуют берковскому пониманию Высокого.
6. Эдмунд Бёрк (1729–1797) — английский государственный деятель, философ и мыслитель. Среди его работ есть "Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного" (1757).

Носы — ишь! — вверх! Вишь — в высоту ракета
Взмывает, распускается — смотри! —
И тают световые пузыри.
Всё! Царство Тьмы! Померкли капли света.
Шип фейерверков, гарь шутих. И мне
Пора опять вернуться к ветчине.

Г*де?*

Где же ночь? Где же день?
Где же свет? Где же тень?
Где же утро и полдень? Закат и восход?
Где клочок синевы?
Где ступаете вы?
Где же верх? Где же низ? Где вдали поворот?
Где пути впереди?
Где же месяц блуждает, попробуй найди!
Где же шпили церквей?
Где же лица знакомых и близких людей?
Где британская обходительность?
Где родная до боли действительность?
Где же дальние страны?
Где моря-океаны?
Где пути сквозь туманы?
Где же письма? Газеты?
Где же вести из Нового Света?
Где Гайд-парк? Где бомонд?
Где тут граф? Где виконт?
Где же бодрость, здоровье, уют и тепло?
Где нам скрыться от вечных простуд и подагр?
Где же пчелы? Где птицы? — В ответ, как назло,
Даже дддддрожь не унять:
г....г....г....где....-дека-бррррррррр!

Эпикурианские воспоминания сентименталиста

Я влюбился, мне кажется, ранней весной,
Я не помню отрадней картины —
Мне хотелось бараньей вкусить отбивной,
А сезон был как раз для свинины.

Или нет?.. В Рождество я увидел мисс Чейз!
Да! У Морриса, помню, гостили,
И меня тонкий профиль и тонкий филей с
Превосходной индейкой пленили.

Я сидел рядом с ней, мне завидовал зал,
О! Насколько была она чуткой,
Как смущалась, когда я ее угощал
Черепаховым супом и уткой!

И за ланчем в течение трех перемен
Сердце вдребезги было разбито.
Понял я, что попал в упоительный плен,
Сразу после вина и бисквита.

С рентным списком семью я ее посетил,
Объяснив благородные цели,
Я ей руку и сердце свое предложил
И прекрасный набор карамели.

И она под венцом мне ответила: да.
Был обряд удивительно краток;
Это было... не помню... да! точно... когда
Все охотятся на куропаток.

Мы отправились... к морю. О, дивные дни!
На душе было радостно мне так!
Я глядел на нее — мы сидели одни
За огромной тарелкой креветок.

Никогда не забыть мне тот радостный год,
И поныне я благоговею;
Цены выросли до небывалых высот,
А горох шел почти за гинею.

День счастливый спешил за безоблачным днем.
Мы, по духу и в мыслях едины,
Так во вкусах близки, так похожи во всем...
Без ума были от буженины!

Счастье вечным казалось. Внезапно — беда.
Смерть — представить не мог я, не скрою,
Как все зыбко... я плакал... Я помню, тогда
Скрылась кошка с моей камбалою.

Помню, к осени где-то бедняжка слегла,
На врачей я надеялся слабо;
Кто-то счел бы чахотку причиною зла,
Я же думал, а вдруг это крабы.

Были тщетными все ухищренья врачей:
Аппетит и румянец слабели,
Силы таяли, и, что гораздо важней,
Ей не в радость был ломтик форели.

Луч надежды, казалось, еще не угас,
Но судьба наносила удары:
Искра жизни ее покидала, как раз
Появлялись в то время омары.

Смерть пришла, и, несчастнейшему из мужчин,
Бередила мне душу утрата,
Но печальней всего, что теперь я один
Ел, что ели мы вместе когда-то.

Но, когда я узрел Добродетели слуг,
С черным крепом на их рединготах,
Скорбь объяла меня... все рыдали вокруг.
Дело было, мне кажется, в шпротах!

Дым сигар

Кому-то нужно это,
Кому-то — то... Кошмар!
Мои желанья проще —
Мне мил лишь дым сигар.

Кому-то интересны
Перипетии свар
Меж вигами и тори —
Мне мил лишь дым сигар.

За голос мой дерутся
Сэр Джон и мистер Марр.
Они мне безразличны,
Мне мил лишь дым сигар.

Пусть кто-то вспоминает
С тоскою Трафальгар.
Я мирный обыватель —
Мне мил лишь дым сигар.

Я в "Глоб" взгляну едва ли,
Я не читаю "Стар",
Я "Пост" читаю редко —
Мне мил лишь дым сигар.

Нам пишут, что на биржу
Обрушится удар,
До биржи нет мне дела —
Мне мил лишь дым сигар.

Известным адвокатом
Вчерашний стал школяр,
Куда мне торопиться —
Мне мил лишь дым сигар.

О! Не честолюбив я!
Труба и звук фанфар
Мне равно безразличны —
Мне мил лишь дым сигар.

Мне чужды все кумиры,
Среди пенат и лар
Мне быть всего приятней —
Мне мил лишь дым сигар.

Что лавры полководца?
В них для меня нет чар!
Останусь рядовым я —
Мне мил лишь дым сигар.

Жизнь разные соблазны
Нам преподносит в дар,
Соблазны? Ну их к черту!
Мне мил лишь дым сигар.

Одних бросает в холод,
Других бросает в жар,
А я всегда спокоен —
Мне мил лишь дым сигар.

Огонь любви не может
Разжечь во мне пожар
Дымлю, но не сгораю —
Мне мил лишь дым сигар.

Уже на Нэнси Лоу
Женился мистер Карр.
Измена! Но... жить можно —
Мне мил лишь дым сигар.

Алексей Михеев

Мы *рождены, чтоб парадоксы сделать былью*

Украшением октябрьского (2015) номера "ИЛ" стал Литературный гид "Немецкая эссеистика XXI века". Его составитель и переводчик всех текстов Наталья Васильева в предисловии отметила "тематическую всеядность" немецких авторов: "Эти небольшие по объему тексты вмещают и проблемы глобального масштаба – о будущем Европейского союза и западной демократии, о судьбе планеты Земля, о роли массмедиа в процессе 'всеобщего оболванивания', и вопросы более камерные – о тоске бездетности, о трудности восприятия музыки XX века, о сути писательского дела и даже о преимуществах недоговаривания". Да, формально здесь можно увидеть и "всеядность", но, тем не менее, в глубинном смысле тема этого Литгида одна: радикальное изменение "координат" нашей цивилизации, произошедшее за несколько десятков лет на всех уровнях нашего бытия. Вот лишь два привычных еще в недавнем прошлом тезиса, которые в начале XXI века практически утратили актуальность.

Безусловным приоритетом для любой страны и для человечества в целом все еще продолжает считаться экономический рост, имеющий целью рост уровня потребления. Есть принцип олимпийского спорта: "Быстрее! Выше! Дальше!"; в общесоциальном смысле его вариант: "Больше! Больше! Больше!" – ведь "больше" рассматривается как синоним "лучше". Питер Слотердайк показывает бесперспективность подобной стратегии: ведь подобный, по его выражению, "кинетический экспрессионизм" оправдан только при условии безграничности ресурсов. Сейчас же все более наглядным становится их ограниченность, и вопрос, вынесенный в название эссе Слотердайка: "Сколь безмерна безмерность Земли?" – безусловно, риторический. И хотя тревожиться по этому поводу интеллектуалы начали еще полвека назад (доклад Римского клуба "Пределы роста"), сейчас осознание того, что мы все вместе находимся "на борту космического корабля Земля" (метафора Бакминстера Фуллера), становится все более острым, и вскоре, как пишет Слотердайк, "мы будем вынуждены выбирать между этикой фейерверка и этикой аскезы".

© Алексей Михеев, 2016

Новая умеренность, минимизация, самоограничение, экологический пуританизм — вот что предлагается в качестве альтернативы кинетическому экспрессионизму.

Второй тезис — в эпоху глобализации государственные границы уже не играют прежней роли и становятся помехой позитивным интеграционным процессам. Действительно, после образования и постепенного расширения Евросоюза стало казаться, что ленноновское "Imagine there's no countries" ("Представьте, что исчезли страны") перестает быть такой уж утопической идеей, как 50 лет назад. Однако в последние годы оптимизма стало меньше — и вот уже Ханс Магнус Энценсбергер саркастически пишет о "ласковом монстре Брюсселе", устанавливающем "опеку над Европой" (некоторые рефлексии Энценсбергера порождают смутные ассоциации с централизованной и бюрократизированной структурой управления в распавшемся Советском Союзе). А в 2015 году идея европейской интеграции вновь подверглась некоторой ревизии — волна беженцев с Ближнего Востока заставила отдельные страны задуматься об укреплении своих государственных границ. Беженцы усугубили и еще одну проблему — гармоничной адаптации массы азиатских иммигрантов к европейским социальным реалиям. Ведь если Земля не безмерна, то старая Европа уж и подавно — и огромный приток представителей иных культур становится сегодня своего рода цивилизационным вызовом, последствия которого пока остаются неясными. И еще более острой эта проблема становится с ростом терроризма.

А еще два тезиса имеют отношение не к политике и не к экономике, а к сфере искусства: (1) искусство является источником положительных эмоций и (2) отмеченные особыми талантами творцы создают свои произведения для лишенной этих талантов благодарной публики.

Первый тезис подвергает критическому переосмыслению Ханс-Ульрих Трайхель в эссе "Далекое настоящее музыки". Современная музыка уже не является источником сугубо эмоциональных переживаний ("Она больше не приносит утешение и душевный покой"). Действительно, академическая музыка требует сегодня скорее аналитического, рационально настроенного восприятия, и ценность ее прежде всего в том, "что в историческом плане она подлинна и опыту этого века полностью созвучна". Функция же эмоционального воздействия за последние десятилетия перешла в область тех жанров, которые всегда считались "низовыми"; характерна при этом эволюция джаза на протяжении всего XX века — родился он как жанр развлекательный, а сейчас уже почти окончательно перешел в разряд "серьезных", утратив первоначальную эмоциональность, структурно усложнившись и став музыкой для немногих знатоков и ценителей.

Второй же тезис — противопоставление "поэта" и "тол-

пы", – по крайней мере в одном из "высоких" жанров, поэзии, тоже потерял актуальность, о чем пишет тот же Энценсбергер в саркастическом эссе "Что такое стихи?". Сейчас мы наблюдаем не просто количественную инфляцию поэтических текстов, но и ситуацию, при которой читателей поэзии становится попросту меньше, чем собственно поэтов. А это радикальным образом меняет привычную социокультурную структуру.

Эссеистика по своей природе предполагает некоторые нетривиальные, а еще лучше парадоксальные идеи. В этом отношении опубликованную подборку можно считать удачной; но особо показательно то́, что обозначенные авторами парадоксы являются не просто эффектными креативными приемами, а отражают (как современная музыка) постоянно пополняемый "опыт нашего века". Процессы, начатые в XX веке, продолжают и в XXI постепенно выворачивать привычный для наших предков мир "наизнанку", а публицисты помогают эти парадоксы не только переживать, но и осмыслять.

Новые книги Нового Света

с Ма́риной Ефимовой

Harper Lee *Go Set a Watchman.* — Harper Collins, 2015

До 14 июля 2015 года американская писательница Харпер Ли была автором единственной книги, опубликованной в далеком 1960 году, но до сих пор любимой всей Америкой, да, в общем, и всем миром. Это роман "Убить пересмешника", написанный от имени шестилетней девочки Джин Луизы по прозвищу Глазастик. Книга в свое время стала бестселлером, получила Пулитцеровскую премию, а в 1962 году по ней был поставлен награжденный "Оскаром" фильм с Грегори Пеком.

Фильм стал культовым. Грегори Пек играл отца Глазастика — обаятельного и благородного адвоката-южанина Аттикуса Финча, взявшегося защищать в суде афроамериканца, несправедливо обвинённого в изнасиловании белой женщины. Шли, не забудем, 1960-е годы, и после выхода фильма на юридические факультеты американских университетов хлынула толпа юношей, мечтавших стать похожими на адвоката Финча. Редкое имя Аттикус лет на десять стало в Америке модным.

Слава, обрушившаяся на Харпер Ли, была такой неожиданной и шумной, что писательница сбежала от неё в Алабаму, в свой родной городок Монровиль (так ярко описанный в романе), и живет там до сих пор, сейчас уже девяностолетняя. О жизни Харпер Ли в Монровилле рассказал её биограф Чарльз Шилдс в интервью для радио "Свобода" в 2006 году. Вот небольшой отрывок из этого интервью:

Многие думают, что Харпер Ли давно умерла. А она очень даже жива. Ей восемьдесят лет, но она активно занимается благотворительностью. Она живет со старшей сестрой Элис, которой девяносто пять лет. Их часто видят в кафе, где они обедают и иногда спорят о том, чья очередь платить. Но Ли категорически отказывается встречаться с журналистами. Даже на самые трогательные просьбы неизменно отвечает: "Hell, no!" — мол, идите к чёрту. Она не появляется на публике и не даёт интервью с 1965 года.

За эти годы Харпер Ли не написала больше ни одного произведения. Поэтому для всех было волнующим сюрпризом узнать, что в издательстве "Харпер Коллинз" выходит вторая книга писательницы, озаглавленная фразой из Библии, из Книги пророка Исаии — "Пойди поставь сторо-

Совместно с радио "Свобода".

жа". Назвать этот роман новым невозможно, потому что он написан раньше, чем "Убить пересмешника", — в 1957 году. Более того, он был первым вариантом знаменитого романа.

В первой главе Джин Луиза (уже 23-летняя) приезжает на поезде из Нью-Йорка в Алабаму, в родной городок, чтобы повлиять на отца — Аттикуса Финча, который отказывается уйти на покой, несмотря на возраст и болезни. На вокзале Джин Луизу встречает молодой человек Генри Клинтон — претендент на ее руку:

Он заграбастал ее в медвежьи объятья, поставил перед собой и сперва крепко поцеловал в губы, потом нежно в щеку. Джин Луиза, поддразнивая его, сказала, что она согласна на роман, но не на брак. Она была почти влюблена в него. "Нет, это всё-таки невозможно! — думала она. — Ты или влюблена, или — нет. Любовь — единственное, что недвусмысленно в этом мире. Конечно, есть разные виды любви, но какими бы ни были эти любови, они или есть, или их нет".

Генри Клинтон — один из новых персонажей, но из романа исчез кое-кто из старых. Ранняя смерть настигла, например, одного из главных героев романа "Убить пересмешника" — Джема, брата Глазастика. Однако самым сильным шоком для читателей станут перемены в образе обожаемого Америкой Аттикуса Финча, в романе — семидесятидвухлетнего. Рецензент Мичико Какутани пишет в "Нью-Йорк таймс":

Аттикус, который в романе "Убить пересмешника" был принципиальным идеалистом, свято верившим в правосудие и справедливость, во втором романе оказывается расистом, который говорит, например: "Здешние негры, как народ, находятся всё еще в детском состоянии". Или спрашивает у дочери: "Ты готова принять их в свой мир?" И вернувшаяся на Юг из Нью-Йорка Джин Луиза находит взгляды отца и Генри Клинтона на расовые проблемы абсолютно несовместимыми с ее собственными.

Литературоведы, разбирая роман "Пойди поставь сторожа", будут недоумевать, как эта неровная история о горе молодой женщины, обнаружившей фанатическую нетерпимость любимого отца к дорогим ей идеям расового равенства, превратилась под пером Харпер Ли в американскую классику, в искупительный роман "Убить пересмешника", созвучный с движением за гражданские права.

История, действительно, интересная. В 1957 году Харпер Ли принесла роман "Пойди поставь сторожа" в нью-йоркское издательство, и редактор настоятельно посоветовал ей развить в романе раннюю, детскую линию. Ли засела за работу, и результатом стал роман "Убить пересмешника". Что в середине 1950-х остановило издателей от публикации первого варианта? Художественные недостатки романа или рискованность его усложненной идеологической линии: без святых и злодеев? Ведь Аттикуса из "Сторожа" нельзя назвать оголтелым расистом, хоть он и выступает

сторонником сегрегации. Он и в "Стороже" берётся, с риском для репутации, защищать несправедливо обвиненного человека, и, кстати, в этом романе, в отличие от "Пересмешника", суд кончается оправданием обвиняемого.

Когда в 1961 году Харпер Ли уехала из Нью-Йорка домой, на Юг, она, так же, как ее героиня, чувствовала себя там чужой и боялась признаться, что является членом NAACP – Национальной ассоциации содействия продвижению цветного населения. Тем не менее она по природе своей не могла смотреть на вещи односторонне и прямолинейно. Опубликовано письмо Харпер Ли другу, в котором она сообщает ему, по какой причине в 1961 году журнал "Эсквайр" отказался от публикации одной ее статьи:

Редактор "Эсквайра" не поверил, что есть сторонники сегрегации, которые при этом презирают Ку-клус-клан. С точки зрения редакторов "Эсквайра", это "аксиоматически" невозможно, выражаясь языком математики. Я хотела сказать им, что если это так, то тогда девять десятых жителей Юга – "аксиоматически" невозможны.

Когда-то замечательная американская писательница Фланнери О'Коннор назвала роман Харпер Ли "Убить пересмешника" – "детской книгой". Может быть, роман "Пойди поставь сторожа" был слишком взрослым для американской молодёжи 1960-х, которая считала причиной расовой проблемы лишь злую волю белых расистов. Может быть, поэтому тогдашние редакторы и предпочли ясную, черно-белую, "детскую" версию американского Юга, так обворожительно и талантливо воссозданную Харпер Ли в романе "Убить пересмешника".

Судьбу романа "Пойди поставь сторожа" трудно предсказывать. Рецензент газеты "Вашингтон пост" Александра Алтер пишет:

Роман бесспорно имеет ту же ДНК, что и знаменитый дебют мисс Ли: тот же суховатый юмор, то же добродушное подшучивание, та же тщательная выписанность характеров. Но это уже совсем, совсем другая история. Нет сомнения, что книга подвергнется самому пристальному анализу и поклонников таланта писательницы, и критиков. Но уже ясно, что книгу ждет огромный коммерческий успех.

Первый тираж романа "Убить пересмешника" был 200 тысяч экземпляров. Первый тираж романа "Пойди поставь сторожа" – 2 миллиона. Все ведущие газеты в день выхода книги опубликовали первую главу романа. По количеству предварительных заказов фирме "Амазон" книга сравнима только с серией "Гарри Поттер" 2007 года. В родном городке Харпер Ли Монровилле с населением 6300 человек книжный магазин получил заказы на 7000 экземпляров романа. И Харпер Ли впервые за много лет даёт интервью, позволяет себя фотографировать и принимает поздравления.

Рисунок Хэнка Хинтона

Среди книг

с Юрием Гусевым

M. Nagy Miklós *Ha nem is egy bomba nő. Szerelmesregény.* — Budapest: Cartaphilus Könyvkiadó, 2014

"Не знаю, долго ли оно продержится в Москве, это швейцарское изобилие", — сказал однажды Юрий Гусев. Мы пили водку и ели сказочное жаркое с грибами в горшочке, фирменное блюдо его жены".

Юрий Гусев — это я. Насчет жаркого с грибами и водки — что-то такое было, когда Миклош М. Надь пришел к нам в гости с Джоном Лукачем, венгерским историком и философом, живущим в Нью-Йорке.

Но вот насчет швейцарского изобилия: убейте, не помню, чтобы я такое говорил. Вроде даже совсем не в моем духе высказывание.

А может, говорил?

Говорил, не говорил — неважно.

Такой зачин для рецензии (для серьезной рецензии: надеюсь, она будет серьезной) — вещь необычная. Но я пошел на это намеренно: примерно в таком — непринужденно-небрежном, даже расхлябанном — тоне написана эта книга — Миклош М. Надя "Пускай и не красавица. Роман о любви", в которой все смешано: осколки детских воспоминаний, впечатления от недавних встреч с людьми, в том числе очень известными, исторические анекдоты и просто анекдоты, размышления о нашу-

мевших книгах, раздумья о современной литературе, курьезные случаи, наблюдения над жизнью Москвы 80-х годов (автор был тогда студентом МГИМО), затем 90-х, затем уже текущего тысячелетия. Систему во всей этой чересполосице, во всей этой пестроте обнаружить практически невозможно; не могу исключить, что бессистемность, случайность как раз и являются сознательно избранным авторским принципом. Ведь человек в общем так и воспринимает мир: по принципу случайности, задерживая внимание то на одном, то на другом, замечая то мелочь, то что-нибудь, заставляющее глубоко задуматься...

Но что же тогда такое написал Миклош М. Надь? Что он имел в виду, занося на бумагу (то есть, скорее всего, набивая на компьютер) фразы и абзацы? А занеся (набив), менял ли он их местами или оставлял в том порядке, в каком они оказались записанными (набитыми)?

Проще всего было бы спросить его самого, благо мы давно знакомы. Но в этом случае, почти уверен, я получил бы ответ, который окончательно поставил бы меня в тупик. Так что попробую порассуждать сам.

Миклош М. Надь — переводчик (с большим стажем) художественной литературы с русского, английского и испанского языков, критик, редактор, а ныне — директор одного из самых солидных венгерских издательств, "Europa". Активно и вполне заметно вращаясь в этой сфере на протяжении трех десятков лет, будучи не только эстетом, но и (думаю, не обижу его этим) светским человеком и немного плейбоем, он не мог не вобрать в себя если не все, то многое из того, чем насыщена духовная жизнь трех таких разных, в чем-то несовместимых, в чем-то очень даже близких национальных культур. И чем в финале XX века, пройдя через серию разнообразных, нередко почти смертельных стрессов, обогатилась (независимо от того, считаем мы ее находки и обретения полезными или наоборот) литература.

Ну и, конечно, импульсы, идущие из трех (на самом деле куда более чем трех: осведомленность автора в культурной жизни самых разных регионов всемирной культуры ощущается постоянно) истоков, накладываются на венгерскую почву, которая воспринимает и трансформирует их порой до неузнаваемости (от апологии творческой силы, пассионарности венгерского духа я редко могу удержаться, но сейчас — с трудом — удержусь).

Никак не могу убедить себя в том, что та чехарда (как бы она ни называлась: авангард, модернизм, неоавангард), через которую прошла европейская литература в минувшем столетии, безусловно была для нее благотворна. Ну да, согласен: встряски, бунты, революции — условие развития и обновления; но — не единственное же условие! Притом, из условия оно может превратиться в препятствие, в помеху. Верховой конь, трудолюбиво везущий по трудной дороге седока, может и не довезти его до це-

ли, если в один прекрасный момент примется скакать и метаться, как саврас без узды.

Апофеозом упомянутой выше чехарды, ее закономерным завершением и можно, мне кажется, считать постмодернизм. Суть которого, как ни крути, может быть сведена (при всем моем уважении к теоретическим конструкциям, нагроможденным вокруг постмодернизма) к спонтанному или программному пренебрежению всякими догмами, законами, правилами, устоявшимися, освященными, утвержденными в великих творениях нормами. Эстетическими, но нередко и моральными.

Но на фоне и в контексте такого "гуляй-поля", в которое грозит выродиться искусство, особенное значение обретает один фактор, от которого нам никуда (ни ныне, ни присно, ни вовеки веков) не деться. Фактор этот можно считать банальным; таким же банальным, как то обстоятельство, что ночью — темно, а днем — светло. Фактор этот — наличие или отсутствие таланта. Будь ты, скажем, трижды сюрреалист, но если ты бездарен, то значение твое в искусстве близко к нулю. И, напротив, мощный талант в рамках любой школы, любой декларируемой или недекларируемой программы создает бессмертные произведения искусства; таковы поэзия Маяковского, живопись и скульптура Сальвадора Дали, фильмы Тарковского и т. д., и т. д.

Таким образом, талант — это фактор универсальный и абсолютный, тогда как принадлежность к тому или иному направлению — показатель весьма и весьма относительный; он может играть некоторую роль лишь при том условии, что сочетается с талантом (или отсутствием такового). И роль эта выглядит даже менее важной, чем роль мастерства (опыта, навыков, накопленного арсенала приемов), которым обладает тот или иной художник.

Все это я к тому, что книга Миклоша М. Надя, название которой можно перевести так: "Пускай и не красавица" (о названии я еще скажу), — книга эта, при всей ее, что ли, несобранности, лоскутности, мозаичности, впечатление оставляет вполне цельное и глубокое. И рядом с этим фактом куда-то на задний план отходит вопрос о том, постмодернизм перед нами или не постмодернизм. Да, автор совершенно свободно обходится с материалом, который он включает в книгу; вскользь упомянув книгу российского автора по фамилии Костин, он замечает: "Вот и Костин писал свою книгу так, как я сейчас рассказываю эти истории: просто помещая рядом друг с другом отрывки не слишком четких воспоминаний".

Честно скажу: про Костина я до сих пор не слышал. Но добросовестно полез в интернет. Да, есть такой писатель: Юрий Костин, родился в 1965 году, учился в МГИМО, то есть там же, где и Миклош. Все сходится. В числе прочего Костин — автор романа о М. С. Горбачеве "Убить Горби". Интересно бы почитать...

Однако и чересполосица эта возведена у нашего автора

в квадрат, если не в куб. Начав излагать какой-нибудь эпизод, он может тут же оборвать себя: а впрочем, не буду я это рассказывать. И уходит, что называется, совсем в другую степь. Но — необязательно. Потому что следующая фраза вполне может быть такой: а ладно, расскажу, пожалуй.

Время действия, место действия, объект изображения (персонаж, явление, историческая или бытовая ситуация), значительность этого объекта (эпохальное событие или проходной эпизод), степень его реальности — все это составляет совершенно умопомрачительную мешанину, для которой понятие "калейдоскопичность" совершенно не подходит: уровень упорядоченности в калейдоскопичности кажется для этой книги слишком большой.

И однако же: из всей этой пестроты, мелькания, неорганизованности ухитряется сложиться (безличность выражения, которое я тут употребляю, — намеренна) на удивление цельная картина. Или, наверное, лучше сказать, образ. Образ того трудно поддающегося описанию феномена, который называется русской цивилизацией, или, точнее, русской культурой. Образ, представший стороннему взгляду. Стороннему, но не чужому: Миклош знакомился с нашей действительностью самым непосредственным образом, проведя пять лет студентом в Москве, познавая ее через встречи, разговоры, интервью с живыми представителями этой цивилизации и через произведения как классической, так и самой что ни на есть современной литературы. Причем образ этот — не просто живой: он, как любили выражаться в нашем литературоведении, дан в развитии, от позднего советского времени, от брежневского периода (как раз в те годы Миклош был студентом МГИМО) до наших дней: туда даже Крым попал!

Название книги "Пускай и не красавица" — это вольно переведенная строчка из песни Ю. Шевчука (строфа приводится, играя роль эпиграфа, по-русски и в вольном переводе, на форзаце книги): "Родина. Еду я на родину. / Пускай кричат: уродина. / А она нам нравится, / Спящая красавица, / К сволочи доверчива..." Но у книги есть и подзаголовок: "Роман о любви". И в подзаголовке, или обозначении "жанра", видимо, и кроется секрет цельности этой книги.

Ну да, Миклош говорит здесь о любви. О любви к русским женщинам прежде всего. Что вовсе не означает, будто они ему нравятся все поголовно. Да и очень уж они разные. Одна из самых запоминающихся фигур тут — некая Люси́, которая нашему (моему) русскому взгляду покажется скорее итальянкой или испанкой, настолько она необычна, ярка, экстравагантна; у нее и вкусы экстравагантны: она, например, одновременно обожает Ленина и Елену Блаватскую. Кроме Люси, в книге целый цветник девушек и женщин; об одной из них Миклош говорит, например, как об обладательнице самых красивых в мире морщинок у глаз... Но, главное-то, в том, что настоя-

щая любовь у него одна: Сашенька (кажется, реальный персонаж).

Но, и это гораздо важнее, книга его — о любви к русской литературе. Что вовсе не означает, будто Миклош М. Надь без ума от любой художественной книги, изданной российским издательством. Где там! Миклош умеет быть настолько ироничным, даже язвительным по отношению к российским (русским и нерусским) писателям, да и вообще ко всем, о ком он пишет или кого даже упоминает, что невольно начинаешь задумываться: а что же такое любовь? И в голове складываются — не выкристаллизовываясь, слава Богу, в какие-то законченные формулы — сомнительной мудрости афоризмы; вроде того, например, что любовь — это способность не просто восхищаться чем-то (кем-то), но уметь видеть и ценить в нем (предмете или человеке) его лучшие стороны. Отнюдь не закрывая глаза на то, что, может быть, вовсе не так уже блистательно и безупречно.

Вообще довольно трудно представить себе — особенно в наше время, — чтобы к какому-либо национальному явлению окружающий мир относился с безусловным обожанием или хотя бы одобрением. И уж тем более нельзя что-либо подобное вообразить, когда речь идет об отношении венгров к России, к русским, к чему-либо русскому: сложная история последних двух столетий, накопившиеся взаимные обиды и претензии не дают для этого никакой возможности. Собственно, и само понятие “любовь” (или ее противоположность) неприменимо к сфере взаимовосприятия разных наций и государств. Речь тут может идти, как правило, лишь о том, считаешь ли ты тот или иной народ, его культуру заслуживающими интереса, достойными того, чтобы ими заниматься, хотя бы просто уделять им внимание, тратить на них время.

Я, например, считаю венгерскую культуру, венгерскую литературу очень даже достойными внимания. Но единомышленников у меня в этом вопросе остается все меньше.

Миклош М. Надь в своей книге показывает, в описанной выше своеобразной манере, но очень убедительно: русская литература, и в прошлом, и в настоящем, достойна самого пристального внимания. А значит (как-никак он — переводчик, издатель, критик, а еще и, как выяснилось теперь, и очень оригинальный писатель), достойна и перевода, и издания, и чтения, и обдумывания.

Но, повторяю, речь идет совсем не об обожании. Миклош очень склонен к тому, чтобы, говоря о том или ином писателе, изобразить его с иронией, отнюдь не всегда добродушной. Особенно почему-то в этом смысле достается Виктору Ерофееву (который, кажется, к подобного рода ироническим замечаниям в свой адрес мудро относится как к рекламе; тем более что он — едва ли не самый переводимый в Венгрии писатель). Но допускаются такие, или похожие, уколы и Эдварду Радзинскому, и Юрию Полякову,

а из великанов классики — например, Владимиру Набокову.

Но иногда из мозаичной пестроты, формирующей книгу, вдруг прорисовывается, проступает что-то крупномасштабное, вполне заслуживающее отдельного эссе. В таких отступлениях Миклош размышляет о вещах, которые, мне кажется, живут — иногда неявно — в сознании у многих из нас, из тех, для кого литература представляет собой нечто более важное, чем способ времяпрепровождения. Скажем, разве не тревожит нас мысль о том, почему Солженицын, вошедший в литературу как тонкий изобразитель души человеческой в ее взаимосвязи с социальной материей, как писатель, воспринимавшийся многими едва ли не как продолжатель Л. Толстого, в последние десятилетия перестал быть писателем? Историком, публицистом, мыслителем — да. Но — писателем?.. И это — при его невероятной работоспособности, при его одержимости писанием... Миклош тут высказывает замечание, которое, может быть, в первый момент кажется кощунственным, но во второй момент... Словом, он говорит, что в последних книгах Солженицына, по всей вероятности, не хватает эстетического чувства.

А что, ведь и Лев Толстой в своих философских отступлениях в какой-то мере утрачивал себя как художника.

На меня сильное впечатление произвела главка, в которой Миклош рассказывает, как он брал интервью у Чингиза Айтматова, главным образом по поводу его последнего романа, "Когда падают горы", и в беседе попросил у него (это у Айтматова-то!) разрешения при переводе пропустить кое-какие части как ненужные, неудачные. Миклош честно говорит о том, в какую ярость пришел великий писатель, услышав критику от какого-то там переводчика.

Но ведь в последнем своем романе Айтматов — в самом деле не тот Айтматов, который написал "Гюльсары", "Белый пароход", "И дольше века длится день"...

Для меня книга, о которой я пишу, особенно ценна тем, что из нее я, русский читатель, узнал многое... о русской литературе. Я уже упоминал Юрия Костина, которого мне, благодаря Миклошу, захотелось почитать. Но в книге — целая россыпь имен, которые я слышал, или даже не слышал, но творчество которых теперь меня волнует и притягивает: Дмитрий Глуховский, Роман Сенчин, Борис Евсеев, Ирина Денежкина, Эдуард Русаков, Мариам Петросян, Ильдар Абузяров, Вячеслав Курицын...

Господи, где бы взять времени, чтобы всех их прочесть?..

С великолепным пренебрежением относясь ко всем и всяческим литературным условностям, Миклош совсем не боится называть по имени тех, о ком он пишет или кого просто упоминает. И это (тоже в общем-то довольно неожиданная вещь) ничуть не уменьшает удовольствия, которое испытывает читатель книги. Мне, например, было приятно встретить на ее страницах имя редактора "ИЛ" Л. Н. Василье-

вой, которую он называет одним из самых больших знатоков венгерской литературы в России. Да, собственно, такие маленькие сюрпризы в книге встречаются едва ли не на каждой странице.

Сложнее, наверное, вопрос об отсутствии у автора осторожности по отношению к политическим реалиям текущего исторического периода: и венгерским, и российским, и ко всем прочим. Хотя лично я испытываю огромную зависть к такому абсолютному неприятию самоцензуры, однако не могу высказать уверенность, что книгу эту у нас кинутся переводить и издавать...

Итак: перед нами странный феномен: книга, состоящая из кусочков, из лоскутков, книга, которая, несмотря на это, не рассыпается, составляя органическое целое. Все-таки "жанровое" определение, "любовный роман", видимо, имеет смысл. Хотя "любовь" тут относится отнюдь не ко всему, что или кого упоминает Миклош, — тем не менее она имеет место.

Во-первых, из россыпи женских персонажей это относится, несомненно, к Сашеньке.

Во-вторых, не относится прямо ни к кому из писателей, но — к русской литературе в целом.

В-третьих, наверное, к футболу, о котором Миклош пишет просто-таки с нежностью (как мне удалось узнать в Википедии, Миклош — член сборной футбольной команды венгерских писателей). Недаром, размышляя над тем, кого из венгров он мог бы порекомендовать в нашу серию ЖЗЛ, он останавливается на одном кандидате — легендарном футболисте 50-х годов Ласло Пушкаше.

Хорхе Ибаргуэнгойтиа
Jorge Ibargüengoitia
[1928–1983]. Мексиканский писатель и журналист. Лауреат премии *Каса де лас Американас* [1965].

Автор романов *Августовские молнии* [*Los relámpagos de agosto*, 1965], *Убейте льва* [*Maten al león*, 1969], *Два преступления* [*Dos crímenes*, 1974], *Следы Лопеса* [*Los pasos de López*, 1982] и др.
Роман *Мертвые девушки* публикуется по изданию *Las muertas* [Barcelona: RBA, 2009].

Анн-Лу Стайнингер
Anne-Lou Steininger
[р. 1963]. Швейцарская писательница. Лауреат премии Мишеля Дантана.

Автор романа *Тяготы мошки* [*La Maladie d'être touche*, 1996], сборника рассказов *Сказки украденных дней* [*Les Contes des jours volés*, 2005], пьесы *Участь тела* [*Destin des viandes*, 2004] и др. В *ИЛ* напечатаны ее рассказы [2013, № 11].

Хуан Хосе Саэр
Juan José Saer
[1937–2005]. Аргентинский писатель. Лауреат премии Надаля [1988].

Автор двенадцати романов, нескольких книг рассказов, стихотворных сборников, эссе, в том числе романов *Заупокойная молитва* [*Responso*, 1964], *Никто ничего никогда* [*Nadie nada nunca*, 1980], *Случайность* [*La ocasión*, 1988], *Облака* [*Las nubes*, 1997], сборников рассказов *В зоне* [*En la zona*,1957–1960], *Дерево и кость* [*Palo y hueso*, 1965], *Селение* [*Lugar*, 2000].
Рассказы публикуются по изданию *Полное собрание рассказов (1957–2000)* [*Cuentos completos (1957–2000)*. Barcelona: El Aleph Editores, 2012].

Грэм Грин
Graham Greene
[1904–1991]. Английский писатель, публицист, драматург. Лауреат Иерусалимской премии мира [1981]. Обладатель ордена Кавалеров Почета [1966] и *Ордена заслуг* [1986].

В *ИЛ* были напечатаны его романы *Тихий американец* [*The Quiet American*, 1956, № 6 – 7], *Наш человек в Гаване* [*Our Man in Havana*, 1959, № 3–4], *Ценой потери* [*Burnt-Out Case*, 1964, № 9–10], *Комедианты* [*The Comedians*, 1966, № 9–10], *Сила и слава* [*The Power and the Glory*, 1987, № 1–2], *Монсеньор Кихот* [*Monseñor Quijote*, 1989, № 1–2], *Конец одного романа* [*The End of the Affair*; 1992, № 5–6], повести *Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой* [*Doctor Fisher of Geneva or The Bomb Party*, 1982, № 6], *Десятый* [*The Tenth Man*,1986, № 12], фрагменты книги *Мой Собственный Мир* [*A World of My Own*, 2003, № 12], а также рассказы, очерки, публицистика. В *ИЛ* также был опубликован Литературный гид *Грэм Грин* [2009, № 3]
Пьеса *По ком звонит звонок* [*For Whom the Bell Chimes*] печатается по изданию *Собрание пьес* [*The Collected Plays*. Random House, 2002].

Ана Бландиана
Ana Blandiana
Румынская поэтесса, президент правозащитного фонда *Гражданская академия*, директор-основатель Мемориала жертв коммунизма, почетный президент румынского ПЕН-клуба, член Поэтической академии Стефана Малларме, Европейской академии поэзии, Мировой академии поэзии [ЮНЕСКО]. Лауреат международных премий Гердера [1982] и Камайоре [2005]. Удостоена ордена Почетного легиона [2009].

Автор двадцати шести поэтических сборников, в том числе *Первое лицо множественное число* [*Persoana întâia plural*, 1964], *После смерти, наутро...* [*În dimineata de dupa moarte*, 1996], *Грязный от сажи архангел* [*Un arhanghel murdar de funingine*, 2004], *Убывание чувств* [*Refluxul sensurilor*, 2004], *Моя родина А4* [*Patria mea A4*, 2010], тринадцати сборников эссе, пяти книг прозы, в том числе *Проекты прошлого* [*Proiecte de trecut*,1982], *Ящик с аплодисментами* [*Sertarul cu aplauze*, 1992]. На русском языке вышли книги *Стихотворения, рассказы, эссе* [1987], *После смерти, наутро...* [2007]. В *ИЛ* печатались ее рассказы [1985, № 3], эссе [1990, № 6; 2006, № 6].
Публикуемый текст взят из книги *Лжетрактат о манипуляции* [*Fals tratat de manipulare*, Bucuresti, Humanitas, 2013].

Александр Пумпянский
[р. 1940]. Публицист. Главный редактор еженедельника *Новое время* [1990–2006], член правления Международного института прессы [1992–2000]. Лауреат премии Воровского [1986], *Журналист года* – премии агентства Интерпресс сервис, вручавшейся в ООН [1989], обладатель диплома Университета Джонса Хопкинса *За высшие достижения в международной журналистике* [1997].

Автор книг *Происшествие в окрестностях Голгофы* [1984], *Два вождя, или История как кораблекрушение* [2000], *Шалтай-Болтай сидел на стене* [2003], *Палач на плахе и другие истории мира сего* [2008], *Дело Ходорковского* [совместно с С. Ковалевым и Б. Жутовским, 2011], *Красное и желтое. Пресса от истмата до компромата* [2013], *Горбельцин* [2012], *Американские горки* [2013] и др.

Томас Гуд
Thomas Hood
[1799–1845]. Английский писатель, поэт, журналист, издатель.

Печатался в *Панче*, *Лондон мэгэзин* и др., издавал альманах *Комик аннюэл*. Более всего известен как автор антологических стихотворений *Песня о рубашке* [*The Song of the Shirt*] и *Мост Вздохов* [*The Bridge of Sighs*], а также других произведений социальной направленности. Переводы его стихов на русский язык печатались во многих антологиях.
Публикуемые стихи переведены по изданию *Собрание поэтических сочинений Томаса Гуда* [*The Complete Poetical Works of Thomas Hood.* London, Edinburgh, Glasgow, New York, 1906].

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии Большая книга]. Главный редактор интернет-портала Словари XXI века, модератор групп Библиотека года и Словарь года в сети Facebook. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий Человек книги [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала Октябрь [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы Антиподы [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

Марина Михайловна Ефимова Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода.* Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Юрий Павлович Гусев [р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], премии *Инолит* [2011], премии Милана Фюшта [2011], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

Переводил Л. Немета, М. Сабо, Д. Конрада, И. Кертеса, Я. Хаи, П. Фаркаши, Ш. Мараи, М. Корниша, Л. Дарваши, Л. Краснахоркаи, С. Эрдега, Д. Ийеша, Д. Драгомана, И. Силади, Д. Петри, И. Оравца, Б. Балашши, Ф. Кёльчеи, Л. Сабо и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ.*

Переводчики

Ольга Кулагина
Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик.

Переводила тексты в области финансов и информационных технологий. В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа, Хоински, Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Н. Олгрена []2016, № 1].

Богдан Григоренко
Переводчик с французского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса, А. Монтероссо, Х. Бенета, Г. Ньельсена, О. Бустоса Домека, А. Ди Бенедетто и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001], *Либерти* за перевод [2003], премии *Мастер* [2012].

В его переводе выходили произведения Р. П. Уоррена, У. Фолкнера, К. Кизи, И. Макьюэна, Т. Уайлдера, Т. Капоте, У. Кеннеди , А. Ислера, Р. Хьюза, Д. Хэммета, Фолкнера, У. Гасса, Дж. Гаррисона, Э. Леонарда, У. Тауэр, С. Сонтаг и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анастасия Анатольевна Старостина
Переводчик с румынского и французского языков. Лауреат премий *ИЛ* [1985] и Союза писателей Румынии [1990].

В ее переводе опубликованы два сборника А. Бландианы: *Стихотворения, рассказы, эссе* [1987] и *После смерти, наутро...* [2007], том беллетристики М. Элиаде *Под тенью лилии* [1996], его *Мемуары* [2008], пьесы и романы М. Вишнека и др.; под ее редакцией вышел трехтомник М. Элиаде *История веры и религиозных идей* [2001—2003; 2008]. В *ИЛ* печатались ее переводы рассказов М. Кэртэреску [2010, № 7], Н. Мани [2014, № 7], коротких пьес М. Вишнека [2009, № 4] и его романа *Господин К. на воле* [2014, № 3], рассказов и эссе А. Бландианы [1985, № 3; 1990, № 6; 2006, № 6], романа М. Элиаде *Девица Кристина* [1992, № 3], стихов К. Абэлуцэ [2004, № 6], ею подготовлен Литературный гид *Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте* [1999, № 4].

Михаил Александрович Загот
[р. 1946]. Переводчик с английского, доцент факультета переводческого мастерства

Автор англо-русского словаря библеизмов *Ищите и найдете*, сборника поэзии *Человек за фортепьяно*. В его переводе выходили книги Л. Хартли, У. Коллинза, К. Воннегута, Э. Фостера, А. Кристи, Д. Фрэнсиса и др. В *ИЛ* в его переводе опубликованы фрагменты книги Э. Хэбборна *Автобиография фальсификатора* [2013, № 4] и эссе А. Эпстайна *Любить пересмешника* [2015, № 12].

Московского государственного лингвистического университета, член Союза писателей России и Союза переводчиков России.

Михаил Львович Матвеев
[р. 1958]. Математик, IT-специалист, переводчик с английского. Лауреат премии *Инолиттл* [2012].

В его переводе выходили стихи Л. Кэрролла, Т. Гуда, О. Нэша, а также книга Л. Кэрролла *Фантасмагория и другие стихотворения* [2008]. В *ИЛ* опубликованы его статья *В "Глоб" по Стрэнду — с Вудхаусом* [2008, № 10], переводы стихов О. Нэша [2012, № 4] и поэмы О. Уайльда *Сфинкс* [2012, № 8], стихи Д. А. Линдона [2014, № 4] и Дж. Апдайка [2015, № 6].

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 – на год, 70394 – полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье"
(Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
9.2.2016
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2225.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.oaompk.рф

Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

[3] 2016

РОМАН ЛУИША ДЕ СТАУ МОНТЕЙРЫ “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” / РАССКАЗЫ ЭНН ЭНРАЙТ / ПОВЕСТЬ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ “ЗАЧУМЛЕННЫЕ” / АЛЕССАНДРО БАРИККО, ПАОЛО КОНЬЕТТИ И ВАЛЕРИЯ ПАРРЕЛЛА В РУБРИКЕ “СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РАССКАЗ” / НИЧЕГО СМЕШНОГО: НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ И ПИТЕР ЛУБИН О ВЛАДИМИРЕ НАБОКОВЕ / ФРАГМЕНТ КНИГИ “О БРЕННОСТИ” ГЮНТЕРА ГРАССА В РУБРИКЕ “IN MEMORIAM”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

ИНДЕКС 70394

"ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2016, №2, 1–288

ISSN 0130-6545

ISSN 0130-6545 16002

9 770130 654770

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. "Аэропорт".